



*Валерий ГУСЕВ*  
**ШПАГУ КНЯЗЮ  
ОБОЛЕНСКОМУ!**





---

*Валерий ГУСЕВ*

# **ШПАГУ КНЯЗЮ ОБОЛЕНСКОМУ!**

*Приключенческие повести*



---

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1985

84Р7  
Г 96

Г  $\frac{4702010200-057}{078(02)-85}$  189—85

ОСТАНОВИСЬ! У ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕТ ДОМА. ТЫ МОЖЕШЬ  
ВЕРНУТЬСЯ В ЗАМОК ТОЛЬКО СО ШПАТОМ В РУКЕ.  
И ТОГДА Я ОБНИЖУ ТЕБЯ НА ПОРОГЕ СТУПАМ.

## КОНКУР СО ШПАГОЙ



«ПО-МОЕМУ ОБ ЭТОЙ ШПА- ГЕ  
УПОМИНАЕТСЯ В ОПИСИ СОБРА-  
НИЯ ОРУЖИЯ ГРАФА ШЕРЕ- МЕТЕВА»  
НО НЕ УВЕРЕН.

БЫЛО ПАНИЧЕСКОЕ БЕГСТВО, БЫЛ АД СМОЛЕНСКОЙ  
ДОРОЖИ, НА КОТОРОЙ БРОСАЛИ, НЕ ПОСЫЛАЯ — ЧТО  
БЫЛО БЫ МИЛОСЕРДИЕ — СВОИХ БАБЕНЬКИ И ВОЛЕНЬКИ...

— МАМАН В ПОРУ СРАЗА, РУКИ ЗАЛОМИЛА И ИЗВРАЩАЛА: „НИКОЛЯ, НЕ ВЗДУМАЙ-  
ТАИ ХОДЯТЬ ИГРЕТЬ В ВИДУ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО СВОЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КОМАН-  
ДОВАЮЩЕМУ».

— ПОСЛУШНИ, СЫН МОЙ, ТОРЖЕСТВЕННО И ВЕЛИЧЕСТВЕННО ГОВОРИЛ ОН, ДУДЕВИЗ, НА СЛУЖЕБ-  
НОМ ЯЗЫКЕ: „БЕЗУПРЕЧНОСТЬ И НЕПОВТОРИМОСТЬ ПРАВИЛ».



— Я так и не узнала. Он пришел в тот вечер бесь в слезах... И в крови... Кто-то очень жестоко и умело избил его...

— Скажите, Лена, а кража у профессора Милка уже появилась тогда в вашем доме?

Вошедший не был вестником и не произвводит впечатления очень сильного человека. Но очень жестокого, прекрасного истопника...

Уверительно  
прошу Орланды  
внутренних дел  
оказать  
содействие в отыска-

нии исторической реликвии — старинной испанской шпаги конца XVII века, принадлежавшей нашей семье и имеющей огромную ценность для государства.

## Глава 1

Дела свои Яков вел и оформлял безукоризненно, добиваясь, так сказать, полного соответствия формы содержанию. Сколько я знаю, ему никогда их на исследование не возвращали, никаких уточнений и доработок не требовали. Особенно он отличался, подготавливая рукописные материалы: строчки выписывал по линейке, буквы как печатал — каждая из них стоит отдельно и сливается с другими в слова, которые, в свою очередь, выстраиваются, складываются в четкие, безупречные в своей ясности доказательства.

Зато во всем остальном натура Яшкина брала свое с лихвой: был он неряшлив на редкость, просто катастрофически; без малейших усилий, мгновенно, где бы ни появлялся, он неумолимо создавал вокруг себя ужасающий необратимый беспорядок.

Помню, когда мы начинали стажировку в Званском РОВДе, ему дали только что отремонтированный кабинет с хорошим полированным столом, со свежеевыкрашенным сейфом. Через час я заглянул к нему — помочь устроиться...

— Закрой рот, — недовольно сказал Яков, переставляя с подоконника на столик пишущую машинку. — Чего ты моргаешь? Не видишь, порядок навожу.

Комната, где Яшка наводил свой аховый порядок, преобразилась беспощадно. На дверце сейфа сверкали царапины, будто какой-то нахальный дилетант пытался вскрыть его автомобильной монтировкой или консервным ножом («Ключи пробовал», — пояснил Яков); со свежей и зелененькой, как первая травка, стены длинным языком свисал цветной календарь, который держался только на двух нижних кнопках — верхние уже отвалились. Я попытался снова прикрепить его, но не нашел в коробочке ни одной целой кнопки. На столе, с уже чем-то заляпанной крышкой, с выдвинутыми и перекошенными ящиками чего только не было: молоч-

ный пакет, скособоченный дырокол (Яшка признался, что наступил на него), молоток с кривой ручкой, комок лохматой, безнадежно запутанной бечевки, горсть хитро, до неузнаваемости изогнутых скрепок, огрызки карандашей и пустые стержни от шариковой ручки. Я покачал головой и малодушно смылся...

Но, несмотря на крайнюю неаккуратность, а может быть, и благодаря ей, Яшка легко и быстро обживался на новом месте, окружая себя своеобразным, ни на что не похожим и в то же время каким-то наивно-добродушным, по-домашнему теплым уютом. Рядом с ним чувствуешь себя как в хорошей, дружной семье, где много веселых маленьких детей, где не боятся за паркет, полировку и посуду, где неожиданному гостю всегда есть чем поживиться, где все разбросано, все в самых неожиданных и, казалось бы, неподходящих местах, но все под рукой, и ничего искать не надо, где в любое время тебе рады.

Скорее всего это его свойство можно объяснить тем, что Яшка вырос без родителей, привык полагаться только на себя и приобрел таким образом необходимую домовитость и хозяйскую предусмотрительность. Когда бы я ни зашел к Яшке в кабинет, у него всегда где-то в глубине ящиков стола или на полках шкафа отыскивался сухарик, початая пачка печенья, кусочки колотого сахара, а из-за сейфа он, дергая зацепившийся шнур, доставал, заговорщически подмигивая, контрабандный кипятыльник и поржавевшую на швах баночку с кофе. И между прочим, это было всегда вовремя и кстати — легонько перекусить, поболтать пять минут, отвлечься...

Яков и на этот раз позвонил мне очень удачно — я уже искал достаточный повод, чтобы чуток передохнуть. Но тон его мне не понравился.

— Оболенский? — строго спросил он. — Щитцов говорит. Зайди ко мне.

Знаю я эти штучки, это деловое и строгое обращение, озабоченный сверх меры голос. Яшка не был карьеристом, но всегда (и вполне безобидно) мечтал стать начальником. Ему очень нравилось решительно командовать, отдавать четкие распоряжения. Особенно при посторонних. Если он так заговорил, значит, у него кто-то есть, на кого надо произвести впечатление. «Только бы не подбросил мне что-нибудь глухое», — подумал я, захлопывая дверь.

В комнате солнечно. Окно распахнуто (оно выходит во двор), и на наружном подоконнике, куда Яков имеет обыкновение сыпать собранные со стола крошки, яростно скандалят воробы.

У Якова точно был посетитель: пожилой, почти старый человек, седые волосы, тройка в полосочку, по животу — цепочка карманных часов. Вел он себя странно — вся его полная фигура, здоровое розовое лицо, беспокойные руки выражали нерешительность, смущение и даже раскаяние, будто нашкодил на старости лет и теперь не знает, как поправить. «С повинной, что ли, пришел?» — мелькнула первая мысль.

Посетитель держал в руках листок бумаги и то клал его на стол, то быстро отдергивал к себе. Яков уловил момент, бесцеремонно выхватил бумажку и протянул ее мне.

— Вот, посмотри. Гражданин Пахомов, верно? — Тот молча кивнул, облизнув быстрым язычком губы. — Вот гражданин Пахомов принес заявление и никак не решится отдать.

Я посмотрел:

### *Заявление*

*Убедительно прошу органы внутренних дел оказать содействие в отыскании исторической реликвии — старинной испанской шпаги конца XVI века, принадлежавшей нашей семье и имеющей огромную ценность для государства.*

*С уважением*

*доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор*

*Н. Пахомов*

— Ну и что? — спросил я, прочитав заявление. — Действуй в установленном порядке.

Профессор дернулся, заерзал на стуле, прерывисто перевел дыхание.

— А что вы так волнуетесь?

— Поймите меня правильно, товарищи. Я пришел посоветоваться с вами. Вопрос для меня очень сложный, деликатный. Здесь замешаны мои старинные друзья...

— Извините, — перебил его Яков. — Давайте-ка сделаем так: расскажите нам, по возможности подробнее, что у вас случилось, вплоть до ваших интимных сомнений, потом мы зададим вопросы, и вы ответите



на те из них, на которые найдете возможным отвечать, а уж после этого мы вместе решим, как нам поступить наилучшим образом. Согласны?

Профессор усердно закивал головой:

— Хорошо, хорошо! Это именно то, зачем я шел к вам, на что надеялся.

— Слушаем вас. Садись, Сергей, запиши, что сочтешь интересным.

Профессор провел ладонью по лицу, помял подбородок, закусил на секунду палец.

— Видите ли, какое случилось неприятное происшествие. В нашей семье с давних пор хранится старинная шпага, трофей первой Отечественной войны. В кампании двенадцатого года один из наших предков захватил ее при нападении на французский обоз. Мы, конечно, гордились этим трофеем, берегли его, тем более что сама шпага — хотя я и не специалист, но говорю это с полной ответственностью, — сама шпага, без преувеличения, истинное произведение искусства. Многие, очень многие коллекционеры предлагали нам обменяться, обещали большие деньги, даже, не скрою, золото. Судьба распорядилась так, что я остался последним в нашем роду. Я не коллекционер, шпагу хранил лишь как память о своих предках, о героических событиях далекого прошлого. И когда ко мне накануне моей командировки в Нидерланды пришли товарищи с предложением продать ее в фонд Исторического музея, я подумал и согласился...

Профессор покашлял в кулак, попросил воды. Яков, передавая ему стакан, кивнул мне на лежащие передо мной листы: мол, записывай подробнее — видимо, что-то уже почувал.

— Продолжайте, пожалуйста, — напомнил он профессору. — Мы очень внимательно слушаем.

— Да... Так вот... Собственно говоря, здесь все и кончается. Я настоял на передаче шпаги в дар государству, без возмещения мне ее стоимости, морально не считая себя вправе получать деньги фактически ни за что. Вы понимаете, что я имею в виду? Я не отбивал ее у врага, не покупал, да и вообще в глубине души всегда считал, что государство имеет на нее право большее, чем я. Так с какой же стати я буду ее продавать? Ведь верно?

К сожалению, я так и не успел передать шпагу: потребовались кое-какие формальности, а мне уже было

время выезжать. Не решившись оставить ее на длительный срок в пустой квартире, я договорился со своим старинным приятелем, прекрасным человеком и актером — Мстиславом Всеволожским — и отвез ему шпагу.

Вернувшись, я узнал печальную весть: мой друг скончался незадолго до моего возвращения. Я навестил вдову (достойнейшую женщину, делившую с ним все тяготы актерской судьбы) и осиротевшего сына, выразил, сколь мог искренне, свои соболезнования и сочувствие, но, естественно, о шпаге в такое трагическое для них время не обмолвился и вернулся к этому вопросу через несколько месяцев, по прошествии, на мой взгляд, достаточного времени, могущего хоть отчасти смягчить горечь утраты в их сердцах.

Вдова моего друга, прекрасно понимая меня и отклоняя мои извинения, попросила сына достать с антресолей футляр со шпагой.

Павлик это сделал и вручил мне футляр. Я открыл его — нет, нет, не для того, чтобы убедиться, что шпага цела и невредима — я не мог оскорбить такой проверкой достойных друзей своих, а только, чтобы и им еще раз доставить высокое наслаждение созерцанием этого прекрасного предмета...

— Все ясно, — сказал Яков. — Футляр был пуст?

— Совершенно пуст! — прижал руки к груди профессор.

Я, записывая, поглядывал на него. Он, конечно, был искренне огорчен, взволнован, но в то же время чувствовалось, что где-то глубоко бьется в нем жилка какого-то беспокойства или сомнения. И еще: мне показалась очень красивой и гладкой его речь, будто он сначала написал ее, а потом выучил наизусть.

— Представьте теперь, товарищи, весь ужас сложившейся ситуации, невольную нелепость и двусмысленность моего положения. Что я скажу любезным работникам музея, которым дал свое твердое согласие? Хорошо еще, что они до сих пор не напоминали мне о нем. В какое нелепое положение поставил я безутешную вдову Ираиду Павловну! Ведь вы придете к ней с обыском! И это я, я, — он сильно ударил себя в грудь, — приведу вас в дом моего безвременно и безвозвратно усопшего друга, который любил меня всем сердцем. Это ужасно, поймите меня! Ведь вы будете... как это говорится, возбуждать уголовное дело?

— Ну зачем же так сразу? — добродушно успокоил его Яков. — Пока я не вижу для этого достаточных оснований.

— Вы не совсем последовательны, — заметил я. — Просите, чтобы мы разыскали шпагу, и в то же время не решаетесь сделать официальное заявление.

Профессор низко опустил голову. Если вначале его поведение казалось мне странным, то теперь оно настораживало.

— Ну хорошо. — Яков подошел к окну, присел на подоконник. — Я правильно вас понял — эта самая пропавшая шпага представляет собой не только бесценную историческую реликвию, но имеет и вполне определенную, причем довольно высокую, материальную цену? Хотя бы примерно, сколько она может стоить? Ведь вы говорили со специалистами?

— Не знаю даже примерно. Этот вопрос мы не обсуждали. Речь с самого начала шла практически о том, что я передаю шпагу безвозмездно, в дар. Я уже говорил, что мне неоднократно предлагали за нее частные коллекционеры весьма значительные суммы. Например, некий настойчивый и темпераментный горец так прямо и сказал, что уходит со шпагой и оставляет у подъезда свою черную «Волгу». Я, естественно, отказался. Тогда он положил на стол перстень, портсигар и отколол от галстука крошечный золотой, с каким-то камнем кинжал. «Это сверх машины», — пояснил он. Как я его понял — у него уже есть все, кроме фамильной шпаги, и он оставил для нее почетное место на ковре в парадном зале своей «сакли». Так что, судите сами, сколько она может стоить...

— Да, — Яков поскреб затылок. — Представляю, что может наделать эта шпага, вырвавшись, так сказать, на свободу. Ну что же, вещь принадлежит вам. Ваше право требовать, чтобы были приняты меры к ее отысканию и возвращению законному владельцу или возмещению ее стоимости.

Официальные слова Якова произвели впечатление. Похоже, что профессор внутренне перешагнул через что-то и, опасаясь последствий своего шага, все-таки робко его сделал.

— Вы правы, конечно. Только мне хотелось бы, чтобы все необходимое по закону делалось возможно деликатнее.

— Вы обижаете нас, профессор. Разве мы похожи на бестактных и нечутких людей?

Профессор выдавил улыбку, поднялся.

— Подождите. Мы сделаем так. Вы сейчас поезжайте в дом вашего друга, поговорите с Ираидой Павловной и предупредите ее о нашем предстоящем визите.

Какая-то тень вновь мелькнула на лице профессора. Мне даже отчего-то жаль его немного стало. Он поднялся, поклонился и пошел к двери.

— Скажите, — вдруг бухнул Яков ему вслед, — на какие средства живет сейчас вдова вашего друга? Она достаточно обеспечена? Сын ей помогает?

Профессор подпрыгнул, будто его укололи.

— Что вы! Что вы! — в ужасе замахал он руками. — Как вам могло такое прийти в голову?! Ираида Павловна весьма достойная женщина. Она, конечно, несколько экстравагантна для своих лет, имеет позвоительные для женщины слабости, но человек, безусловно, честный! Что вы!

— А сын?

— Павлик? Милейший молодой человек. Легкомыслен, инфантилен. Я бы сказал — балбес, но балбес очаровательнейший, хотя и совершенно беспринципный, легко поддающийся любому влиянию, избалованный. Вы увидите, познакомившись с ним.

— Ну хорошо, до встречи.

— Пошли к начальству, Сергей, — сказал Яков, когда профессор вышел. — Знал бы ты, как мне не хочется браться за это дело. Прошло почти полгода, как он отдал шпагу Всеволожским, а то, что она пропала, стало известно только сейчас. Тут не то что от следов, от самой шпаги, может, уже ничего не осталось.

Егор Михайлович, когда мы вошли в его кабинет, энергичным, отработанным кивком стряхнул с носа очки в приоткрытый ящик стола и сделал вид, будто ищет в нем что-то важное. Этот маневр был известен всему райотделу — с непонятым упорством наш начальник пытался скрыть, что вынужден пользоваться очками. Мы, конечно же, достойно соблюдали правила игры.

Яков плюхнулся за приставной столик и, расставляя локти, опрокинул сапожок-карандашницу, извинился и,

одобрительно пыхтя, с интересом наблюдал, как я собирал разбежавшиеся по полу карандаши.

— Вон еще один, под ковер залез, — сказал он, когда я поставил наполненный сапожок на место.

Егор Михайлович терпеливо ждал. С Яшкой он уже примирился, как мирится глава семьи с тем самым уродом, без которого и семьи-то не бывает.

— Так что, могу слушать или еще чего сбросите?

— Нет, все, Егор Михайлович, — сказал серьезно Яков и доложил о заявлении профессора Пахомова.

— Пахомов... — поморщился наш наставник. — Пахомов... Старею, друзья мои, — сообщил он доверительно и снял трубку. — Люся, соедини-ка меня с этим, как его, ну, с земляком твоим... Колесников? Привет тебе горячий. Рад? То-то. Как говорят Брокгауз, Ефрон и другие авторитетные источники, не было бы счастья — не видать и несчастья. Точно. В отставку? Жду не дождусь. Как чего мешает? — укоризненно посмотрел на нас. — Смена не дает. Нет смены надежной — одни пацаны кругом, как опять возле старого пня. Так и живем. Слушай, у тебя какое-то дело было с профессором... Да. Квартирная кража. — Молча послушал. — И все? Интересно... Ты какие меры принял? Безрезультатные небось? Ладно, об этом потом. Ты материалы мне подослал бы, а? Спасибо, учту. Звони. Вот что, друзья мои, — это уже нам. — У вашего — теперь у вашего — профессора в апреле была квартирная кража...

— Это когда он в отъезде находился? — уточнил Яков.

— Именно. Но, собственно, кража фактически не состоялась: взломали замки, наследили, перерыли все, что-то разбили и...

— И ничего не взяли? — опять нахально перебил его Яков.

— А вот и взяли! — рассердился Егор Михайлович. — Коньяк взяли, виски взяли. И блок каких-то заграничных сигарет.

— Ясно, — сказал Яков.

— Счастливый человек! Видал, Оболенский? Ему все и всегда ясно! Только не бери с него пример, не советую. Что у вас сейчас?

— Кража детской площадки, — ответил Яков. — Заключение пишу.

— Автомобилисты?

— Они. Да там все сразу ясно было...

— Вот видишь, Оболенский, он опять!

— Ну, правда же, Егор Михайлович, — взмолился Яков. — Они малые формы вывезли — я и грузовик этот нашел — и сразу заасфальтировали площадку, разметили и машины свои поставили. Как будто так всегда было.

— А чего же ты тянешь тогда?

— Потому что я их ненавижу, — серьезно сказал Яков. — И заключение хочу составить так, чтобы не отвертелись, чтобы полной мерой ответили. Чтобы все равно справедливость восторжествовала и зло было строго наказано.

— Ишь ты какой — Деточкин! — насмешливо похвалил его начальник. — Не зарывайся, друг мой, ладно?

— Ладно, не буду, — пообещал Яков, вставая.

Начальник тоже встал, прошел с нами до дверей. Я уже взялся за ручку, как он вдруг сказал:

— Я, ребята, усы хочу отпустить. Как думаете?

— Хорошо, Егор Михайлович. На Буденного станете похожи.

— Не, я маленькие хочу. Аккуратные.

— Как у Чаплина?

— Иди отсюда, — обиделся на Якова наш начальник. — Хватит тут измываться над человеком. Вам еще шпагу искать. Чтоб через неделю у меня на столе лежала. Все. Горячий привет!

— С вами не соскучишься, Егор Михайлович, — Яшка не привык оставлять за кем-то последнее слово.

Егор Михайлович тоже:

— Вечером доложите ваши соображения по делу. И чтобы сегодня же с площадкой закончил.

— Ну вот, — сказал Яков, когда мы вернулись к нему. — Дело поручено нам — за дело! И — поделом!

Он вынул из шкафа свою любимую толстую зеленую папку, которой очень гордился и держал пустой до особого случая, и торжественно вложил в нее заявление профессора Пахомова.

— Поехали? На место происшествия?

Ираида Павловна, вдова известного в Званске артиста, жила в большом старом доме на берегу реки.

Мы пересекли огромный двор с песочницей, где де-

тишки привычно боролись за жизненное пространство.

Едва мы вошли в подъезд с такими тугими дверями, что казалось, будто изнутри кто-то нарочно их держит, из комнатки рядом с лифтом выскочила лифтерша в платочке и с вязанием в руках. Она долго смотрела на нас. И видимо, особого доверия мы ей все-таки не внушили:

— А вы к кому будете, молодые люди? В какой номер?

— А нам, тетя Маша, двери всюду открыты. Сыщики мы.

— Ну-к, документы покажите, сыщики.

— Хорошо, покажем. Только за это мы не признаемся, к кому идем. Терзайтесь теперь на досуге.

— И ладно. Сама все узнаю, — усмехнулась она. — И не Маша я, а Стеша.

Дверь нам открыл профессор. Он был по-домашнему: без пиджака и в тапочках.

Следом в прихожей появилась высокая стройная седая женщина, чем-то очень похожая на актрису Ермолу с известного портрета.

— Я прошу вас, молодые люди, переобуться, — строго сказала она, раз и навсегда определяя нам подobaющее место в кругу своих знакомств.

— Придется вам потерпеть, — сердито буркнул Яков. Такой прием ему не понравился. Мы только начинали работать самостоятельно, но уже привыкли к большому уважению. — Служебные обязанности не положено исполнять босиком.

Она чуть заметно усмехнулась и высокомерно пригласила нас в комнаты.

— Прошу вас. Глаша, кофе в гостиную!

Мы вошли в большую комнату, тесно заставленную старой добротной мебелью, с большими книжными шкафами, где за стеклами громоздились кучи безделушек и сувениров, но было очень мало книг, с натертым по старинке воском паркетом, развешанными повсюду театральными афишами и портретами бывшего хозяина дома в самых разных ролях, но с совершенно одинаковым выражением лица — благородство, принципиальность, непримиримость ко злу.

При нашем появлении крохотная болоночка — такая лохматая, что если бы не голубой шарфик вместо ошейника, то невозможно было бы угадать, где у нее хвост, а где голова, — пробежала суетливо по тахте,

спрыгнула и нырнула под нее. Черный, очень старый кот, вчетверо больше собачки, лежащий в одном из кресел, вообще не удостоил нас вниманием, чуть приоткрыл глаза и шевельнул хвостом.

Повинуясь повелительно-радушным жестам хозяйки, мы расселись вокруг круглого стола, покрытого шелковой китайской скатертью с вышитыми на ней тиграми, цветами и фанзами.

Все шло совсем не так, как положено, — получался, по воле Всеволожской, какой-то своеобразный светский прием, причем нам отводилась роль чуть ли не бедных родственников, осмелившихся просить протекции и покровительства. Рассчитывать на взаимную симпатию друг к другу не приходилось.

Следом за нами в распахнутую дверь Глаша — видимо, домработница, ставшая с годами членом семьи, тоже высокая, но дородная, тяжелая, усатая старуха — вкатила сервировочный столик на деревянных колесах с резными спицами.

— Муж привез откуда-то, — небрежно пояснила Ираида Павловна. — Сейчас уже не помню, откуда именно. Он очень много за рубеж ездил. Прошу вас.

Мы с Яковом переглянулись. Надо было что-то делать, как-то ломать этот ненужный спектакль. Профессор вообще стушевался, забился в уголок под громадный зонтик торшера, испуганно выглядывал оттуда, как лягушонок из-под мухомора. Если говорила Всеволожская, он боязливо не отрывал от нее глаз, а когда мы с Яковом — морщился, шурился, дергал щекой, будто на лицо его садились мухи, и все время молчал.

Наконец, когда хозяйка, постукивая кончиком незажженной сигареты по краешку кофейного блюда, строго взглянула на недогадливого Яшку и произнесла лениво: «Что привело вас ко мне, невоспитанные молодые люди?» — тот не выдержал и, протягивая ей горящую спичку, сказал:

— Ираида Павловна, давайте во избежание ненужных осложнений сразу определим наши отношения и взаимные обязанности. Мы не напрашивались к вам в гости. Вы и профессор просите нашей помощи. С той минуты, как он передал свое заявление, мы исполняем служебный долг. Напомню, что теперь и вы, со своей стороны, имеете вполне определенные обязанности по отношению к закону. Будем вести себя в соответствии с этим.



Такой отповеди, судя по всему, Ираида Павловна давно не получала. На мгновение она растерялась. Я постарался помочь ей.

— Ираида Павловна, в вашем доме, судя по тому, что нам известно, совершена кража: согласитесь, пропажа такой ценной и редкой вещи иначе объяснить невозможно.

Получилось совсем уж никуда.

— В нашей семье, — раздельно четко произнесла Всеволожская, — никогда не было и не могло быть вора!

— Я этого и не утверждаю...

— Давайте к делу, — перебил меня Яков. — Вспомните, кто мог знать, что шпага отдана вам на хранение, кто бывал у вас с этого момента, случались ли какие-то особые обстоятельства, удобные с точки зрения похитителя: пожар, ремонт, протечки, например, ваше долгое отсутствие. Вы поняли меня?

— Во-первых, я не говорила никому о том, что шпага находится у меня. Порой я и сама не помнила об этом. Недавние печальные события, — она потрогала уголком платка краешки глаз, — которым всего полгода...

Мы помолчали, вдова изящно пошмыгала носом, высморкалась.

— Значит, это известно было лишь вам?

— Знала, конечно, Глаша. Знали сын и его жена Елена. Но они живут отдельно. Сама я нигде не бываю, квартира поставлена на охрану, к тому же в ней всегда кто-нибудь есть: или я, или Глаша. Нас никто не навещает — люди забывчивы. Раньше в нашем доме, когда был жив Мстислав, не умолкал телефон, всегда — с утра и до глубокой ночи — были гости, был шум и танцы, дружное застолье, а теперь...

Мне показалось, что она хочет сказать: а теперь, кроме таких вот посетителей, вроде вас, никого не дождешься.

— В общем, я даже не представляю, как могла пропасть эта злосчастная шпага. Даже если бы кто-то посторонний проник в квартиру, здесь нашлись бы вещи более ценные, — это она сказала с гордостью.

— Действительно, — согласился Яков, — в этой истории очень много непонятного. — Он помолчал. — Скажите, Ираида Павловна, сын, конечно, бывает у вас? Нам бы хотелось с ним побеседовать.

— Бывает. Не так часто, как хотелось бы одинокой, стареющей матери...

— Ясно.

— Нет, нет, он хорошо, заботливо относится ко мне. Раньше ему было трудно содержать семью и помогать матери. Теперь его дела значительно поправились, и он имеет возможность поддерживать меня материально — у него хорошая работа.

— Где они живут?

Она сказала адрес и обеспокоенно спросила:

— Надеюсь, вы имеете в виду круг его знакомых, а не его самого?

— Безусловно, — кивнул Яков. — Покажите нам, пожалуйста, футляр от шпаги — она ведь, я понял, была в футляре?

— Глаша! Достань футляр от шпаги профессора. Он там же, на антресолях.

Я вышел в прихожую, прошел в коридор, где Глаша уже раздвигала стремянку, и предложил ей свою помощь.

— Ни к чему, — отрезала она, — сами пока справляемся. А чего у нас там сложено, никому не касемо.

Ну и семейка, честное слово!

Глаша тяжело взобралась на лестницу, защелкала тугими шпингалетами, распахнула дверцы антресолей. Помолчала, что-то передвинула, чем-то загромоздила.

— Нету! — злорадно крикнула она в глубину шкафа.

Ираида Павловна, профессор выскочили в коридор. Яков уже стоял за моей спиной.

— Чего нету? Глаша, ты что ищешь?

— Чего сказано — коробку от сабли вашей. Справа всегда лежала. Вчера я на нее зонтики зимние клала — сами наказывали. Теперь нету.

— Да чего нету? — ломая руки, вскричала «графиня». — Зонтиков?

— Коробки нету, — злым басом бухнула Глаша.

— Кто был у вас вчера? — резко спросил Яков, задрал голову.

— Никто. Сами с хозяйкой в кино выходили. А гостей у нас после поминок и сороковин не бывало.

— Да, да, — подтвердила взволнованная новой неприятностью Ираида Павловна. — Мы были в кино. Павлик достал нам билеты на премьеру.

— Он тоже ходил с вами? — спросил я.

— Нет. Только дождался нас у кинотеатра и передал билеты. У него свои дела, свои интересы.

— Как сказали бы Брокгауз, Ефрон и Егор Михайлович, осмотр места происшествия может дать самые неожиданные результаты, — проворчал Яков, садясь в машину. — Что и случилось. Твое мнение, Сергей?

— Не знаю, Яша, рано пока мнение иметь, тем более — высказывать.

— Уверен, боданула «графиня» эту саблю какому-нибудь престарелому поклоннику. А еще разуваться заставляла!

— Не торопись с выводами.

— А что? Привыкла к широкой жизни за надежной спиной известного и обеспеченного мужика, не отказывала ни себе, ни сыну ни в чем, забот не знала. А теперь? Разбитое корыто! «Ценные вещи» у нее. Как же! Все уж небось спустила. Видел, полочки-то поредели — до книг дело дошло. А тут такая возможность поправить дела. Причем практически без всякого риска.

— Как это? А профессор?

— Ну и чижик ты, Оболенский, прямо наивный тюльпан. Ты где работаешь? Профессора она за горло держит... своею слабенькой рукой. Рыльце у него явно в пушку — это без очков видно. Не ясно пока только, в каком курятнике он побывал. Впрочем, можно догадываться: старый холостой друг дома, муж часто на гастролях, и так далее, и тому подобные банальные ситуации и взаимоотношения.

— Но если это так, она могла бы как-то иначе выйти из положения. Не опускаться до кражи.

Яков усмехнулся:

— Кража. Это мы так квалифицируем. Попробуй ей это доказать. Однако согласен, кое-что здесь не очень вяжется. И кажется мне, что они оба не то чтобы что-то знают, но что-то очень стараются скрыть.

— Да, мне тоже так показалось.

— Ладно, завтра вызывай профессора, посидим с ним плотненько, а уж потом будем решать, как нам дальше жить.

— А начальству что доложим?

— Ситуацию обрисуем, а выводы придержим. Тем более что их у нас все равно еще нет.

На следующий день, утром, до прихода профессора Яков позвонил в отделение межведомственной охраны:

— Следователь районного управления Щитцов говорит. Дайте мне справочку, пожалуйста. У вас под охраной квартира Всеволожских... Да, по Весенней улице, восемь, сто шесть. Совершенно верно. Хорошо, жду... Что интересует? Позавчера вечером, пятнадцатого числа, кто снимал ее с охраны? Дважды? Подождите минутку. Так, так. Вы уверены? Ну, ну, не обижайтесь. Спасибо.

Яков положил трубку:

— Вот так, Серега. Квартиру дважды снимали с охраны в тот вечер: хозяйка — в двадцать три тридцать, а до нее — в двадцать один ноль-ноль — мужчина. Понял?

— Здорово, — сказал я. — Это теоретически мог быть профессор...

— Или Павел, сын Всеволожской, — добавил Яков, — или третье, неизвестное, постороннее лицо.

— Только не постороннее. Снять квартиру с охраны может лишь очень близкий к семье человек. К тому же он должен был точно знать, где лежит футляр, согласен?

— Пожалуй. Не могу пока тебе объяснить, но мне все кажется, что в этой истории с самого начала что-то не так, очень неправильно. Посылка неверна. А мы пытаемся, исходя из нее, сделать выводы. Вопросов тьма. Почему, например, тот, кто похитил шпагу, оставил футляр? Почему он потом пришел за ним? И одно ли это лицо?

— Скорее всего — да. И опять же это должен быть свой человек Всеволожским — раз уж ему было известно, что шпага хранится не на квартире профессора, а у них — и где именно, раз уж он был так уверен, что в любой момент может, украв предварительно шпагу, забрать и футляр...

— Стоп! — сказал Яков. — Он взял только шпагу, чтобы ее исчезновение возможно дольше оставалось незамеченным. Время надежнее всего убирает следы. Или он еще не нашел канал сбыта. Или окончательно не договорился о цене. Или нынешний владелец шпаги знал, что она должна быть в футляре, и потребовал полный

комплект. Бесспорно одно — шпагу он брал не для себя.

— Почему ты так уверен?

— Не знаю, — рассердился Яков. — Честное слово, не знаю. Но уверен. Ну-ка, закрепим урок. Повтори, что я сказал.

Я послушно начал говорить:

— Человек, близкий к семье Всеволожских...

— ...Или ее член...

— Да, или ее член... Во всяком случае, пользующийся неограниченным ее доверием, выбирает благоприятный момент и похищает шпагу. Позавчера в двадцать один ноль-ноль он вновь проникает в квартиру Всеволожских, забирает футляр...

...— Вкладывает в него шпагу, щелкает замочками и передает эти бесценные предметы в другие руки. И где теперь шпага — одному богу ведомо. И нынешнему владельцу.

— Так чего же проще? Чего мы ломаем голову? Давай найдем его, и он ответит нам на все вопросы. Ага?

— Ага.

Не могу не похвалиться, что примерно так и было на самом деле. Мы угадали практически все. За исключением одной мелочи. Но, конечно же, тогда мы этого не знали.

В дверь постучали, и вошел профессор Пахомов. Выглядел он гораздо хуже, чем вчера: осунулся, побледнел, постарел — видимо, провел нелегкую ночь. Но самое неприятное — он был как-то уж очень спокоен, равнодушен, будто внутренне махнул на все рукой и решил безразлично ждать любого конца этой невеселой истории.

Не знаю, заметил ли Яков его состояние, но, во всяком случае, он этого не показал и решительно приступил к делу:

— Прежде всего, профессор, попрошу вас дать подробное описание шпаги и футляра, чтобы нам иметь четкое и ясное представление о предмете розыска.

— Это нетрудно, — вяло отозвался Пахомов и, как и в прошлый раз, попросил воды: то ли все-таки волновался, то ли просто профессиональная привычка преподавателя.

— Шпага очень красивая. Эфес ее сделан в виде

медной змейки — когда берешься за рукоятку, она как бы охватывает руку. Змея обвивает чашку, и из ее раскрытой пасти выбегает клинок. Он довольно узкий, блестящий, с гравировкой, с девизами...

— С какими именно? — перебил Яков.

— Я плохо помню латынь, — несколько смутился профессор. — Один, на правой стороне клинка, мне переводили как «Счастливы обладающие», а другой — «Мое смертельно жало». Кстати, кто-то, сейчас не вспомню, говорил, что в одном из девизов имеется ошибка в написании. Но это, я полагаю, несущественно... Да, хвостик у змеи отломан, а в торец рукоятки вправлен красный камень, вернее всего — рубин.

— Хорошо, — сказал Яков, — приметы совершенно неординарные. Как говорится, каждая из них — особая и может служить несомненным признаком данного предмета...

Он едва удержался, по-моему, чтобы не добавить: «...как сказали бы Брокгауз и Ефрон».

— Теперь о футляре. Догадываюсь, что это не просто картонная коробка, верно?

Профессор кивнул и принялся старательно описывать футляр.

«Обтянут черной кожей, потертой на сгибах, — записывал я, — обит медными уголочками в виде листиков земляники; примерно так же исполнены петли и замки. В широкой части футляра прикреплен художественно исполненный герб: овальный с выемкой щит, поддерживаемый валькириями, над ним — семь шлемов (один из них — центральный — с короной). Герб сильно потерт, цвета его неразличимы, на ленте выбит девиз («За алтари и отечество»). Внутри футляра длинное узкое гнездо с широким, почти круглым, углублением на одном конце».

— В общем, — подвел черту Яков, — похож на футляр какого-то музыкального инструмента?

— Пожалуй, — согласился профессор. — Но с первого взгляда видно, что вещь, так сказать, штучная, где каждый гвоздик и петелька сделаны только для нее и живыми руками, а не машиной.

— Кстати, — будто вдруг вспомнил Яков, — почему вы от нас скрыли, что в вашей квартире совершена кража?

— Я не скрыл, — обиделся профессор Пахомов. — Просто не счел это событие достаточно серьезным, что-

бы информировать вас о нем. Фактически у меня ничего не украдено, так — пустяки. Вино, сигареты...

— Насколько мне известно, вы все же понесли какой-то материальный ущерб?

— В незначительной степени. Разбита люстра, сорвана дверца шкафа и подобные мелочи.

— А почему это произошло, вы не задумывались? Хулиганство? Или что-то более серьезное?

— Извините, — наконец-то проявляя твердость, заявил профессор. — Это уж вам решать, товарищ следователь.

— Вместе будем решать, — в тон ему возразил Яков. — Не кажется ли вам, что в вашей квартире что-то искали? Конкретное и ценное. Не шпагу ли?

Профессор пожал плечами и промолчал.

— Ладно, к этому мы вернемся позже. А сейчас я попрошу вас возможно полнее в письменной форме ответить на следующие вопросы: кто знал о вашей шпаге, кто проявлял к ней особый интерес и делал вам конкретные предложения, кому известно, что вы оставляли ее на хранение Всеволожским, кто перестал посещать вас после вашей зарубежной поездки? Кстати, чем она была вызвана?

— Международный симпозиум по некоторым проблемам сельского хозяйства. Решался вопрос о проведении в Москве Международной выставки по кормоуборочным машинам. Это, кстати, моя основная специальность. Теория, конструирование. Читаю курс по этому предмету, веду научную работу.

— Ну, — оживился Яков. — Косилки, стогометатели, да? Я хоть и коренной горожанин, дитя асфальта, но очень люблю косить.

Вот это новость!

— Знаете, это прекрасно — на заре, по росе — вжик, вжик. Правда, — признался он добросовестно, — я никогда не косил.

Профессор улыбнулся снисходительно и с чувством превосходства.

— Ну, прекрасно, устраивайтесь поудобнее, — Яков, будто потеплел, похоже, встретил земляка вдали от родины, — вот вам бумага, работайте. А я только провожу товарища Оболенского и снова к вашим услугам.

— Позвольте мне позвонить на кафедру: у меня сегодня лекция, надо предупредить, что я задерживаюсь.

— Конечно, конечно.

Профессор звонит, договаривается с кем-то, чтобы его заменили, а мы выходим в коридор.

— Сережа, — наказывает Яков. — Навести еще раз «графиню», выясни, где и на каком сеансе они были в кино, что смотрели и кто, кроме ее Павлика, мог бы снять квартиру с охраны. Ага? А потом смотайся побыстрому и к нему.

«Смотайся». Павлик где-то в новом районе живет!

— А как насчет машины?

— Никак. Мы с профессором в музей поедем, с любезными сотрудниками побеседуем.

У подъезда меня окликнула лифтерша Стеша. Устроившись с вязанием на скамеечке в тени больших, пыльных лип, она была вполне настроена на долгий разговор.

— Самой-то нету. К Пашке укатила. И вчера к нему ездила, после вас сразу и сорвалась. А Глафира-то дома. И профессор у них нынче ночевал. Он к хозяйке-то давно клинья подбивает, еще при муже у них шуры-амуры завелись. Я про них все знаю...

— Это откуда же? — спросил я, садясь с ней рядом. Очень мне не хотелось пользоваться таким источником информации, но выбирать не приходилось.

— Откуда! Я у них в дому все равно что своя, уж сколько лет. Глафира-то у ней по хозяйству, по магазинам, а как уборка тяжелая, как грязная работа — они всегда меня зовут. Правда, так при хозяине было, а сейчас-то ей лишний расход ни к чему. И так уж прожила совсем. Пашка у них с малства такой балованный, такой балованный, ни тебе забот, ни отказа ни в чем, он и сейчас все тянет. А уж чего тянуть — ничего не осталось. Книжки вон продает, сама стесняется — меня просит. А мне что: снесу, и рублик-два она мне выделит за труды. Не велик доход, а приятно. Да и то сказать — не краду, правда же?

Стеша говорила, пальцы ее ловко вертели блестящие спицы; иногда она замолкала, шевелила губами — подсчитывала петли.

— Теперь у ей одна дорога — за профессора идти. Да он, видать по всему, не больно-то об том мечтает. Раньше-то ему вольготно было — Мстислав в гастроли подался, а этот уж тут вьется. Нынче уже по-другому: сама его ловит, а ему старый хомут, конечное дело, без



надобности. Опять же к Пашке-балбесу в отцы охота ли?

Разговор со Стешей, вернее, ее монолог, был мне крайне неприятен. Она не стеснялась выворачивать наизнанку семейное белье Всеволожских, даже больше — делала это с каким-то злорадным удовольствием, но и прервать ее я не решался — кое-что полезное из мутного потока ее сплетен оседало на дне лотка. Не сказать, чтобы это было золото, но в нашем положении каждому камешку рад.

В это время к подъезду подлетел ободранный «Москвичок» с надписью по кузову «Специальная», взвизгнул тормозами, как заорал, и остановился. Хлопнула дверца, и в подъезд прошмыгнул какой-то парень в кожаном пиджаке.

— Мишка, фамилию не знаю, Пашкин дружок. Тоже пьяница. И ворюга — два раза сидел уже. Сейчас его Глафира наладит с лестницы.

«Так или иначе, — подумал я, — а все равно всех Пашкиных дружков придется перебирать. Почему же с этого не начать?»

Когда я подошел к дверям квартиры Всеволожских, оттуда и правда слышался шум: громкий, грубый голос домработницы, визгливый лай болонки, какой-то стук.

Я позвонил. Открыла обозленная чем-то Глаша; из-за ее спины вывернулся этот парень: «До свиданья, тетя Глаш» — и, оттолкнув меня, вышел на площадку.

Я положил ему руку на плечо:

— Подожди, друг, вернись-ка на минутку.

— Еще чего! Меня дела ждут, а тебя я знать не знаю!

Я достал удостоверение и раскрыл его. Парень заглянул в книжечку, посмотрел на меня, перевел взгляд на Глашу, опять на меня... и вдруг рванулся и загромыхал каблуками вниз по лестнице. Я увидел только его спину, распахнувшиеся полы пиджака; бросился за ним. Не сразу, признаюсь. Настолько это было неожиданным.

Не учел я и еще одного обстоятельства: подъезды в этом доме были спаренные, каждый этаж одного соединялся с другим коридором... Я проскочил вниз на три этажа, пока до меня дошло, что я уже не слышу стука его каблуков — значит, где-то свернул и, вполне возможно, поднялся в соседнем подъезде наверх и сидит, посмеиваясь, на ступеньках, отдыхает, довольный. Ищи его теперь, бегай по всем девяти этажам!

Я спустился вниз и остановился около машины, закурил, поглядывая на оба подъезда.

Ждать пришлось недолго. Дверь приоткрылась — другая, как я и думал, Мишка осторожно выглянул, нырнул было снова в подъезд, но, видно, понял, что это глупо, и медленно пошел ко мне. Пиджак он уже снял и нес в руке.

— Набегался?

— А чего ты хватаешься? Я тебе кто — гражданин или преступник? — На лице его — широко, опухшем и, казалось, невымытом — явно отражалась борьба между страхом и наглостью. Он лихорадочно и безуспешно соображал, как себя держать и что ему может грозить.

— Документы предъявите, пожалуйста.

Он упер левую руку в бок, сплюнул:

— А я их с собой не беру, потерять опасаясь.

— И водительские права тоже?

Мишка еще больше растерялся — по всему, сообразительностью большой он не обладал.

— А при чем права, начальник? Езжу по правилам, может, машину не здесь поставил, так, пожалуйста, штрафуй — милое дело!

Я уже начал терять терпение.

— Ну, хватит! Не хочешь дома ночевать? Документы!

У него нашлось, кроме прав, служебное удостоверение.

— Завтра утром зайдешь в райотдел, комната четыре, к инспектору Оболенскому.

— За что наказываешь, начальник? — заныл Мишка. — Нет ничего за мной.

— За неповиновение представителю власти, — сказал я первое, что пришло в голову. Но, в общем-то, я уже был уверен, что этим парнем придется заняться всерьез. Не знаю, имел ли он какое-нибудь отношение к пропаже шпаги, но то, что «за ним ничего нет» — весьма сомнительно. — Зачем к Всеволожским приходил?

— Пашку навестить хотел. Я его адреса нового не знаю, спросить зашел. А ты хватаешь.

— Ладно, все. До завтра.

— Без хозяйки ни об чем говорить не буду, — отрезала Глаша. — Не велено. И сама не желаю.

Я уже было открыл рот с целью напомнить Глаше,

что «говорить» со мной она обязана по закону, но во время перестроился и в самых изысканных выражениях с капелькой высокомерия (в расчете на психологию домработницы, которую годами отработывала в ней Ираида Павловна) объяснил, что для пользы и спокойствия «вашего благородного семейства» мне крайне необходимо знать, на каком фильме они вчера были с хозяйкой.

— Это скажу, — буркнула, несколько смягчившись, Глаша. — Названия только не упомяну. А картина трогательная была. Хозяйка-то все морщилась и фыркала, а мне она очень до сердца достала, всю душу пробрала.

— «Долгие рассветы» называется? — уточнил я. — Про женскую тракторную бригаду?

— Она самая, — подтвердила Глаша и наконец пропустила меня в комнату. — Про бригаду и про землячку мою. Вот ведь всего достигла: и Герой Труда, и государственный человек, и артистка ее в кино играет, — Глаша усмехнулась, но как-то грустно. — Подружками были. За одним парнем бегали. И в бригаду вместе пошли. Да меня вскорости Мстислав (он мне родня, только мы с ним так и не разобрались — кто кому кем приводится) в город сманил. Вот я и получила себе новую специальность. А не то — так, может, и про меня сейчас кино снимали бы или песни складывали. Ну теперь что уж...

— Так с ними всю жизнь и прожили? — спросил я.

— Так и прожила. Мстиславу-то я жаловалась, говорила ему, что на производстве хочу. Он все обещался, а хозяйка — та ни в какую. И то сказать — как же она без прислуги!

— Барыня?

— Барыня, — снова усмехнулась Глаша, не то презрительно, не то с жалостью. — Такая уж барыня, куда там: отец дворник, мать на фабрике работала. Так она из парадного альбома, что для гостей, их фотокарточки (отца в фартуке и мать в платочке и ботинках) выдрала и в другой переложила, чтоб, значит, не позориться ихним трудовым прошлым.

Момент был удобный (Егор Михайлович никогда бы мне не простил, если бы я его не использовал), и я решил — попросил посмотреть альбом.

— А чего ж, можно, — согласилась Глаша. — Толь-

ко помалкивай потом, а то хозяйка узнает — не простит.

К сожалению, в этом огромном, как стол, в сафьяне и меди альбоме я ничего не нашел нужного — так мне казалось тогда. Заинтересовала меня (чисто психологически) только одна деталь: на первой странице под пустым местом со следами отклеенных фотографий были подписи: «Отец — Павел Федотович Кучеров, действительный статский советник. Мать — Марфа Игнатьевна, урожденная Степанова, дочь присяжного поверенного». Представляю, с какими многозначительными ужимками объясняла Ираида Павловна своим гостям отсутствие этих фотографий!

А дальше шел обычный семейный набор по типу и смыслу: это я в Крыму; это я еще девочка (правда, хорошенькая?); это Мстислав, это Мстислав, это тоже; это Павлик на велосипеде; это его первая любовь; это опять я в Крыму, волшебное море, не правда ли? — и платице миленькое; это я на вернисаже (сам приглашал), это — на открытии выставки тяжелого машиностроения; это мы собираемся на премьеру...

Глаша стояла сзади, смотрела через мое плечо и комментировала содержание фотографий.

— Пашка хороший малец был, испортила она его баловством. А мог бы такой человек из него стать. Только уж вовсе меру потерял.

— Какую меру?

— Это я так, про совесть. Он добрый, но уж если чего захотел — вынь да положи! После Мстислава — как похоронили и памятник выкупили — почитай, ничего не осталось. Только-только концы с концами сводить. А Пашка как маленький — то давай, это давай — привык же. Нам, по нашим доходам, тишком надо жить, осмотрительно, об завтра думать.

А это — Леночка, жена Пашкина. Да, видно, не заладится у них. Сперва-то она его прибрала к рукам — за ум вроде взялся, серьезнее стал, а потом опять все вразброд. Не совладает она с ним. Вместе с ихним Алешкой, считай, двое у нее на руках: Пашка-то до сих пор как дитя малое.

Я просмотрел альбом до конца. Все это, конечно, интересно с определенной точки зрения, но по существу вопроса ничего мне не дало. Среди последних снимков, вложенных в кармашек на обложке, была еще одна фотография Лены — она стояла, держа у груди фехто-

вальную маску, опустив к полу спортивную рапиру, и устало улыбалась.

— Недавно это. Победила! — сказала Глаша с гордостью. — На все успевает. Только счастья-то ей нет. А это обратно Павловна. Ничего не пропустит.

Всеволожская сидела среди каких-то технических реклам, кокетливо держала в руках бокал с торчащей из него соломинкой и длинную сигарету. Снимок был цветной и сделан, похоже, японской камерой — знаете, из тех, что, только щелкнешь, выдает готовый снимок.

— На какую-то сельскую выставку ее занесло. Лучше бы с внучонком побаловалась.

— Глафира Андреевна, — сказал я, вставая, — а зачем к вам этот парень заходил, Полупанов?

— Полупьян-то? Мишка? А я и сама не поняла толком. Попроведать, говорит, зашел. Что и как — узнать. Я его гоню, а он в залу лезет. У Пашки этих друзей как собак нерезаных. Всякие есть...

— Скажите, а кто мог, кроме Павла и профессора, зайти в вашу квартиру?

Она думала недолго:

— А любой. Только и слово, что охрана. Вошел, позвонил куда надо, и бери что хочешь.

— А ключи?

— Пашка этих ключей перетерял — на хорошую тюрьму хватит.

Час от часу не легче!

— Ну, хорошо. Передавайте мой поклон хозяйке. Скажите, что я еще зайду.

— Ничего передавать не стану. И что ты был — не скажу. Она этого очень не любит, чтоб без нее разговаривали.

В новом районе, где я искал кооператив Всеволожских-младших, мне пришлось побродить от души: одинаковые улицы, дома под копирку, пыль и ветер с реки...

Впрочем, у меня просто было дурное настроение. Чем больше мы занимались этим делом, тем меньше оно мне нравилось: ничего определенного, все какое-то студенистое, вязкое, неприятное. Яков прав — что-то здесь с самого начала идет не так. Я не чувствовал твердой почвы под ногами. Это раздражало, вызывало усталость и тревожное предчувствие — будтоходишь в пустую темную комнату и тебе кажется, что там притаился кто-то недобрый, и что у него на уме — кто знает...

Наконец я нашел нужный дом, вошел в подъезд. Навстречу мне спускалась по лестнице очень симпатичная молодая женщина в легком плаще, в беретике, так лихо сдвинутом набок, что казалось, он просто висит у нее на левом ухе, как на крючке. Одной рукой она вела малыша лет трех, в другой несла большую спортивную сумку, плохо, наспех застегнутую. Лицо женщины показалось мне знакомым. Придерживая дверь, я в упор взглянул на нее и узнал Лену.

— Мам, мы совсем уходим, да? — спросил малыш.  
— Совсем.

— Будем теперь вдвоем жить? И с бабушкой? И никто нам не нужен?

Дверь за ними закрылась, и больше я ничего не услышал. Ну, что же, знакомство наше еще впереди.

Квартира Всеволожских-младших была на самом верху, на двенадцатом этаже. Я позвонил и услышал издалека: «Открыто! Входи, если надо!»

В прихожей никого не было. На вешалке висела мужская, по-детски яркая куртка. У стены стояла сложенная коляска, в ней лежали лопатка, грузовички без колес и кабин, одноногий пластмассовый мишка.

В кухне зажужжала кофемолка, и я пошел прямо туда. Долговязый молодой человек в вельвете, с длинными волосами смотрел в окно и молот кофе. Не оборачиваясь, он произнес странную фразу:

— Совсем вернулась? Или забыла что?

— Ничего я не забыла, — сказал я.

Он обернулся. Без всякого удивления, дружелюбно посмотрел на меня, улыбнулся и с интересом спросил:

— А тебе чего надо? Я тебя звал?

— Инспектор уголовного розыска Оболенский. Вы — Павел Всеволожский?

— К сожалению, — он опять улыбнулся. — Кофе выпьешь со мной? А то мне скоро на работу, надо поправиться после вчерашнего.

Действительно, очаровательный балбес. И улыбка — лучше не бывает: открытая, будто он вам искренне и очень рад, чуточку смущенная — вот я какой, вы уж не обижайтесь, и простите, если ляпну что-нибудь не то, ладно? Вообще-то я добрый малый, всех люблю, а вас — в особенности, и со мной легко ладить.

Его не портила даже дырка от переднего зуба, ему это даже было к лицу — совсем мальчишка — веселый, озорной, но славный, у которого еще меняются зу-

бы и только-только появляется характер. Впрочем, ему все шло — и длинные волнистые волосы, и голубые чистые глаза, и нервные движения тонких пальцев.

— Я не за этим пришел. — Мне стоило большого труда не улыбнуться ему в ответ.

— А что случилось? Я что-нибудь натворил?

— Вы не догадываетесь?

— Догадываюсь, — он высыпал из мельницы кофе в турку и залил его кипятком. — Маман вчера прибежали: «Ах! Ах! Боже мой! Какой позор! Какой пассаж!» Но это не я, честное пионерское. Иди в комнату, я сейчас кофе принесу.

Комнат было две. В первой, где, видимо, обитали Лена с Алешкой, — чистота, порядок, уют, только чуть заметны следы торопливых сборов, зато в другой... Я как вошел в нее, так и стоял, пока Павлик не принес кофе.

— Ты что? — удивился он. — Стесняешься?

После Яшки меня, в общем-то, трудно удивить порядком, но тут было что-то совершенно уникальное. Я не берусь даже вкратце перечислить все, что висело по стенам, под потолком, лежало на столах и диванах (под ними тоже). Может, кто-то и сказал бы, что хозяин комнаты обладает очень разносторонними вкусами и интересами, гармонически развивает свою личность, но мне показалось, что эта личность вообще не имеет никаких интересов — она лихорадочно пробует все подряд, чтобы понять, что ей нравится, на чем, наконец, остановиться. Судя по всему, Павлику осталось перепробовать совсем чуть-чуть — в комнате не было лишь космонавтского шлема и доильного аппарата.

— Ну-ка, помоги мне, — сказал Павлик, держа в руках поднос с кофейником и чашками. — С этого стола все — на тот, лыжи — в угол, два кресла освободи. Да прямо на пол. Отлично! Пролезай туда и бери поднос. Время есть — посвятим его кайфу. Как говорили мудрые древние азиаты, знаешь? Эх, ты! Только тогда мы живем, когда испытываем наслаждение. Вот! Я, конечно, слова перевернул, а за смысл ручаюсь.

Он пробрался к окну, задернул шторы и щелкнул невидимой кнопкой. Комната озарилась каким-то волшебным мягким светом, по потолку забегали, подчиняясь строгому ритму одновременно зазвеневшей музыки, разноцветные блики, все время менявшие свою окраску... Несколько оригинальная обстановка для допроса.

— Нравится? То-то. Своими золотыми ручками сделал. А стоила ужас каких денег! — Он налил кофе в чашки. — Бери сахар. Сливки принести? Может, коньяк? Или тебе нельзя? На службе. А мне можно? Ну я одну, ладно? Знаешь, голова тяжелая. А мне на работу. И разговора не получится, еще напутаю что-нибудь, а тебе отвечать.

— Павел Мстиславович... Ну, хорошо — Павел... Скажи мне, как, по-твоему, могла пропасть шпага из вашего дома?

— А я откуда знаю? Я ее и не видел толком — герр профессор так над ней трясся, что даже сам ее на антресоли упрятывал. А маман ему светила, — он хихикнул. — Как-то я хотел шпагу Ленке показать, так маман такой демарш устроила (она это умеет), я даже испугался. Романс Булахова!

Что-то кольнуло меня — я еще не понял, что именно, но внутренний приказ насторожиться почувствовал.

— А когда это было?

— Да разве я помню? А, постой... Ленка тогда на первенство вузов сражалась, выиграла и вышла в финал. Я еще одну приму. Ладно?

Я не успел его остановить — он быстро опрокинул рюмку и запил коньяк кофе.

— Послушай, Павел, а почему ты так называешь Николая Ивановича — герр профессор?

— Дразнилка такая. Как-то услышал — маман кому-то по телефону отвечала, что «...герр профессор обещал быть сегодня к обеду и надеется...». Мне это страшно понравилось, и я его теперь так зову. А он злится.

— Николай Иванович у вас свой человек в семье... Павлик усмехнулся ядовито.

— Он говорит, что к нему часто приходили коллекционеры, интересовались шпагой. Ты никого из них не видел?

— Одного видел. Он к нам приходил, маман тыкву в подарок приносил. Горский князь.

— Как он выглядит?

— Пузечко.

— Так.

— Усы, кепка, нос.

— Все?

— Портфель с деньгами.

— Это не примета. Фамилию не знаешь?



— Точно не помню. Какая-то неприличная, похожа на Гельминтошвили. Или Аскардзе.

— А ты не врешь?

— Я никогда не вру. — Он весело рассмеялся. — Я только ошибаюсь.

— Ну если так... — Я помедлил. — Если так, скажи, где ты был позавчера вечером от двадцати до двадцати четырех?

Павел внимательно посмотрел на меня, как-то по-собачьи склонил голову к одному плечу, к другому и выпалил:

— Не скажу. — И опять засмеялся, очень довольный.

— Ну, хватит, — зло сказал я, вставая. — Собирайся.

Павел не испугался, не растерялся — он искренне огорчился:

— Ты что — обиделся? Как жаль — ты мне очень нравишься. Давай с тобой дружить, а?

Я заметил, что он очень быстро опьянел: то ли он вообще очень мало пил и был непривычен, то ли уже наоборот.

— Знакомых у меня — во, — он развел руками и уронил что-то на пол, — а друзей нет. Ты будешь за меня заступаться, ладно?

— Кто же тебя обижает?

— Все меня обижают. В детстве, к сожалению, мало били, зато теперь достается. Даже зуб выбили. Хочешь, я тебе про свою жизнь все-все расскажу? Тебе жалко меня станет, какой я несчастный... Ты многое тогда поймешь. Я почему-то верю тебе.

Павел пьяно валял дурака — это ясно. Но в то же время он и в самом деле совершенно одинок, несмотря на все свое обаяние, растерян. Видимо, наступил тот час, когда он старается понять, что с ним произошло, как произошло и можно ли еще хоть что-нибудь поправить. И хотя я пришел к нему с конкретной целью, прервать его у меня не хватило духу — мне было действительно его жаль. К тому же это был тот случай, когда официальный допрос все равно ничего бы не дал.

Я не стану здесь приводить подробности биографии Павлика, отмечу только то, что наиболее ярко характеризует обстановку, в которой формировалась его личность, и то, что может заинтересовать читателя.

— Школу я кончил — вот так, с золотом. Все

знал, все умел, и все меня любили. И конечно, по тятенькиным стопам — в театральный. Там сказали: обаяния у вас — во! — тонны, а таланта — ни грамма. Тятенька было зашумел, но герр профессор предложил свой сельхозвуз. Ну не в армию же идти!

Меня и взяли... фактически без экзаменов. Выпьешь? Как хочешь. При себе оставь советы. А после экзаменов — практика, в колхоз, на картошку. Как мы туда приехали, как я посмотрел... Картошки много, и вся в грязи. Ни душа, ни холодильника... И ребята надо мной смеялись, как я лопату держу. Тогда я взял и скоропостижно заболел. И потом каждую практику болел. И никогда мне ничего за это не было. Но уже многие меня не любят. Потому что толку от меня никакого нет. Никому я не нужен. Даже Ленка с Алешкой меня сегодня бросили. И правильно сделали. Бедная кровожадная девочка... Как я ее жалею.

— Почему же кровожадная?

— Знаешь, как она за меня взялась сначала? Говорит, я из тебя сделаю человека и мужчину. Маман с тятенькой нарочно мне ее подсунули. Не веришь? Сами изуродовали, а ей — исправлять. Мне ее жалко. И Алешку тоже. Ну, какой я отец? Меня самого в пору на саночках возить...

— Слушай, ты так об отце с матерью говоришь...

— А что, я их уважать должен? Все-все — последнюю, а то я волнуюсь... Придумали тоже — раз отец и мать, значит, их обязательно уважать надо! А я их ненавижу. Они ведь артисты. Отец — на сцене, мать — в жизни. Светская баба! И герр профессор тоже артист. Он — хитрый, друг дома. У них с маман, — он покрутил пальцами, — роман. А тятенька, думаешь, не знал? Как же! Ему это выгодно было, он ни одной молоденькой артисточки не пропускал, брал над ней покровительство и совершенствовал с ней... сценическое мастерство. А в промежутках создавал героические образы современников. Лучше бы сыном побольше занимался. Так нет — подарками отделялся. Чего он мне только не дарил! И профессор тоже. А как я осиротел, — он дурашливо всхлипнул, — так он даже тройка на меня жалеет... А, да черт с ними! Мне только Ленку с Алешкой жалко. Испортил ей жизнь. Не, я серьезно, не думай, что по пьянке... А вообще-то, я уже хорош. И когда успел? — Он искренне удивился. — Пошли домой. Еще по одной — посошок — и по домам.

Давай... Э... а еще другом назвался. Какой же ты мне друг — покидаешь в трудную минуту! Ну, скажи — разве ты меня уважаешь?

— Я тобой горжусь, — усмехнулся я. — Только возьми себя в руки. — Я налил ему еще чашку остывшего кофе. Он залпом выпил его.

— Ну, все. Пора на кладбище. Чашка кофе, холодный душ, свежая рубашка — и на кладбище.

— Чего ты торопишься? Поживи еще, — опять усмехнулся я, думая, что Павлик пьяно шутит.

— Не-не, пора. Я с двух начинаю, после обеда. У нас полный день никто не выдерживает, понял? Вредное производство. Перегрузки, как у космонавтов. Я эти, как их, цветники, по могилкам развожу, тройки сшибаю. У меня теперь этих тройков от скорбящих родственников! Куда профессору!

Говорить с ним было бесполезно. И как это я потерял бдительность? Видимо, он уже с утра был заправлен по самую пробочку... И чем-то очень взволнован. Скорее всего уходом Лены. Похоже, она действительно единственный его друг, одна опора. Я спросил у Павлика, где ее найти.

— К матери поехала. — Он сказал адрес. — К чертовой матери! Не вернется. И шпагу тебе не найти. Она, она, — он качнулся в дверях, помолчал, будто решал — открыть мне эту тайну или нет, прижал палец к губам.

«Ну, ну», — внутренне подтолкнул я его.

— Она... скрылась из глаз...

Я вернулся в отдел. Яков уже был у себя.

— Ну, что?

Я вкратце рассказал ему о результатах поездки, подчеркнул, что пока не удалось выяснить, где был Павлик в тот вечер и с кем он дрался.

— Все-таки кое-что есть. Только уж больно противное.

— Ты просто боишься, что все это может дать очень неожиданные результаты.

— Не совсем так: скорее боюсь иметь те результаты, на которые рассчитывал в самом начале.

— Ну и разговорчик у нас!

— Да уж... Каково дело — таковы и поделушки. — Яков помолчал, поморщился. — У меня тоже новости есть.

— Дурные, конечно?

— Как знать. Были мы с профессором в музее... Вот... Там ни сном, ни духом об этой шпаге никто не знает. И никто никаких работников на переговоры с профессором не уполномочивал.

— Вот и обо мне вспомнили, — издевательски-радостно приветствовал нас Егор Михайлович. — Где-то вы бегаєте, соколики? Покажитесь-ка, а то я уже вас в лицо не помню.

— Егор Михайлович, — обиделся Яков, — мы ж совсем недавно виделись — у вас еще усы не отросли. Правда, уже заметно, что вы не бреетесь.

— Ну, ну, не зарывайтесь, товарищ Щитцов. Докладывайте ваши успехи.

Мы переглянулись.

Он выслушал нас, не перебивая, похвалил Яшкину папку. Заметил, что галстук надо перевязывать каждый день, а не делать на нем узел раз и навсегда, до помойки. На что Яков робко заметил, что зато он бреется каждый день, а иногда еще вечером.

— Не замечал, — сухо возразил Егор Михайлович. — А вот то, что вяло работаете, заметил. Вас как учили? Вас учили последовательно, энергично отрабатывать версии, логически выстраивать цепь событий и делать выводы. А они у вас есть — версии и выводы? Ничего у вас пока нет. И не будет, если не возьметесь всерьез.

Отчитав нас, начальство круто переложило руль и бросилось нам на помощь.

— Обращаю ваше внимание на три факта. Первый — слишком много заинтересованных лиц. По списку, составленному профессором Пахомовым, — шестьдесят человек. Так вам и надо. Побегайте, соколики! Если позволите, дам вам совет. Опросите в первую очередь тех, кто имел с профессором непосредственный контакт на известной нам почве, у кого могли «задрожать руки» при виде шпаги. Второй — пропажа футляра. Здесь или крайняя уверенность в безнаказанности, возможность действовать совершенно свободно, или что-то совсем другое, косвенное, не связанное с пропажей шпаги. Третий факт — резкий, немотивированный отказ Всеволожской показать шпагу... кому? — невестке, золовке — не разбираюсь в них. Ну а то, что перегово-

воры вели не музейные работники, это элементарно, это было ясно сразу. Только кто тут натемнил? Не профессор ли? Удивляюсь вам. Почему вы до сих пор не поинтересовались его командировкой? Тут вы наверняка найдете что-нибудь полезное. И вообще, разберитесь с ним поподробнее — что за личность этот профессор? Мне обидно, что вас не насторожили некоторые странные факты. Ясно вам?

— Вы очень понятно все объясняете, Егор Михайлович, — угодливо согласился Яков. — Прямо как в учебнике. Как Брокгауз и Ефрон.

— Я уже старый человек и то стараюсь избавляться от плохих привычек. Советую и тебе. Начни хотя бы с того, чтобы не хамить начальству. Видал, Оболенский, с кем приходится работать? А вообще, я вами доволен, опять. Результатов нет, но стиль вы взяли правильный. Для этого дела он самый подходящий. Ну а уж потом... когда все просеете... Понятно?

Мы опять переглянулись. Что это — действительно похвала или кукиш в кармане?

— Ну, все на сегодня. Завтра жду вас с конкретным планом расследования: во-первых — «а», во-вторых — «б» и так далее.

Мы встали, пошли к двери. Я уверен, что и Яков тоже ждал удара в спину. Егор Михайлович любил дать «пинка» в профилактических целях. И дал:

— А, кстати, я не уверен — была ли вообще эта шпага? Все, все. До завтра.

### Глава 3

Егор Михайлович обычно щадил наше самолюбие. Такой жестокий и коварный удар означал только одно: мы работаем по шаблону, начальство заметило наши грубые ошибки и хочет, чтобы мы сами их нашли и исправили. Короче, думайте, ребята, сильнее.

Яков достал два бутерброда, термос.

— Во дает дед! Может, и профессора Н. Пахомова не существует? — Он заглянул в папку. — Заявление на месте. Раз есть заявление — есть и заявитель, верно? Что он хотел сказать?

Я пожал плечами:

— Думай, Яшка, думай.

— Не буду! — вдруг взвился он и забил копытами в воздухе. — Я не могу думать на пустом месте! Снача-

ла нужно что-то найти, узнать, а уж потом это обдумывать... Что же он все-таки имел в виду?

Я снял телефонную трубку.

— Ты кому?

— Витьке Линеvu, — ответил я, набирая номер. — Сейчас он скажет нам: «Что вы, милые, эта шпага есть прекрасная легенда. Из любви к искусству вы можете искать ее хоть всю жизнь, но...» Витек? Это Оболенский. Как жизнь? И у меня так же. Сможешь к нам заскочить? Очень важно. Именно ты. К двум? Хорошо, ждем тебя.

Виктор Линеv — мой старинный приятель, школьный еще товарищ — работал реставратором (реконструктором, как он говорил) экспонатов в краеведческом музее, специализировался на старинном оружии, знал свое дело прекрасно и умел все: по одному колечку мог восстановить всю кольчугу, по ржавому обломку лезвия — меч, по куску тетивы — арбалет. Мы уже как-то раз пользовались его помощью.

Когда он приехал, мы, не объясняя сути дела, рассказали ему, как выглядит пропавшая шпага, и спросили, не слыхал ли он что-нибудь о ней раньше.

— Слыхал, — сказал Витька, и глаза его загорелись. — По-моему, об этой шпаге упоминается в «Описи собрания оружия графа Шереметева», но не уверен. Я ее никогда не видел, но, судя по описанию, редкая, прекрасная вещь.

— А вообще ее кто-нибудь когда-нибудь видел? — безнадежно спросил Яков.

Линеv пожал плечами:

— Вполне возможно, что, кроме владельца, никто и никогда.

— Слушай, — напомнил я, — ты ведь знаешь коллекционеров оружия. С кем из них полезно будет поговорить об этой шпаге?

— Ты понимаешь, я сам не коллекционер — при моей работе сколько бы получалось: не всегда личные интересы совпадают с общественными, и поэтому связей с ними постоянных у меня нет — так, необходимые временные контакты. Потом вот что: почему вы хотите говорить именно с коллекционерами оружия? Ведь у них не всегда «узкая специализация», нередко они успешно совмещают самые разные интересы или имеют второстепенный «обменный фонд» для пополнения главной коллекции.

— Так что же делать?

— Ищите дядю Степу.

— Кого? — спросили мы одновременно.

— Есть такой дядя. Я нет-нет и слышу о нем у коллекционеров. Как я понимаю, он у них своеобразный дирижер в оркестре собирателей. Он всегда знает, что у кого есть и что на что меняется. И посредничает в этом. Естественно, соблюдая свои интересы. Найти его можно в кафе «Три слона».

— Это еще что такое? Где?

— Понятия не имею. Завсегдатаи называют так какое-то кафе-мороженое. А работает он где-то в сфере ритуального обслуживания населения.

— На кладбище, что ли? — встрепенулся Яков. — На каком?

Линев ответил, что не знает.

— А Пашка на каком? — Это уже мне. — Ты вроде говорил?

Мне тоже пришлось ответить, что не знаю.

— Эх ты! Полдня ездил и почти ничего не привез.

Разговор наш продолжался долго. И оказался, как выяснилось потом, весьма полезным. Не зря Егор Семенович любил повторять, ссылаясь на Ефрона: чем больше о предмете знаешь, тем легче его разыскать.

В этот раз Линев многое сообщил нам об истории этой шпаги, пообещал еще покопаться и все, что обнаружит, представить нам. Для удобства и пользы читателя считаю необходимым рассказать сейчас о том, что мы узнали гораздо позже. Сразу оговорюсь, что привожу здесь сведения, не проверенные до конца по причине исключительной давности описываемых в этой главе событий, а также построенные нами и некоторыми другими исследователями предположения относительно тех или иных толкований главных причин, повлекших за собой эти события.

«Итак, очень давно, где-то в XVI веке, некий прусский дворянин, назовем его фон Хольтиц, находившийся на службе при дворе одного из испанских королей, оказал последнему приватную услугу, настолько, по-видимому, высокого свойства, что был пожалован тяжелым кошельком и шпагой дивной работы с клинком прекрасной толедской стали.

Услуга, оказанная королю, вероятно, серьезно затрагивала интересы тогдашней оппозиции в придворных кругах и вызвала недовольство многих знатных и влиятельных людей, которые искали способа разделаться со счастливымчиком.

Несколько дуэлей, вмешательство правосудия и неизбежно последовавший за ним «суд божий», на котором фон Хольтиц, насквозь пронизав противника подаренной шпагой, выиграл тяжбу, дало ему право к девизу, гравированному на правой стороне клинка, добавить еще один («*Beati possidentes*» — «Счастливы обладающие») и возможность, благоразумно оставив Испанию, водвориться в родовом замке, дабы обезопасить свою жизнь и удовлетворить настоящую потребность в духовном и телесном отдыхе после пережитых треволнений.

С той поры в роду фон Хольтицей эта шпага справедливо почиталась фамильной реликвией, принесшей ему славу и богатство, и нашла свой почетный покой на мраморной каминной доске парадной залы, под портретом ее первого владельца, увековеченного кистью весьма умелого художника. Свой прекрасный футляр, обтянутый черной кожей и обитый медными уголками, исполненными в виде листиков земляники, покидала шпага лишь ради участия в решающих событиях — в дворцовых переворотах, на присяге новому королю, в поединках нерядового свойства.

Шли годы, десятилетия, века. В старом замке над рекой менялись поколения, происходили рождения и смерти, убийства и великие браки; он пережил и выстоял не одну осаду, за его толстыми каменными стенами кипели жестокие страсти, вершилась история, тайно и явно гибли люди; в его глухих подземельях копились прикованные к железным кольцам скелеты, бродили, стеная, по ночам фамильные привидения.

И шпага, благополучно возвращаясь после славных дел на свое, освященное преданием и традицией почетное место, переходила от пращуров к потомкам по заведенному порядку, нерушимо, как скала, на которой веками черным тяжелым вороном сидел старый замок. Она стала символом рода, ее блестящий клинок был стержнем, на котором держалось его высокомерие, гордость, тщеславие и сила.

И вот пришла весна 1812 года. Зазеленела вокруг старого замка трава. Запели птицы в нежной изумруд-



ной дымке, покрывшей древние буки, окружавшие замок. Они стояли в отдалении от его стен, потому что их более неосторожные сородичи были предусмотрительно вырублены еще в бурное время междоусобных войн и нашли свой конец в громадных прожорливых каминах, чтобы не давать врагу подойти незамеченным и не скрывать в своей листве метких осадочных стрелков.

Престарелый, но бодрый еще умом и телом барон Иоахим фон Хольтиц, грея у камина укрытые волчьей шкурой ноги, полузакрыв глаза, постукивая в каменный пол длинной фарфоровой трубкой, предавался вслух чарующим воспоминаниям далекого прошлого, дабы настроить на воинственный лад веснушчатого, рыжеватого, но тем не менее достойного отпрыска славного рода — юного Хольтица, офицера 2-го Прусского гусарского полка 1-й легкой кавалерийской дивизии генерала Брюйера. Эта дивизия в составе прусского корпуса — одного из двенадцати корпусов шестисоттысячной Grande armée, расположившейся в Пруссии и великом герцогстве Варшавском, — готовилась выступить на Московию.

Старый фон Хольтиц давал своему наследнику последние наставления перед походом.

— Помни, сын мой, — торжественно и величественно говорил он, — девиз, начертанный на гербе нашего древнего рода: «Pro aris et focis!» \* Будь достоин памяти своих предков. Верно служи императору, не жалея чужой и своей крови. Всякая слава — дым, но не долбестная воинская слава.

Поднявшись с кресел, почтительно поддерживаемый сыном, он вручил ему священное оружие с наказом салютовать императору и его победе на параде в поверженной Москве.

— Береги ее более чести своей!

Юный гусар склонил свою рыжеватую голову и коснулся губами холодного клинка.

12 (24) июня армия «двунадесять язык» вступила в пределы России. Французские, австрийские и прусские, баварские и саксонские, голландские и швейцарские, итальянские и португальские корпуса, полки и дивизии («Пойдите и принесите мне победу!») шли за данью войны, за новой славой для «повелителя мира».

Но с самого начала на полях и дорогах России, где

---

\* «За алтари и отечество!»

в громе орудий, в дыму и пыли, в крови и пламени сражений ползло ненасытной змеей наступление, все получалось нехорошо. Решить победу «одним ударом грома» императору не удалось. Стремительно нарастали потери, не хватало провианта и фуража, падал дух войск, а с ним и дисциплина, и самое страшное — вера в гений великого полководца. А уже после битвы в двух шагах от Москвы, под селом с трудным названием Бородино, все слилось в один угарный, кошмарный сон, от которого ни избавиться, ни проснуться.

Была в этом сне горящая непокоренная Москва, над которой в одной стае с ошалевшими галками кружили хлопья пепла и обугленные страницы древних книг...

Был голод, а за ним грабежи и жестокие схватки «победителей» из-за куска хлеба и полудохлой курицы. Были в ночи лязг оружия, крики «Караул!» и стоны солдат, которые бросались в погреба и подвалы, надеясь найти там хоть что-то съедобное, а их встречали в темноте дубиной по хмельной голове, вилами в живот, пуль в сердце...

Были позор и бесчестье, были попытки отчаявшегося, растерявшегося императора призвать население к покорству, а свои войска — к повиновению...

Были жалкие смотры и парады в Кремле, где император, обходя строй непроспавшихся после пьянства и разгула солдат в драных и грязных мундирах, вымазанных вареньем и залитых вином, лично вручал им награды за мужество, стойкость и отвагу. На одном из таких смотров отличился прусский гусар юный фон Хольтиц со своей фамильной шпагой. Но об этом будет рассказано в свое время...

Было паническое бегство, был ад Смоленской дороги, на которой бросали, не добивая — что было бы милостью, — своих раненых и больных...

Были костры из увенчанных орлами знамен, зажженные по приказу императора, дабы не допустить их бесчестья, но вокруг которых грелись и злобно ругались солдаты, плевали в огонь и дрались из-за теплого места, поближе к пламени, в котором сгорала их слава и честь...

— А точно ли здесь попрут, господин офицер?

— Твое дело, Василий, не сомневаться, а глядеть зорче. Здесь пойдут. Как набат услышим, значит, завернули их с главной дороги — знай жди! Дело верное.

Усатый, круглолицый и румяный от мороза гусар, потирая ухо, пригнулся к гриве коня и смотрел внимательно вперед сквозь заснеженные лапы старой придорожной ели. Рядом с ним спокойно стоял, опираясь на рогатину, здоровенный мужик в тулупе и больших рукавицах, поскрипывал лапоточками, переминаясь в волнении, молоденький парнишка, мальчонка совсем, сжимая голый, озябшей пятерней простую деревянную рукоять тяжелой зазубренной сабли.

— Что топчешься, Пахомка? — смеясь, спросил мужик. — Аль приспичило? Аль боязно?

— Не боязно. Да скорей бы.

— Ничего, Пахомка, не бойсь. Попервости завсегда страх берет, да ты об том думай, что хранцузу твоего боязней. Вон и сабля у тебя какая сурьезная. Не робей, веселей гляди.

Тишина. Мороз. При первом ударе колокола, далеко слышного окрест, срывается с верхушки ели тяжелый белый ком, падает вниз, увлекая за собой растущий на ходу поток снега — и тот обрушивается на стоящих под елью людей, враз покрывает их искрящейся на солнце пылью.

Юный фон Хольтиц, укутанный в твердый колючий ковер, дремал на козлах крытого шарабана, в котором везли кожаные мешки и бочонки с золотом, кое-какой провиант и брошенные вперемешку, навалом ружья, ранцы, тряпки, золотые и серебряные сплюснутые оклады русских икон.

Ему снился родовой замок: будто сидит он у каминна, где жарко трещат толстые поленья. Ему тепло, спокойно, уютно. Только почему-то он бос — походные ботфорты со шпорами стоят рядом на ковре, — и с его пальцами, как с мышами, играют маленькие котята, все сильнее и глубже запускают в них свои цепкие коготки и острые иголки зубов...

Он просыпается — болят схваченные холодом ноги. Отупевший от непрерывного ужаса отступления — бегства, голода и мороза, безразлично смотрит по сторонам, казалось, замерзшими глазами, оглядывает растянувшуюся без края колонну ободранных, опаленных у походных костров, одичавших людей, подгоняемых поднявшимся ветром (лошадей почти не осталось, только несколько офицеров ехали верхом на худых клячах, да

два десятка пленных тащили сзади несколько телег с награбленным добром), и ему представляется, что огромная метла гонит их, метет со свистом по дороге, будто подгребает к порогу мусор, чтобы безжалостно выбросить его вон из дома.

Фон Хольтиц видит впереди деревеньку из десятка изб с крышами словно из снега, появившегося на пути нарядного французского офицера с пистолетами в седельных кобурах и за поясом и на хорошей, сытой лошади — он весело что-то кричит, объясняет и заворачивает колонну на другую дорогу, видно, к разбитому биваку, с теплом, отдыхом и пищей.

Фон Хольтиц все так же безразлично смотрит вдоль дороги, где всюду, чуть присыпанные снегом, валяются перевернутые фуры, пушечные лафеты и зарядные ящики, непристойно задирают ободранные до костей ноги дохлые лошади, лениво подпрыгивают, бродят среди трупов отяжелевшие, наглые вороны.

Все ближе подступает к дороге заснеженный лес. Слышится заунывный колокольный звон, разносится вокруг тревожными гулками ударами и, кажется, падает прямо с неба.

Всюду — смерть. Холодная и страшная. Бесславная.

Но юный гусар фон Хольтиц не хочет умирать. Он не отчаялся. Он выберется из этой проклятой замерзшей и дикой страны и скоро будет, греясь у камина в парадной зале, долгими зимними вечерами рассказывать обо всем, что видел, что пережил и во что невозможно поверить. Он хотел жить. Он сильно хотел жить. Поэтому, когда на глаза ему попала ворона, которая хлопотала над торчащим из снега кивером, пытаясь сдвинуть его, он вытянул из-за пояса пистолет, щелкнул — это большого труда ему стоило — собачкой, вытянул одеревеневшую руку, прицелился, выстрелил. Пуля взрыла фонтанчиком снег в двух шагах от вороны, а та даже не взлетела — так тяжела была мерзкой своей сытостью.

Но этот одинокий, слабый даже в лесной тиши выстрел словно взорвал все кругом. Затрещали в кустах ружья, заорали грубые, сильные голоса, вырвались на дорогу конные и пешие. Кто — уланы, кто — гусары, а больше — страшные бородатые мужики с кольями, вилами, саблями.

Ворона каркнула и тяжело запрыгала в сторону, подальше от греха.

Ярко сияло солнце, блестело на снегу, играло на металле оружия, на пряжках амуниции, яростно сверкало в голубых глазах нападавших.

Возница, толкнув фон Хольтица плечом, спрыгнул на дорогу, отхватил тесаком построжки пристяжной, вскочил на нее и помчался, погоняя лошадь криком и каблуками.

Фон Хольтиц, сбросив с плеч ковер, спотыкаясь на негнущихся ногах, холодея спиной, бросился бежать туда, где, как ему казалось, никого перед ним не было.

Навстречу ему, разинув в крике рот, вдруг выскочил из-за дерева огромный бородатый мужик, уставив вперед рогатину с отливающей синевой каленой насадкой. Обогнав его, визжа то ли со страху, то ли от восторга, мчался навстречу парнишка в лаптях, с тяжелой ржавой саблей, поднятой высоко над головой.

И, тоже завизжав, кинулся фон Хольтиц прочь с дороги, в кусты, сбивая с веток снег. Парнишка настигал, махнул разок саблей — не достал с первого раза прыткого пруссак, надал и тяжело задышал за спиной, снова нагоняя.

Тут бы и конец bravому гусару, да налетел ногой на брошенную корзину со свечами, запутался и грохнулся наземь. Свистнула рядом сабля, ударила в пень и со стоном переломилась. Вскочив, юркнул пруссак за кусты, петляя, побежал, как мог сильно, по неглубокому снегу, рухнул за деревом в сугроб и затаился.

А на дороге тем временем все уже кончилось. Подбирали оружие, перепрягали свежих лошадей в отбитые фуры, смеялись, ругались, хлопали друг друга по спинам.

Фон Хольтиц приподнял было голову, но тут же прошумела тяжелая случайная пуля, ударила над его головой в ствол молодой елочки, и та осыпала его холодным колючим снегом. Но вовсе не от снега покрылся он ледящим ознобом. Холодея, все больше тараща глаза, забыв про опасность, смотрел фон Хольтиц и видел, как из брошенного им шарабана выкатили на снег бочонки, разобрали ружья и вытащили бесценный черный футляр с медными уголками. Щелкнули певуче искусные замочки, поднялась верхняя крышка...

— Пахомка, гляди, чудо какое! Вместо твоей железяки будет. И легка-то — перышко! А востра! Тебе как раз по руке. Владей хранцузским трофеем!

Пахомка бережно принял шпагу, провел ладонью по холодному блестящему клинку и взмахнул рукой — лезвие мелодично пропело, рассекая воздух, сверкнуло на солнце яркими короткими брызгами.

...А рядом, в кустах, юный гусар фон Хольтиц грыз свой замерзший кулак, и на ободренных щеках его застывали две дорожки бессильных, отчаянных слез...»

— Ладно, — сказал Яков, — давай возьмем пока то, что лежит на поверхности. Здесь мы ничем не рискуем: если не понадобится, отложим в сторону — легче будет копать глубже. Про шпагу знали многие, а о том, что она долгое время хранилась у Всеволожских, — никто. Кроме своих, разумеется. Мягко, осторожно, но настойчиво профессор и Всеволожская дают нам понять, что, как это ни горько и стыдно, вора надо искать в самом доме, и тишком, с оглядкой указывают на своего прекрасного Павлика, подчеркивая, что дело это сугубо семейное, действовать надо по возможности деликатно, чтобы не вынести сор и не навлечь позор. Здесь вариантов я вижу всего два: либо они действительно уверены в этом, устраняются, предпочитают действовать нашими руками, хотят, чтобы мы помогли убедить Павлика вернуть шпагу любым путем, либо — и это мы принимаем с натяжкой — им прекрасно известно истинное положение вещей, и тень на Павлика наводится умышленно, чтобы вернее скрыть то, что они знают и что никогда по доброй воле не откроют нам с тобой. Они единомышленники, в этом я уверен. Смотри, что мы узнаём от них: Павлик — балбес, почти пьяница, моральное ничтожество. Он вечно в долгах, но недавно дела его резко поправились, он даже помогает матери, но главное — в день пропажи футляра Павлик принес билеты в кино. Причем Всеволожская вначале заявляет, что ей неизвестно, где мог быть Павлик в это время, выпроводив ее и Глашу из квартиры, а позже «вспоминает», что просила его починить розетку. Павлик же что?

— Павлик уклоняется от этого вопроса.

— Почему?

— Значит, есть причины.

— Молодец, Оболенский, мудро. Дальше: у Павлика масса дурных знакомств. Хотя бы Мишка Полупанов, который вполне мог быть не только посредником

между Павликом и покупателем шпаги, но даже инициатором кражи.

— Вообще он мог действовать и самостоятельно. Разузнать все необходимое через Павлика не составляло труда...

— Но за футляром-то он не приходил. Приходил за ним скорее всего именно Павлик, — уперся Яков.

— Почему? Раз уж Павлик был дома, он мог любому открыть двери. И тому же Мишке. А что мы, собственно, за него уцепились, за Мишку?

— Кандидатура больно подходящая. Не он ли был у профессора под видом одного из музейных работников?

— Вряд ли. Слишком глуп и не интеллигентен. Такой визит насторожил бы профессора. А вот пошарить в его квартире, когда тот был в отъезде, он вполне мог. Надо выяснить, когда они с Пашкой сошлись и какую информацию Полупанов от него получил.

— Действительно, мы с тобой Пашку с Мишкой вертим так и сяк, потому что у нас больше никого нет. Надо шире забирать, особенно среди Пашкиных дружок. Ты продолжай пока работать с семейством Всеволожских и этого горца с рынка на себя возьми. Сколько у нас рынков? Всего-то? На день работы.

— А горцев на рынках? Всего-то на год?

— Суркова в помощь возьми. Он по рынкам большой спец. И машину дам. Берешься?

— А ты что — в отпуск пойдешь?

— Ишь ты, заревновал. Не бойся, мне тоже спать не придется. Списание займусь, что профессор составил. Я думаю сразу из этого списка коллекционеров выделить. Даже если на шпагу не выйду, следы какие-то все равно появятся. Ну, давай! У тебя адрес Пашкиной жены ведь есть? А телефон? Позвонить бы сначала. А может, ее к нам вызвать, да построже? Жена про мужа гораздо больше знает, чем мать про сына, а?

— Не стоит. Я сам съезжу. Она наверняка вечером дома — у нее малыш.

Лена Всеволожская жила в двухэтажном доме с деревянной лестницей. Во дворе — стриженный «под ноль» старый тополь, в подъезде, как положено, темно.

Дверь в квартиру обита, несколько кнопок для звонков, почтовый ящик с распахнутой дверцей.

Я позвонил наугад.

— Здравствуйте, — сказала Лена.

— Я из милиции...

— С Павликом что-то случилось? — испуганно перебила она.

— Нет, нет, я совсем по другому вопросу. Вы позволите войти?

— Вообще-то вы не вовремя: я Алешку укладываю. Подождете? Только не разговаривайте с ним, а то он очень общительный — в отца — и потом до полуночи не уgomонится.

Я обещал, и мы вошли в комнату. Здесь был полумрак, только в углу горел торшер над столиком с разложенными на нем учебниками и тетрадами. Знакомый мне мальчуган поднял с подушки голову и открыл рот. Я подмигнул ему и приложил палец к губам. Он послушно и несколько разочарованно улегся.

— Сейчас, — Лена присела рядом с ним на край кровати, — я только сказку ему расскажу.

— Мам, я сам расскажу.

— Ну ладно, только быстренько.

— Про зайчика. Жил-был зайчик. Он был очень смелый и никого не боялся. И мог превращаться во всяких зверей. В тигров и в лягушков.

— В лягушек, — поправила Лена.

— В лягушек. Вот раз пошел он гулять, а навстречу ему — кто?

— Лиса.

— Лиса. И говорит: «Зайчик, а зайчик, я тебя съем, ладно?» Зайчик взял и как превратится в волка! И... убежал от лисы.

— Все?

— Нет. Лиса — за ним. Вот-вот догонит. Тогда зайчик опять превратился в зайчика и спрятался. И лиса его не нашла. Все. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — Лена нагнулась к нему и что-то спросила шепотом.

— Нет, — ответил Алешка, подумав, — не буду. Завтра, — и отвернулся к стенке, подложил ладошки под щеку.

Лена поцеловала его и подошла ко мне, села.

— Вы не обращайтесь на меня внимания. Я буду вас слушать и колготки Алешке штопать. Хорошо?

Я вкратце рассказал ей суть дела. О пропаже шпа-



ги она уже знала, но после моего рассказа сильно встревожилась и категорически заявила:

— Паша тут ни при чем. Он слабовольный, разболтанный, легкомысленный, но совершенно честный. Он к любой лжи относится с брезгливостью и очень тяжело переживает, когда с ней сталкивается, а уж чтобы самому совершить нечестный поступок — нет, это невозможно. Его можно обмануть как ребенка, но заставить украсть — никогда.

— Вам виднее, конечно. — Мне надлежало быть абсолютно нейтральным. — Скажите, Лена, позавчера вечером он был с вами?

— Нет, — грустно и просто сказала она. — Павлик теперь редко с нами бывает. Я ему запретила приходить домой пьяным, а он в последнее время почти всегда нетрезв. Вчера он ездил к свекрови — отдал ей билеты в кино, а потом...

— А потом?

— Потом пошел к ней домой, она просила его починить розетку.

— Починил?

Она усмехнулась:

— Конечно. Павлик может цветной телевизор починить. Или новый сделать. Что ему розетка? Конечно, починил. Только ругался очень, говорил, как они ухитрились ее испортить! Вообще, он в последнее время очень много ругается. И жалуется: все его обижают, никто не любит, никому не нужен. И с матерью у него испортились отношения.

— Давно?

— Не очень. Мне кажется, у них был какой-то тяжелый разговор. По-моему, относительно ее предстоящего замужества.

— Имеется в виду профессор Пахомов?

— Извините, но я не считаю себя вправе говорить на эту тему. Это слишком близко к сплетне. — Немножко смягчила свой отказ: — Я мало что знаю об этом и у Павлика никогда не спрашивала, но чувствую, что обстановка дома в последнее время какая-то беспокойная, тревожная. Беда какая-то надвигается, а сделать ничего нельзя. И хуже всех приходится Павлику. Я пыталась помочь ему. Знаете, у него очень много приятелей и знакомых, но совсем нет друзей. Все пользуются его добротой, мягкостью, а взамен — ничего. Когда он институт бросил, никто из его группы даже не

позвонил. Теперь эта ужасная работа... Этот Полупанов. Глаша правильно его Полупьяным прозвала. Объявился он недавно, впрочем, у Павлика каждый день новые знакомства. А этот прилип к нему, на работу устроил... Павлик, кажется, даже боится его, а порвать с ним не хочет. Или не может. Хотя, по-моему, главные неприятности начались именно с появлением Мишки Полупанова.

— А конкретно?

— Да стоит ли? Это ведь только мои предположения.

— Поймите меня правильно, Лена. Вовсе не праздное любопытство заставляет меня быть назойливым.

Она вздохнула. Чем больше я говорил с ней, тем больше она мне нравилась. Про таких, как Лена, часто говорят: «Уютная, домашняя женщина». Но я увидел в ней и другое: мужество, спокойную уверенность в себе. Такие женщины бывают очень надежными друзьями, гораздо надежнее многих мужчин. На ее глазах хотелось делать что-нибудь хорошее, чтобы она похвалила или радостно засмеялась. Дурак Пашка.

— Ну, хорошо... Недавно у меня был день рождения. Павлик приготовил мне какой-то необыкновенный подарок и, конечно, не утерпел, проговорился. Нет, он не сказал, что именно, но все время таинственно намекал, что такого я еще никогда не получала и не получу...

— И что же это оказалось? — Мне не удалось скрыть тревоги в голосе. И Лена это почувствовала.

— Я так и не узнала. Он пришел в тот вечер весь в слезах... И в крови... Кто-то очень жестоко и умело избил его... И отобрал подарок... Как большой хулиган у маленького мальчишки. А незадолго до этого, не знаю, почему говорю вам это, Павлик здесь, конечно же, не виноват, свекровь жаловалась, что у нее пропали запонки покойного мужа. С какими-то красными камешками. Не очень ценные, но дорогие ей как память.

— Скажите, Лена, а кража у профессора? Мишка уже появился тогда в вашем доме?

— Нет. — Она подумала. — Нет. После этого. Сразу после этого.

Я встал, время уже позднее.

— Спасибо вам, Лена, за важные сведения. Вы не будете в обиде, если я еще раз навещу вас?

— А если я скажу нет? Тогда вы не придете, конечно? Не беспокойтесь, я все понимаю. Заходите. Лучше вечером.

Сейчас бы сесть да хорошенько, не торопясь, подумать. Но времени для этого не было. Надо было набирать побольше фактов, а уж потом тасовать их и раскладывать, чтобы получилась ясная картина во времени и пространстве. Несомненно, что мы вышли на какую-то «кладбищенскую» группу. Даже если она и имела отношение к пропаже шпаги, деятельность ее много раз была более серьезной. Шпага, по-видимому, просто эпизод, проходной номер в представлении. Сейчас, как никогда, нужна осторожность. Контакт с группой необходим, но очень безобидный, не затрагивающий ее основных интересов, главного круга деятельности. Кое-какие соображения у меня появились, но прежде надо было посоветоваться с Яковым.

Когда я вернулся в райотдел, мне сообщили, что меня ждет какой-то «полупьяный». У моей комнаты действительно сидел Мишка и плевал на пол. Я попросил нашу уборщицу принести мокрую тряпку. Мишка сделал все, что положено.

— Заходите, гражданин Полупанов, — сказал я. — Почему вы не явились в назначенное вам время?

Он сел, положил руки на колени и принялся их гладить, будто хотел привести в порядок свои брюки, которые нуждались в этом, судя по всему, со дня покупки.

— Занят был. На работе. Я — трудящийся человек. Вошел Яков и сел на подоконник.

— Это обязательно? — хмуро кивнул в его сторону Мишка.

— Это нам решать, хорошо?

— Да уж конечно... Ваша сила.

— Вот именно. Так, первый вопрос — зачем вы заходили вчера к Всеволожским?

— Говорил уже: Пашку провести.

— Вы его друг?

— Знакомый. Какая у нас дружба?

— Когда вы его видели в последний раз?

— Не помню. Давно.

— Почему же давно? Ведь вы работаете вместе?

— Ну? Из Пашки какой работник?

Я не мог оторвать взгляда от его рук, переглянулся

с Яковом. Мишка это заметил и снял руки с колен, попытался засунуть их в карманы брюк.

— Руки на стол! — вдруг гаркнул Яков.

Мишка вздрогнул и положил руки на стол — ладонями вверх. Яков схватил его правую руку и повернул: костяшки пальцев припухшие, суставы в ссадинах, уже заживших, но недавних.

— Кого же это ты так бил, не жалея собственных костей?

— Не бил — оборонялся. Кого — не помню и не знаю. По пьянке какой-то урка навалился.

— Яков, побудь здесь. — Я вышел в соседнюю комнату и позвонил Павлику.

Он снял трубку сразу, будто сидел у телефона и ждал звонка, не моего, естественно.

— А, князь... — разочарованно приветствовал он меня. — Я нынче никого не принимаю — мигрень и подагра. А дворецкий запил, некому к телефону подойти...

— Паша, ты заявлял в милицию, что тебя избили?

— А меня никто...

— Хватит, Павел, не дури! Пиши заявление. Продиктовать? И ко мне, сейчас же.

— Нет, Сергей Дмитриевич, не буду.

— Ты что?

Он долго молчал.

— Нет, не буду. Там, знаешь, люди какие страшные. Еще хуже будет. И тебе не советую с ними связываться...

— Паша, — я еще надеялся пристыдить его, — ты же сам просил за тебя заступиться! А теперь — в кусты?

Он не ответил и положил трубку. Я снова позвонил — бесполезно — и вернулся в кабинет.

Яков встал из-за стола:

— Продолжай, Сергей, а то уж он совсем заврался, даже противно. Оказывается, из колонии совершили побег двенадцать рецидивистов и все навалились на него. Он их раскидал, и они разбежались.

— Ну и хватит, — сказал я, — этого пока вполне достаточно. Будет заявление потерпевшего, примем меры. Будь здоров, Миша.

Мишка забрал свое удостоверение и вышел ошарашенный. Он не рассчитывал так легко отделаться.

— Он — Пашку? — спросил Яков.

— Пашка молчит, боится. И не столько Мишку. Надо всерьез этой компанией заняться. Думаю, дядя Степа работает там же.

— Зря ты его отпустил.

— А что делать? Прижать-то его пока нечем. Я хочу с другой стороны подобраться к ним.

— Со стороны кладбища? — догадался Яков. — Сможешь сегодня туда выбраться? На разведку?

— Как получится.

— Постарайся, Серега, не тяни.

— Заскочу на рынок — и туда. Знаешь, я что подумал? Ираида Павловна из тех дам, что запасаются провизией только на рынке — хоть на последние копейки, но... престиж. Искать надо поближе к ее дому...

— Старый?

— Да, начну с него. Вдруг и нам повезет. Не все же горбом, должна же быть и удача в нашем деле.

#### Глава 4

Нам действительно повезло. На Старом рынке Сурков наметанным глазом сразу выделил средних лет грузина: распахнутый халат, под ним — строгий костюм, белая сорочка, хризантема в нагрудном кармашке пиджака — прямо благородный жених, но главное — галстук заколот миниатюрным кинжалом с блестящим камешком. Мы пригласили его в дирекцию.

Он оказался не Гельминтошвили и не Аскардидзе, а Бамбуриди.

— Слушай, — сказал он мне. — Может быть, я обидел тебя? Нет? Может быть, обманул твоего сына? Нет? Может быть, я нехорошо посмотрел тебе вслед? Обратно нет? Так почему же ты не уважаешь меня? Отрываешь от работы? Позоришь перед советскими людьми честного человека?

— Вы знакомы с гражданином Пахомовым?

— Очень знакомый! Очень большой и хороший человек, профессор.

— Откуда вы его знаете?

— Это не скажу — режь меня! Но я не могу подводить женщину, даму!

— Зачем вы с ним встречались?

— Вот это не секрет. Предлагал мне купить у него саблю.

— Купили?

— Ха! — Он ударил ладонью в ладонь. — Зачем, слушай? Я нашел другую, тоже хорошую, но дешевую. Теперь у меня все есть, чтобы хорошо жить. А профессор — уважаемый человек, у него даже есть орден, — он сказал такую цену, что я сразу забыл русский язык. Я бы мог купить, конечно, и ходить в одних, прости, дорогом, трусах и с саблей на боку, да?

— А у кого вы купили саблю?

— Также очень достойный и почтенный человек. Его зовут дядя Степа, и он держит контору на кладбище.

— Что?!

— Что с тобой, дорогой? Не волнуйся, пожалуйста.

— Опишите мне саблю!

— Что говоришь?

— Какая она?

— Лучше один раз увидеть... Пойдем, дорогой, не волнуйся. Я ее под прилавком держу. Сабля старая и плохая совсем.

Это действительно была сабля. Старая и плохая. Обыкновенная полицейская «селедка» в ободренных ножнах, с деревянной рукояткой, медными оковками и дужкой...

— Куда теперь? — спросил водитель.

— На кладбище. Только без шуток. Не до смеха.

— Да уж вижу. — Он был человек пожилой, многое повидал на своей работе и знал, как себя вести: когда пошутить можно, когда лучше помолчать, а когда и помочь.

Дорогой я доработал легенду, прошелся по ней, проверяя слабые места.

— Маскировку нарушать не будем? — спросил водитель. — Тогда я здесь остановлю, вдоль стены идите, там и конторка.

Я пошел вдоль старинной стены, которую кто-то догадался поверх камня покрыть штукатуркой. Она отваливалась кусками, и на ней было удобно писать — чем угодно и все, что угодно. Возможность эта с лихвой была использована. Покойникам-то, по ту сторону стены, все равно, а живым...

Я подошел к воротам. Прямо в стене было сделано окно, и я увидел в него обычное служебное помещение с конторскими столами, ящичком-сейфом, счетами и скоросшивателями.

Начальник был, к счастью, один. Он скорчил подобающую случаю физиономию, полагая, что я пришел сюда именно с тем, с чем приходят в эту контору — выпрашивать место получше для дальнего родственника. Я объяснил, что рассчитываю на частную беседу, не имеющую отношения к его должности, и что мне рекомендовал его «горский князь Бамбуриди».

— Стефан Годлевский к вашим услугам.

— Давайте договоримся не валять дурака, дядя Степа. Будем говорить как деловые джентльмены или бездельники-босяки?

— Только как джентльмены. Иначе я не могу с таким достойным человеком. Кофе, коньяк? — Он запер дверь и выставил из сейфа-ящичка все, что нужно, даже лимон и блюдечко с маслинами. «Настоящий деловой человек». — Зовите меня пан Стефан, так принято среди близких мне людей. Что привело вас ко мне?

— Если позволите, я начну издалека.

— Буду счастлив.

Я закурил, сел посвободнее и начал свой рассказ, надеясь, что он сложится у меня достаточно убедительно.

— В далекое бурное время гражданской войны моя предусмотрительная бабушка превратила все семейные ценности в красные кружочки с профилем обожаемого государя императора...

— Судя по вашей хорошей фамилии, получилась приличная сумма?

— Не такая уж приличная — так, про горький день... Судьба занесла наше семейство в Тифлис. В то время его только что захватили или оставляли проклятые белые. В наш маленький домик ворвались казаки, они потребовали «денег на дорогу». Бабушка вынула из ушей серьги, дедушка отдал свои часы фирмы «Павел Буре». Но, видимо, проклятые белые собирались очень далеко и этого оказалось мало. Дедушка стал протестовать. Есаул вышел за дверь и оттуда крикнул: «Петруха — в расход и на-конь!» Все высыпали за ним, остался один Петруха. Он вынул шашку, примерился, посмотрел по сторонам...

— Как интересно вы рассказываете, будто сами были свидетелем.

— Неудивительно: я много раз слышал этот рассказ в детстве, и он врезался в мою девственную память. Однако я попросил бы вас не перебивать меня

без нужды — я очень волнуюсь и боюсь потерять нить своего повествования. («Ну ты даешь, Оболенский», — сказал бы Егор Михайлович. А что он скажет, когда узнает о моей самодеятельности, об этой наспех сколоченной дурацкой легенде — страшно подумать!)

...Да, он вынул шашку и посмотрел по сторонам, как бы выбирая, на чем ее попробовать первым ударом. Взгляд его мутных от пьянства глаз упал на хорошенькую гипсовую кошечку-копилку, которая стояла на столе, покрытом скатертью. Взмах, удар... Вы, конечно, догадались, что моя предусмотрительная бабушка держала в этой кошечке все наши сбережения. И действительно, кому бы пришло в голову искать их там, куда нормальные люди и дети собирают пятики?

Измученный Петруха смотрел на обломки кошечки, среди которых высилась внушительная, почти не развалившаяся кучка золотых монет. Он, как пьяный, отбросил шашку, подошел к столу, оглянулся, прошептал что-то и завязал в аккуратный узел нашу скатерть вместе с обломками и денежками...

— И был таков?

— И был таков. «Кошечку, купите точно такую кошечку, — шептала полумертвая от пережитого ужаса бабушка, повисая на руках дедушки, — она спасла наши жизни!»

Бабушка, как видно, так и не оправилась до конца от потрясения. Она, как самое дорогое, хранила новую кошечку и завернутую в шелковый платок простую казачью шашку.

— Хорошая история! Еще кофе?

— Нет, спасибо, не откажусь от рюмки.

— Хорошая история. Но я не совсем понимаю вас. Вы пришли ко мне как коллекционеру, верно я вас понял? И хотите продать мне эту историю? Вас не совсем верно информировали. Хотите знать, что я собираю? Только не удивляйтесь. Весь мир, как сумасшедший, что-нибудь коллекционирует и, уверяю вас, подчас самые неожиданные вещи: игральные карты, ярлычки от сигар и обертки бритвенных лезвий, подсвечники в виде голых девушек и зажигалки, пивные ключи и наклейки с плавленых сырков, курительные трубки, принадлежавшие Шерлоку Холмсу, и столовые приборы, украденные из ресторанов. Соловей-разбойник тоже был собирателем: он коллекционировал головы убитых им богатырей. А я собираю... эпитафии. Это очень по-



учительное и полезное увлечение. Когда-нибудь, если мы подружмся и проникнемся взаимным доверием, я покажу вам несколько собранных мною томов. Они профессионально классифицированы: литературные (в стихах и прозе), надгробные надписи всех времен и народов, надписи, сделанные над могилами почти всех великих людей, оригинальные изречения неизвестных и многое, очень многое другое. Но интересные истории, даже такие прекрасные и достоверные, как ваша, я не собираю. К сожалению, вас ввели в заблуждение. Надеюсь — невольно.

— Вы не дослушали меня, пан Стефан. Моя бабушка считала эти реликвии основой нашего семейного благополучия. Но случилось несчастье. Один из наших недальновидных родственников после кончины бабушки сдал эту шашку в милицию, убоявшись ответственности за незаконное хранение холодного оружия. И словно порвал этим нить, связующую... (Тут я немного запутался, вполне, впрочем, натурально.) Наш дорогой дедушка еще жив, и он свято верит, что, только восстановив этот магический треугольник — кошечка, красные кругляши и казацкая шашка, — мы вернем семье ее благополучие. Не хватает только последней. Теперь вы уже начинаете понимать меня, не правда ли?

— Продолжайте, умоляю вас. Вы не представляете, как мне становится интересно...

В это время в дверь постучали. Честное слово — условным стуком.

— Не волнуйтесь, — встал пан Стефан. — Это свой человек. Он не помешает нашей беседе. Скажу больше — может оказаться очень полезным вам. И мне.

Когда я увидел вошедшего, за которым дядя Степа сразу же снова запер дверь, я пожалел, что оставил Суркова в машине. Вошедший не был великаном и не производил впечатления очень сильного человека. Но — очень жестокого, прекрасного исполнителя, которого не остановишь ничем, кроме пули.

Он молча прислонился спиной к стене рядом с дверью. А окошко было слишком мало для меня. И к тому же забрано решеткой. И рамы двойные. И стены толстые. За такими стенами ничего не слышно.

— Продолжайте, князь.

«Случайность? — подумал я. — Вполне возможно, что и нет».

— Еще рюмочку позвольте, пан Стефан? Настоящий коньяк хорошеет с каждой выпитой рюмкой. И ни одна из них не бывает лишней. Согласны со мной?

— Да, кроме последней.

— Ну, до этого нам еще далеко, — я кивнул на почти полную бутылку. — Так вот, мне посоветовали просить вас, вашей протекции. Вы можете связать меня с настоящими коллекционерами холодного оружия...

— «Белого» — принято говорить у знатоков. Сразу видно, что вы не коллекционер. Ну, что ж, просьба ваша не обременительна. Вы извините, но такое бахла не проблема в наших кругах.

— В случае неудачи я не имел бы ничего против хорошей испанской шпаги, не раньше XVI века.

Они переглянулись.

— А настоящие шпаги и появились только в XVI веке... Но считаю своим долгом предупредить, что хлопоты ради вашего дела потребуют некоторых расходов — представительские, авансы, беседы за столом и другое.

— О, не беспокойтесь...

— Расходы предпочтительно оплачивать красненькими кружочками из кошечки...

— Согласен, но не вперед. Предпочитаю — это мое правило — оплачивать только оказанные услуги.

— Мы же джентльмены, — согласился пан Стефан.

«Выпустят они меня или нет? А почему, собственно, нет? Что я им сделал?»

— Не смею больше обременять вас своим присутствием, — я встал и поклонился. — Когда можно справиться о моей просьбе?

— Я извещу вас. Оставьте свой телефон.

Подумаешь, испугал!

Я еще раз поклонился, даже, кажется, стукнул каблуками и пошел к двери. Тот, кто стоял возле нее, не отрываясь от стены, протянул руку и, щелкнув замком, толкнул дверь. Большого труда стоило мне пройти мимо него да еще и улыбнуться на прощание. Я всем телом ждал удара.

— Да, князь, — сказал мне в спину пан Стефан чуть изменившимся голосом. — Вы деловой человек, и, возможно, мы поладим в будущем, но имейте в виду — я не поверил почти ни одному вашему слову. Прощайте, князь. Ждите добрых вестей.

Я вышел на улицу, облегченно вздохнул и, проходя мимо окна, заглянул в него, чтобы помахать моим новым друзьям. Дядя Степа вертел диск телефона, а его телохранитель стоял над ним, опершись огромными рыжеволосыми руками на стол.

На всякий случай я спокойно прошел мимо нашей машины. Вскоре она обогнала меня и свернула в подворотню.

— Что, хорошо принимали? — спросил водитель, когда я плюхнулся на сиденье. — Даже коньячком угостили?

— Угостили. Хорошо — не кирпичом, — я повернул к себе зеркальце.

— Седые волосы ищешь? — засмеялся Сурков.

— Мишку сейчас же обратно! — закричал Яков, когда я рассказал ему о своих приключениях на кладбище. — Он же знает твою фамилию, болван!

Кто болван — я или Мишка, — уточнять не приходилось.

— Не волнуйся, он сегодня после двух начинает.

— А если он уже сейчас там или раньше был и уже рассказал, кто ты и чем интересуешься?

— Сейчас он наверняка у Пашки. Его больше всего беспокоит драка. И ее последствия. О других делах он может и не догадываться.

— А если все это узелки на одной бечевке! Быстро сюда обоих! Хватит валандаться! А вообще ты молодец, здорово сыграл. Что-то мне в тебе начинает нравиться. Пошли к Михалычу.

— Опиши его, — сказал Егор Михайлович, когда я дошел до телохранителя.

— Средний рост, крепкое телосложение, волосы на руках почти красные. Голова или брита наголо, или он совершенно лыс, не разглядел. Брови сросшиеся, тоже рыжие. Нос немного смят. В уголке рта или родинка, или бородавка. Цвета глаз не знаю, но взгляд очень неприятный, страшный, я бы сказал. Смотрит так, будто спокойно выбирает, куда вернее ударить.

— Бурый, — уверенно сказал Егор Михайлович.

— Не может быть, — выдохнул Яков.

— Может. Он все может. Что за ним?

— Шесть лет строгой изоляции. Сейчас в бегах.

В дороге — ограбление с нанесением тяжких телесных повреждений.

— Так, вы продолжайте заниматься своим делом, как будто его не было и нет. Вы пацаны против него и держитесь подальше. Без вас обойдемся. Ясно?

Ничего себе!

Павлик ничего не сказал, как мы ни бились. Он был очень запуган. Но боялся не за себя. Вернее всего — за Лену.

— Павел, — сказал я, потеряв терпение, — веди себя по-мужски, наконец. Сколько же можно прятаться за чужие спины и отвечать за чужие грехи?

— Что вы имеете в виду? — Он испуганно посмотрел на меня.

— Многое. И прежде всего — твой страх перед этой сопливой шпаной, этим подонком Полупьяном. Ты умный, образованный, порядочный и культурный человек, ты спортсмен, наконец, отец и муж, у тебя есть конкретные обязанности и долг перед семьей и обществом, неужели тебе до сих пор не стыдно?

— Что вы хотите?

— Где сейчас Мишка?

— Дома, — чуть слышно ответил Павлик.

— Неправда, — отрезал Яков. — Мы заезжали за ним.

— Тогда он... на даче.

— Где именно?

— В Ильинке.

— Объясни, как найти.

— Только езжайте за ним скорей. И не выпускайте его.

— Сережа, давай. А мы тут еще побеседуем. Возьми кого-нибудь с собой.

— Не надо. — Мне хотелось показать Павлику, что есть люди, которые не боятся Мишек. — Справлюсь.

Я обошел дачу кругом — запущенный садовый участок, облезлый щитовой дом, на стенах которого берестой завивалась старая краска, сарай с косою дверцей, две сильно ржавые бочки и еще какой-то хлам.

В доме было несколько человек. Этого я, конечно, не мог предвидеть. Раздавались крики, хохот. Потом

мне показалось, что я услышал испуганный женский вскрик.

Я перемахнул через штакетник и подошел к окну. Оно было раскрыто, но задернуто шторой, и, кроме пустых бутылок на подоконнике, я ничего не разглядел.

Опять кто-то нехорошо, пьяно рассмеялся и заорал: — Я первый! Я!

— Пусть сама выберет! — засмеялся еще один. — Полупьян не обидится.

— Рыжий, отбери у нее железку!

Медлить было нельзя.

Я взбежал на терраску, толкнул дверь. Под ноги мне бросилась кошка и, испугавшись, зашипела.

В комнате — загаженной, прокуренной, со стойкой вонищей кабака — находились трое пьяных парней. Потные, в расстегнутых рубашках, они окружили... Лену.

Она, внешне спокойная и сосредоточенная, уверенно сжимала в руке шпагу, направив ее в лицо ближайшего парня — рыжего и самого здорового из них. В другой руке Лена держала оторванный рукав кофточки.

На ее, да и на мое счастье, я сразу оценил ситуацию и принял верное решение.

Оттолкнув Рыжего, я подошел к Лене и ударил ее по щеке.

— Все шляешься? Пошла домой! Своих кобелей тебе мало? — грубо схватил ее за руку и потащил к двери, умышленно не обращая внимания на парней, будто такие скандалы мне не впервой.

Дверь вдруг распахнулась, и на пороге появился Мишка Полупанов. Прижимая к груди кожаную папку, набитую бутылками с водкой, он ошалело, с трудом соображая, смотрел на меня.

Я ударил его носком ботинка по ноге, он охнул и выронил папку. Одна бутылка разбилась, остальные раскатились по полу.

Мы выскочили за дверь.

— Извините, Лена, — сказал я, когда мы добежали до отделения милиции. — Я ведь старался, чтобы было звонко, но не сильно.

Она засмеялась:

— Как вы вовремя ворвались, ревнивый супруг.

Я зашел в отделение, объяснился с дежурным, и он выслал наряд.

Мишку задержали на шоссе. Я договорился, чтобы его отправили к нам, завернул шпагу в газеты, и мы поехали в Званск.

— Признаться, я уже думал, что этой шпаги нет на самом деле.

— Как видите, есть, — сказала Лена. — Я, правда, не рассмотрела ее как следует, но в руке хорошо почувствовала — это прелесть! Клинок легкий, гибкий, послушный, а ладонь лежит в эфесе, как в перчатке...

— Пойдите, — перебил я Лену, — а как вы здесь оказались? И шпага откуда у вас?

Она усмехнулась, точнее — дернула уголок рта:

— Решила Павлика выручить в последний раз. Не получилось, — вздохнула. — Догадалась я после разговора с вами, что именно он мне на день рождения приготовил. Он ведь упрямый! Наверное, после того скандала, когда ему не позволили показать мне шпагу, он и решил ее вообще забрать. И забрал. Догадывалась я и кто его избил. А сегодня прямо спросила: Мишка? Он промолчал, врать ведь не может. Да и стыдно ему было. Я поняла, что и шпагу отобрал Мишка. Он вообще очень поганый, все приставал ко мне. Но я решила его перехитрить. Думала: уж если шпага окажется у меня в руках, — никакой Мишка мне не страшен. Тренер, когда хвалит меня, говорит, что бои я провожу творчески, импровизируя мгновенно. Вот я и «сымпровизировала». Шпага и правда у Мишки была. Он прямо сказал, на каких условиях я ее получу. Вы понимаете? Или, говорит, своего все равно добьюсь, да еще и Пашку посажу — шпагу-то он украл, не иначе. И тут пришли эти трое, дружки его. Мишка говорит, вы тут разбирайтесь, а я в магазин. Но шпага-то уже в руках у меня была. И я бы ее ни за что не выпустила...

— Дурак Пашка, — только и сказал я.

Полупанов на допросе показал, что шпагу он увидел у Пашки на работе: тот что-то с ней делал и похвалился, что она старинная и очень дорогая, что один грузин предлагал за нее двадцать кусков. Мишка сообщил

об этом дяде Степе просто так, из интереса. И тоже просто так, по дружбе, вечером пошел проводить Павлика.

Под аркой их встретил Бурый. Он только посмотрел на Павлика, и тот молча протянул ему шпагу.

— Дай ему! — приказал Бурый Мишке.

Мишка «дал». Бурый стоял рядом и смотрел. Потом отдал шпагу Мишке и велел отвезти на дачу, хорошенько спрятать.

— Брешет! — отрубил Яков, когда Полупанова увели. — Почти все врет!

— Есть все-таки шпага, — недоверчиво и как-то разочарованно протянул Егор Михайлович. — Вызывайте профессора на опознание.

— Он болен, — сказал Яков. — Переволновался.

— Ну, позвоните, обрадуйте. Он дома?

Яков набрал номер.

— Николай Иванович? Щитцов говорит. Да, следовательно. Хочу вас обрадовать: шпагу мы нашли... Что значит — как? Что значит — где? Что значит — не может быть! Почему не понимаете? Хорошо, подожду. Пошел лекарство пить, — это Яков сказал нам, прикрывая трубку. — Ну, что вы, я понимаю вашу радость. Выздоровливайте. И скоро сможете снова повесить ее на стенку. Или отдать в музей. Всего доброго. — Яков положил трубку. — Ошалел от радости.

— Странно как-то ошалел, — сказал Егор Михайлович, который очень внимательно прислушивался к разговору. И так посмотрел на лежащую перед ним шпагу, будто она его укусила. — Ну-ка, Оболенский, пригласи своего реставратора. Пусть посмотрит.

Нам стало не по себе.

— А вы, опять, честно скажите — радуетесь?

— Теперь-то уж нет, — признался Яков.

Егор Михайлович встал, повозился в углу с магнитофоном.

— Послушайте, ребятки, полезно вам это знать.

И он включил какую-то запись: не то допрос, не то дружеская, доверительная беседа старых знакомых.

«Неизвестный: Кто навел, клянусь, не знаю. Но первый интерес был не шпага.

Егор Михайлович: Зелененькие?

Неизвестный: Они, проклятые.

Егор Михайлович: И что же — Буров сам туда ходил?

*Неизвестный:* Ну, Егор Михайлович, я вас глубоко уважаю, а вы надо мной смеетесь... Или у Бурого нет кем рискнуть? Или он рвал когти, чтобы найти себе еще один срок?

*Егор Михайлович:* Кого же он послал?

*Неизвестный:* Знаю только, что двое ходили. Сперва законно — понюхали и ушли. После... Ну, да вам это известно.

*Егор Михайлович:* Много валюты взяли?

*Неизвестный* (с добродушным смешком): Бурый мне отчет на стол не клал. Вы у него сами спросите.

*Егор Михайлович* (задумчиво): Как бы мне его по-видать?

*Неизвестный:* Обратно вы смеетесь! При вас и кабинет, и машина, и пистолет на боку. Сами вы мужчина отчаянный, да и хлопцы ваши brave. Одни козыри, словом. А у меня? Ни силенки, ни характера. Но ведь и такая жизнь хозяину мила, верно?»

— Ну, — спросил Егор Михайлович, — что загрустили? Стыдно стало? То-то. Есть и еще один довод: почерк. У профессора валюту смело взяли — знали, что он молчать будет. То же и с Оболенским, с его золотишком. Ведь не побежишь жаловаться, Сергей, если они у тебя кошечку отнимут? Как шпагу у Павлика, а? Сдается мне, берет тебя дядя Степа на пушку.

— Или на мушку, — тактично добавил Яков.

— Не бойся, мы тебя в обиду не дадим. Да и не будет он тебе звонить: нет у него шпаги, у нас она. Кажется...

Саша Линеv примчался как угорелый.

— О! — сказал он, когда увидел шпагу. — О! — И взял ее в руки. С трепетным восторгом, бережно, как ребенок, получивший давно обещанный подарок, на который уже и не надеялся. — Позвольте! — даже не вскричал, а, я бы сказал, взвизгнул вдруг он и прыгнул со шпагой к окну. — У вас нет лупы?

Егор Михайлович незаметно достал из глубины ящика лупу — ею он также под большим секретом пользовался, когда приходилось разбирать мелкий шрифт. Ветераны сыскного дела, вспоминая минувшее, поговаривали, что с этой, уже тогда допотопной лупой в медном ободке и на деревянной ручке и с маузером на боку отважный комсомолец Егорка пришел в уголовный розыск. Он, правда, не уверял, что на ста шагах попадет



из него в подброшенную копейку... но на пятнадцать — даже с левой руки.

— Так, — севшим и каким-то беспощадным голосом говорил Линеv. — Клинок — спортивный, современный, гравировка не ручная: или в «Детском мире» делали (надпись на подарке), или бормашинкой. Вот эта медалька, которая держит камешек, она от старого сейфа — такими раньше ключевины закрывали, а сам камешек — из перстня или запонки, дешевенький. Змейка — из медной трубочки, тоже из «Детского мира» (отдел умелых рук).

— Что ты говоришь, Саша? — не выдержал я.

— Подделка, — равнодушно резюмировал он. — Никаких сомнений. Но подделка отличная. Сделана золотыми руками. Если хотите, я зачитаю вам описание подлинной шпаги? Я нашел его и взял с собой на всякий случай.

Егор Михайлович кивнул.

— Вот: «...лезвие плоское, узкое, сжатого ромбовидного сечения, гравированно с обеих сторон клинка узорами растительного характера. Ближе к рукоятке — девизы... Рукоять рифленого дерева твердой породы... Эфес, оригинального исполнения и тонкой работы, представляет собой медную чашку, обвитую змеей, из пасти которой выходит лезвие клинка... В головку вправлен крупный рубин, мелкие рубины — в глазах змейки...»

— Достаточно, — сказал Егор Михайлович и посмотрел на нас. — Я очень огорчен, ребята, что оказался прав. Возьмите себя в руки. Продолжайте работу.

— Экспертиза нужна? — спросил Яков, дернув щекой.

— Зачем? Вы, — он обратился к Линеvу, — дайте нам письменное заключение, хорошо? Будем обязаны. И включите туда описание, пожалуйста. Оболенский, обеспечьте молодому человеку приличные условия для работы. Всего вам доброго, спасибо.

— Егор Михайлович, но шпага есть, она существует, — жалко упорствовал Яков. — Я уверен.

— Откуда такая уверенность?

— По списку Пахомова я встречался со многими людьми. Следов шпаги действительно нет, тут и правда все глухо. Но у меня создалось впечатление, что кто-то параллельно с нами — вы только не ругайтесь, — а,

может и немного впереди, тоже ищет эту шпагу. Нет, ничего конкретного. Правда, один коллекционер — он собирает автографы великих людей — сказал мне задумчиво: «И что это их на воробьяниновскую мебель потянуло». И все, больше я от него ничего не добился.

— Черт знает что! Это не расследование, это какие-то скачки с препятствиями, — сказал Егор Михайлович.

— Конкур, — уточнил грамотный Яков.

— Точно, — похвалил его начальник. — Конкур со шпагой. Вот что, даю слово: выиграете скачки, найдете шпагу — усы сбрую. Идет? И очки в открытую носить буду.

— А разве они у вас есть?

— Чтобы разглядеть вас, Щитцов, без очков обойдусь. А уж усы к тому времени наверняка будут. Идите разбирайтесь с Павликом. И выше нос, у вас еще все впереди.

— Дурак я, — искренне сказал Павлик.

— Наконец-то, — вырвалось у меня.

— Да, дурак. Я Ленке подарок хотел сделать. Попросил мать, чтобы показала ей шпагу. Думаю, Ленка в восторге будет. Ну, немножко огорчится, что у нее такой нет. А я ко дню рождения сделаю ей копию, да еще лучше. Так хотелось ее порадовать. Одни ведь ей неприятности от меня. И сделал — сами видели. Запонки, правда, спер. Маман все равно бы их не отдала. Тысячи промотала, а копейки считает... И черт меня дернул, когда Мишка шпагу увидел, похвалиться, что она настоящая! Детство какое-то! Ну вот и доигрался, ребеночек!

— Почему же ты сразу не сказал нам все? — спросил я.

— Потому что вы не видели того, который под аркой. Сейчас бы я убил его, а тогда испугался. Ведь я даже не чувствовал, как Мишка бил меня, я видел только глаза... этого... пока не упал. Если б не он, я бы Мишку двумя ударами свалил.

— Да, Паша, это очень опасный преступник. Но он скоро будет задержан. И никогда уже... в общем, ясно?

— Так где же эта чертова шпага? — вдруг взорвался Яков.

— А что ты орешь на меня? — взвился Павлик. Этого уж я совсем не ожидал. — Лысы!

— Где лысы? Где лысы! — завопил Яков, наклоня голову.

— Брек, — сказал я. — Шпага есть. По крайней мере, Павлик ее видел.

— Видел один раз, даже в руках держал.

— Ничего себе, — усомнился Яков. — Один раз видел и такую копию сделал?

— Я в детстве рисовал. Очень неплохо. Вообще, я талантливый, я все могу.

— Ну раз уж ты такой, помоги нам. Я чувствую, что нам не хватает малого. Одного звена, — сказал Яков. — Что менястораживает: я за эти дни столько людей перебрал — и никаких следов шпаги. Профессор действительно хотел передать ее в музей, в дар государству?

— Скорее удавится. Это они с маман что-то крутят. На старости лет. Я тут кусок их разговора услышал: они меня не стесняются, за дурачка считают, так что при мне доругивались. Я, конечно, ничего не понял, но одну фразу запомнил... сказать?

— Какую же?

— Маман в позу стала, руки заломила и изрекла: «Николя, не вздумайте хитрить. Имейте в виду, что у вас есть определенные обязанности по отношению ко мне. Я не прошу обмана. Если пожалеете половину, потеряете все...»

— Ну и что это значит?

— Откуда я знаю? Что угодно может значить. Только я почему запомнил: пан профессор позеленел после этих слов.

«А ведь Пашка что-то знает, — подумал я. — Или догадывается».

— Ладно, — сказал Яков. — Дуй домой, приберись как следует (Сережка мне говорил, какой у тебя беспорядок — ужас! — не стыдно?) и езжай за Леной. Она ведь думает, что ты украл шпагу.

— А... этот?

— Этот — наша забота. Вы теперь с ним только на очной ставке встретитесь. Пока!

«Фон Хольтиц выбрался из России. Смертельно усталый, больной, он стоял в парадной зале замка, низко опустив поседевшую голову, и основатель рода, как

живой, с брезгливой ненавистью смотрел на него с качавшегося от сквозняка портрета, положив левую руку на эфес шпаги, утраченной безвозвратно, утерянной навсегда.

Гнев отца, престарелого фон Хольтица, описанию не поддается, а последствия его сыграли роковую роль в судьбах его наследников и потомков, вплоть до наших дней.

— Подними голову, несчастный сын мой, — тихо и твердо говорил он. — На нашем родовом гербе семь шлемов, это семь поколений воинов-победителей, предпочитавших смерть бесчестью; ты знаешь его цвета: золотой, червлёный и лазурный — это знатность и богатство, храбрость и великодушные... Я велю обвить гербовый щит черной лентой, олицетворяющей непроходящую печаль. Мне жаль тебя, но еще больше жаль нашу славу.

Юный фон Хольтиц, похожий на старика, прожившего долгую и трудную жизнь, сделал шаг вперед и протянул к отцу дрожащие руки:

— Отец, я вернулся домой...

— Остановись! У тебя больше нет дома. Ты можешь вернуться в замок только со шпагой в руке. И тогда я обниму тебя на пороге. Ступай.

В ту ночь Иоахим фон Хольтиц написал завещание и скончался в кресле, напротив портрета, перед пустой каминной полкой.

Волей покойного старый замок, и земли, и все достояние рода мог унаследовать лишь тот, кто вернет под родимый кров священную реликвию — когда бы и как это ни случилось...

В ту же ночь на голой земле, под древним буком, свидетелем давних времен и событий, глядя на мрачные окна-бойницы, где лишь изредка мелькал кровавый свет, умирал и прямой наследник покойного — юный и постаревший гусар фон Хольтиц. Он умирал с открытыми глазами, потому что лишь смеживал тяжелые веки, как вставляли перед ним страшные видения: в зареве пожарищ — гневные опаленные лица, разинутые в яростном крике рты, зимняя дорога, усеянная замерзшими трупами, кровь и пепел. Он чувствовал тяжесть проклятий из глубины веков, над ним витали грозные призраки древнего рода, и, уронив голову на грудь, он сам превратился в призрак, в еще одно туманное привидение старого замка над рекой...

С той несчастной поры словно черный рок неумолимо преследовал род Хольтиц, словно не стало незримой силы, охранявшей его славу и могущество.

В замок дважды ударила молния, и он выгорал до серых камней, из которых были сложены его стены. Дважды случалось наводнение, и он был затоплен, и из мрачных подвалов выносило бурной водой полуистлевшие кости. Болезни и банкротства, несчастные случаи на охоте и обдуманные преступления — все обрушилось как божья кара, как жестокая воля провидения на потомков Иоахима фон Хольтица.

Поэтому никто из его прямых и не прямых наследников не оставлял надежды и попыток прервать этот поток несчастий, вернув на место священную шпагу, а вместе с ней — славу и богатство, спокойствие и счастье.

Один из них, наиболее решительный и обремененный долгами (история не сохранила, к сожалению, его имени), даже вступил в польский легион и участвовал в Крымской (Восточной) кампании 1853—1856 годов, чтобы на правах завоевателя пошарить по стране, отыскать утраченную шпагу.

Двое других рвались в Россию, когда загремела первая мировая война, но также не добились успеха. Да и мыслимо ли в бескрайних просторах огромной и непонятной страны разыскать потомков какого-то Рашотку из деревушки с таким трудным русским названием, что оно, передаваясь из поколения в поколение, изменилось до неузнаваемости?

Но игра стоила свеч. И вот в июне 1941 года барон фон Трахтенберг, искусствовед, представитель одной из боковых ветвей рода фон Хольтиц, облаченный в черный мундир, используя старые связи, добывается назначения в специальное подразделение СС, которому поручено на оккупированной территории «брать под свою охрану» музеи и частные коллекции.

Имея широкие полномочия, применяя «особые методы допроса», энергичный барон наконец напал на след. След был хороший, четкий, но вел... в Москву. Можно представить, с каким нетерпением ждал господин Трахтенберг ее падения.

Не дождался.

Но надо сказать, что ему все-таки повезло — домой воротился. Правда, теперь ему дорога в Москву была заказана навсегда. И все, что узнал, барон фон Трахтен-

берг под великим секретом, когда пришла тому пора, сообщил своему сыну, уповая на его фамильные качества — настойчивость, беспринципность и изворотливость.

Господин Трахтенберг-младший был достойный представитель нынешнего поколения древнего рода. И хотя родился он не так, как было принято у фон Хольтицев — со шпагой на бедре, а со счетами в руках и кучей закладных в ящиках бюро, настроен он был весьма воинственно. Впрочем, ничего другого ему и не оставалось. Фирма газонокосилок, в которой терпеливый господин Трахтенберг начинал простым коммивояжером и добрался до поста одного из ее руководителей, жестоко прогорала. Все возможные меры только продлили бы ее агонию. Нужны были действия решительные, нужен был капитал.

И ведь он был! Громадное, нетронутое наследство мертво лежало в четырех или пяти швейцарских банках. Да и сам родовой замок, если его подновить и реставрировать, превратить в музей, мог бы давать весьма солидный доход. А со временем господин Трахтенберг мог бы водвориться в нем законным владельцем и провести остаток лет своих в беззаботной неге довольства, уверенности, не отказывая себе ни в чем...

И все это, возможно, так и осталось бы несбыточными мечтами, если бы накануне описываемых нами событий господин Трахтенберг не получил бы из самого достоверного источника именно те сведения, которых недоставало для установления точного местонахождения вождеденной шпаги.

Господин Трахтенберг собрался в Москву. Обстоятельства благоприятствовали ему, он счел это добрым предзнаменованием. Над старым замком загоралась новая заря. Заря надежд, исполнения желаний, волшебная заря благоденствия.

«Мальбрук в поход собрался...» — весело и ехидно пропела вслед господину Трахтенбергу его младшая дочь, провожавшая отца в аэропорт...»

## *Глава 5*

— Что у тебя нового? — спросил я у Яшки. Он, худо-бедно, прошелся за это время по коллекционерам, и мне тоже было бы полезно знать результаты.

— Кое-что есть. Ох Сережка, кого я только не насмотрелся в этой публике! Но один мне попался — уникум, редкий зверь. Шофер, большого начальника возит, культурный — аж жуть! Я, говорит, книжки коллекционирую. Так и сказал — книжки! У меня, говорит, уже все книжки есть, представляешь? Все! Не как-нибудь, а все! Только, говорит, «Ремаркеса» еще не достал. Но найду. И найдет! Вот кончится наш конкур, и спокойным вечером, сидя у камина, я расскажу тебе подробнее...

— Да, да, — перебил я. — Вечерком, у камина. По делу ты что-нибудь выбрал?

— Ну, говорю же, кое-что есть, а ты перебиваешь. Некоторых «коллекционеров» я на заметку взял. Даже фотографиями их запасаю. Теперь, если профессор Пахомов пожелает, он может, я думаю, опознать тех двоих, что приходили якобы от музея. Они же, вернее всего, и шарили в его квартире. Но, мне сдается, он не пожелает.

— Почему?

— Профессор Пахомов часто выезжает за рубеж. Михалыч нам правильно посоветовал его командировками поинтересоваться. С этого нам, дуракам, начинать надо было. Сейчас бы мы гораздо дальше ушли, уже конец бы видели.

— Что-нибудь удалось выяснить?

— Удалось. У профессора были какие-то сложности с неучтенной валютой. Его пожурили и простили: человек заслуженный, пожилой, с именем. А в последней поездке он вел себя несколько странно. По словам одного из коллег, его просто лихорадило, он имел там несколько частных встреч, его видели в обществе главы какой-то фирмы газонокосилок. «Кюхель и сыновья», кажется.

— Отлично! Ты газеты читаешь?..

— Погоди ты с газетами, не перебивай. Я что думаю: не разыграл ли нас уважаемый профессор? Не договорился ли он получить за свою шпагу зелененькими, если она кому-то очень нужна там? — Он махнул рукой в ту сторону, где садится солнце.

— Легенда неплохая, — нетерпеливо согласился я. — Шпага похищена давно, в милицию он заявлял, на Павлика они подозрение бросили. Если что и сорвется — я не я и сабля не моя?

— Вот то-то! А ты — газеты! Читаю, да не каждый день.

— Плохо, Яков. В городе сейчас выставка проходит, а ты не знаешь об этом.

— Какая еще выставка? Ты что? Может, еще в ки-нишко сбегает? Или у нашей Люськи билетки на премьеру возьмем? Она рада будет — давно по тебе сохнет. Спорим, что у вас места рядом окажутся?

— Яша! Выставка сельскохозяйственных машин, международная, девятнадцать стран — наших и ненаших! Дошло?

— А косилки? Это сельское хозяйство?

— Тебе виднее, — усмехнулся я. — «Вжик, вжик! По росе, по косе!»

— Глаз с него не спускать! Ну, профессор кислых щей!

— Яша, у меня тоже новость.

— Что такое? Неужели звонил?

— Да, пан Годлевский ждет меня и кошечку сегодня вечером, надеется обрадовать.

— Так, с вами со скуки не подохнешь, сказал бы Егор Михайлович, скорее уж от смеха. Ну и добро — прихлопнем их там, место удобное.

— В контору я один пойду.

— Ты-то вообще никуда не пойдешь.

— Это еще почему?

— А если Полупьян успел их предупредить? Пони-маешь, они могли вначале попытаться вручить тебе под-делку, уж, наверное, давно разобрались — иначе не ва-лялась бы она до сих пор на Мишкиной даче. Потом все сорвалось, и решили накрыть тебя с золотишком. Но это все не самое страшное. Не смертельное, во вся-ком случае. Ты бы ведь не стал жаловаться в милицию, что у тебя отобрали золото. А вот если Мишка успел им звякнуть, если они тебя засветили...

— Они давно бы смылись. И другое, а если настоя-щая шпага все-таки тоже у них? А не у профессора? И они хотят продать ее мне? Дядя Степа намекал, что если я очень заинтересован, то лучше всего брать с собой всю кубышку.

— Это может означать и кое-что похуже.

— Может, — я улыбнулся. — Но ты же не оста-вишь меня в беде, Яша? Ты ведь мобилизуешь все луч-шие силы, да?



Дядя Степа был один, и у меня немного отлегло от души. Он так же, как и в первый раз, очень радушно принял меня, снова предложил выпить, положил на стол раскрытую коробку «Мальборо».

— По-моему, князь, я выполнил вашу просьбу безупречно. Могу предложить в качестве довеска к казацкой шашке прелестную и очень редкую вещь. О такой вы не могли и мечтать. Допускаю, что она могла вам сниться... В радужных снах юности, когда все прекрасное кажется достижимым. Боже, как давно это было!

— Что это за вещь? Я не коллекционирую спичечные этикетки и бачки от унитазов. Я вообще не собираюсь, пан Стефан, и могу ошибиться.

— Вы будете рыдать от восторга, или я никогда не умел отличить человека со вкусом. Боюсь только разорить вас, князь. Как только вы увидите ее, вы твердой рукой пересыплете весь свой золотой запас в мои погреба, а если понадобится, то побежите закладывать имение, потому что отказаться вы будете не в силах. — Он резко сменил тон. — Кружочки у вас с собой? Прекрасно. — Годлевский протянул мне пачку с сигаретами. — Курите, князь. И покончим с формальностями. Нет возражений?

— Хотелось бы видеть вещь. То есть, я хочу сказать, это обязательно.

— А вы не передергиваете, князь? Вы, часом, не из охранки? Нет? Вы уверены?

Он уже явно издевался. Он играл со мной как кошка с полузадушенным мышонком. И это доставляло ему огромное наслаждение. Мне оставалось только подыгрывать, возможно естественнее.

— За такие вопросы в старое доброе время, пан Стефан, пробивали головы подсвечниками. Но оставим это. Меня больше интересует предстоящая церемония осмотра товара. Он здесь? И как мы будем в случае, если придем к соглашению, осуществлять обмен нашими ценностями?

— Блефуете, князь. — Он улыбался так, будто его после трехлетнего вынужденного воздержания поставили перед дверью в гарем. — Мы пригласим посредника, и он поможет нам уладить все вопросы ко взаимному удовлетворению...

В руке у дяди Степы появился громадный армейский «смит-вессон» конца прошлого века.

Я смотрел ему в глаза, чтобы уловить момент и броситься перед выстрелом на пол.

— Доставайте, князь, что там у вас в портфеле. Быстро и аккуратно. От этого будет зависеть очень многое. В том числе и ваша судьба, которая, впрочем, меня совсем не волнует.

Он, видимо, подал незаметный для меня сигнал, потому что у меня за спиной открылась дверь. Дядя Степа улыбался, но улыбка его становилась все глупее и глупее. Из уголка рта показалась слюна, тяжелая капля побежала по подбородку и упала на стол.

— Не двигаться, — услышал я знакомый голос.

— Мне тоже? — спросил я, не оборачиваясь, потому что ствол револьвера (калибр одиннадцать с лишним миллиметров) все еще смотрел мне в грудь.

— Оружие на стол!

Тяжелый стук железа по дереву. Я перегнулся через стол и взял револьвер. Рукоятка его была мокрая от пота.

Дядя Степа уронил голову на стол и зарыдал:

— Ах, вы... Вы...

— Ладно, — сказал Яков, — потом доскажете, на месте. Поехали, Степа.

Мы вышли на улицу. Сейчас же подъехали две машины. В задней, между двумя нашими ребятами, сидел Бурый.

— В каждом кармане по пушке держал, гад, — кивнул Яков в его сторону. — Знаешь, как красиво брали! Жаль, что не мы... Но все обошлось, да? А шпаги-то опять нет? Нигде ее нет...

Допрашивать задержанных мы пока не стали. Пусть подумают. Впрочем, Бурого, который проходил по делам более серьезным, у нас сразу забрали, но нам все равно предстояло работать вместе, особенно по связям Бурого и Годлевского. И к этому тоже надо было подготовиться.

А пока мы поехали посмотреть выставку сельхозмашин. Главу фирмы газонокосилок мы так и не увидели. Зато вдоволь налюбовались образцами ее продукции. Это был какой-то кошмар: радиоуправляемая и программная косилка в виде миниатюрной модели комбайна с крохотным краснощеким фермером-манекеном в широкополой шляпе и джинсах, который, улыбаясь, пых-

тел трубочкой и пускал клубы дыма; косилка для бойскаутов — что-то вроде тачанки с пулеметом: треск, дым — и сзади валится подкошенная трава, как срезанные очередью индейцы; громадный русский мужик в полосатых портках и лаптях, с бородой до пояса размеренно махал настоящей косой, и из его заплатанного брюха какой-то поп- или рок-ансамбль ревел то ли «Калинку», то ли «Дубинку»; и всякие тому подобные устройства для дураков и снобов.

— Барахло, — сказал Яков. — Игрушки привез этот самый Кюхель с сыновьями. Кому он понадобился?

Выставка работала последний день. Мы узнали, что главу фирмы зовут Трахтенберг и что сыновей у него нет, есть дочери, а название фирмы условное. А главное — что он не собирается проследить за упаковкой и отправкой экспонатов и сегодня вечером отбывает в Москву, а оттуда — на родину.

— К профессору, — скомандовал Яков.

Профессора мы не застали дома.

— К «графине»!

Стеша встретила нас как родных. И сразу поделилась новостями:

— К самой-то иностранец приезжал. Правда, на нашем такси, но с подарками! Цветов привез, свертков всяких. А сам-то — хиленький, рыжеватенький и конопатый. Но и ухоженный, в духах, я его в лифте поднимала — надышалась!

— А увез что?

— Немного увез, хорошо помню. В одной руке зонтик держал, а в другой — сверток.

— Какой сверток?

— Длинный, вроде коробки, но разве сквозь бумагу разглядишь? В такси сидел, так стукнул его об дверь и по-нашему выругался. И давай пальцем бумагу в этом месте ковырять, смотреть — не попортил ли. Видно, хорошо она отдалилась.

— У вас телефон есть?

— А как же? Нам положено иметь.

— Побудьте здесь с молодым человеком, пока я позвоню.

Стеша огорчилась ужасно, но спорить не решилась.

Яков отзвонился мгновенно, и мы поднялись к Ираиде Павловне.

Она встретила нас равнодушно, как человек, уставший ждать, волноваться и возмущаться. На Якова она, правда, взглянула не только с чуть заметным торжеством, но и с презрением — победа над таким противником не доставила ей заслуженного удовлетворения, слишком уж он для нее ничтожен, даже унижительно для ее достоинства с ним соперничать.

— Ну что, Ираида Павловна, — брякнул Яков, — наконец-то нашлась наша шпага? Ненадолго, к сожалению.

Она недоуменно подняла брови:

— Не понимаю вас, молодой человек. Даша, не смей, отойди от него! — Это она строго крикнула болонке с шарфиком, которая наконец-то решилась обнюхать Яшкины ботинки.

Даша, дрожа лапками, подбежала к тахте и неловко, побряхтывая, взобралась на нее.

— А я вас прекрасно понимаю, мадам! Деньги у вас? Или у профессора?

Зря он так, нельзя было ему срываться. «Графиня» не тот человек, чтобы сдать без боя, на условиях, предложенных противником. Если уж она сына не пожалела подставить под удар ради собственного благополучия...

Ираида Павловна встала, выпрямилась во весь свой прекрасный рост; из широкого рукава халата величественно выползла сухая и гибкая, покрытая венами рука и повелительно указала нам на дверь:

— Оставьте мой дом, молодые люди!

Кот Базиль подошел к хозяйке, небрежно потерся об ее ногу, сел, укутался хвостом и так холодно, такими пустыми глазами взглянул на нас, будто хотел сказать: «Я не понимаю, почему они еще здесь?» Болонка Даша залаяла и на всякий случай свалилась с тахты и исчезла.

— О вашем недостойном поведении я нынче сообщу куда следует. Поверьте, у меня есть возможности не только призвать вас к порядку, но изменить всю вашу дальнейшую карьеру. Прощайте! Навсегда! Глаша, проводи!

Яков поклонился насмешливо — я не ожидал, что у него это получится — и поправил «графиню»:

— Навсегда нам прощаться еще рано. В ближайшее время я буду счастлив принять вас у себя в департаменте. Желаю здравствовать!

Едва мы вернулись в райотдел, позвонил Павлик.

— Я из автомата, — сказал он. — Только что был у мамочки. Профессор тоже. И при мне ему кто-то позвонил.

— Так, не волнуйся, Паша, спокойнее. Кто звонил?

— Не знаю. Но профессор сначала испугался, потом стал оправдываться, а потом грустно сказал: «Хорошо, но мне нужно за ними заехать» — и положил трубку. И набросился на меня...

— То есть как?

— Орал всякое, и ногами топал, и слюной брызгал, и визжал, я чуть не испугался. — Павлик засмеялся.

— Что именно он орал?

— Да это неважно, Сергей Дмитрич.

— Очень важно, Паша, очень.

— Назвал меня пьяницей и... жуликом... И поддельщиком.

— Почему?

— Не знаю, я у него ничего не крал. Маман упала в обморок и придавила Дашу.

— А как она сейчас?

— Под тахтой сидит, скулит...

— Да не Даша, а... маман?

— Ты знаешь, жива. Голова в полотенце, глаза в слезах. «Боже мой! Боже мой!» А как с... этим?

— Порядок, Паша, он у нас.

— Отлично. Я рад за вас. И за себя — тоже. А с профессором я уж сам разберусь!

— Я тебе разберусь! Сиди как мышка!

— Что вам еще надо? — спросил Егор Михайлович.

— Пока ничего.

— Желаю удачи!

— Бритва у вас с собой? Или в парикмахерскую пойдете?

Профессор выскочил из дома и сел в такси, которое, видимо, ждало его. В руке он держал портфель.

Мы спокойно поехали следом.

— Знаешь, Серега, — сказал Яков. — Я хочу начальству бумагу написать. Большую такую и серьезную.

— В отставку собрался?

— Не, погожу еще. Вот просеивал я коллекционеров, чего только не насмотрелся. Ты знаешь, в музеях того нет, что содержится в частных коллекциях. И все это без конца тасуется, меняется, продается. Ну ладно бы вещи, так сказать, безымянные, какие-нибудь смокинги и лапоточки, прялочки и колокольчики... А то, представляешь, показывают мне (я к примеру): табакерка Дениса Давыдова, бальная книжка Гончаровой, письма Чехова, трубка Алексея Толстого... И ни у кого не возникает ни тени сомнения в том, что эти вещи принадлежат им по праву. Им, а не всему народу, не государству. Добро бы еще — прямые наследники, так нет: все куплено, или выпрошено, или явно похищено. Надо, мне кажется, всерьез этим заняться. Я первый раз с этим столкнулся и никак не пойму, почему мы допускаем такое?.. Валя, ближе не подъезжай.

В тихом, малолюдном переулке, недалеко от гостиницы, профессор вышел из такси и стал в сторонке на тротуаре.

Почти сразу же подъехала дипломатическая машина. Из нее выскочил худенький, но жилистый на вид, рыжеватый иностранец, что-то резко сказал профессору, передал ему длинный неудобный сверток и принял от него сверток поменьше, который профессор достал из портфеля. Профессор стал что-то заискивающе объяснять, но иностранец не отвечал ему, сел в машину и уехал.

Мы терпеливо наблюдали эту милую сценку. Профессор понуро побрел по улице со свертком и портфелем в руках. Сверток был похож на футляр музыкального инструмента.

Такси тронулось за ним, водитель приоткрыл дверцу и что-то сказал. Профессор, как проснувшись, посмотрел на него и покорно сел в машину.

— Поехали дальше, Валя, — сказал Яков. — В гости к профессору Пахомову, на... как это... файв-о-клок. Во, научился в таком блестящем обществе.

Профессор действительно поехал домой.

Мы подождали немного и вошли за ним в подъезд.

Табло над лифтом показывало цифру 3.

— Пешком? — спросил Яков. — Пешком!

Где-то между первым и вторым этажом мы услышали наверху злую ругань и побежали, прыгая через ступеньки.

Дверь в квартиру Пахомова была приоткрыта, и я было уже вошел туда, но Яков придержал меня:

— Постой, неудобно, — семейная сцена.

— Мерзавец! — орал профессор. — Откуда ты это взял?

Голос Павлика мы тоже слышали, но слов разобрать не могли, он говорил гораздо спокойнее. Услышали только одну фразу:

— По сравнению с вами — артист благородный человек, он хоть и шкодил, но не торговал шпагами на вынос!

— Пошел вон! — завизжал профессор. — Поддон!

Послышался звук пощечины, и я нажал кнопку звонка.

Профессор стоял в прихожей, прижавшись спиной к стене, и держался за щеку. Павлик, бледный и решительный, стоял рядом.

На столике лежал в куче разорванной бумаги футляр, обтянутый черной кожей и обитый медными уголками.

— Забирайте ваши вещи, гражданин Пахомов, — сказал Яков. — Поедете с нами.

Шпага лежала на столе Егора Михайловича, рядом с бритвой, которую злорадно подсунул Яков.

— Красавица, — пропел наш начальник довольно верно и приятным тенорком. — Богиня! Ангел! Было из-за чего копыя ломать. Молодцы, опята! Но это без обмана? Это она на сей раз, точно она?

— «Лезвие плоское, узкое, сжатого ромбовидного сечения, гравированное с обеих сторон клинка узорами растительного характера, — начал размеренно цитировать Яков. — Ближе к рукоятке — девизы... Эфес оригинального исполнения и тонкой работы...»

— Хватит! Хватит! Ублажили старика, теперь и в отставку можно.

— Усики уберите, прежде чем рапорт писать, Егор Михайлович, — ехидно напомнил Яков.

— А ты жестокий человек, Щитцов. Я тебе это припомню, — пригрозил наш лютый начальник. — Заключение по делу о хищении детской площадки где? То-то. Делаю вам замечание. За работу, ребятки.

Работы действительно было еще очень много. Собственно говоря, она ведь только началась. Много еще было неясного, многое еще предстояло раскапывать, восстанавливать, выстраивать, чтобы каждый получил то, что ему причиталось.

Очень скоро выяснилось, кто вместе с Мишкой Полупановым по заданию Бурого искал в квартире профессора шпату и доллары. Подтвердилось также и наше предположение о том, что профессор давно уже стремился выйти на покупателей и ни о каком бескорыстии не могло быть и речи. Напротив, он пытался подороже продать то, что десятилетиями хранилось в его семье как драгоценная память о прошлом, как интересная строка из вековой истории народа.

И покупателя он нашел. Пока я не знаю точно — кто на кого вышел. По-видимому, господин Трахтенберг имел какие-то сведения о шпате и сам разыскал профессора, для которого это было большой удачей — он давно уже почувствовал вкус валюты.

С Ираидой Павловной ему было нетрудно сговориться — она вполне созрела для такого альянса. Возможно, что и навести подозрения (на всякий случай) на Павлика они тоже решили вместе.

Почему же господин Трахтенберг вернул профессору шпату? Совесть? Едва ли. Боязнь осложнений в таможене? Вряд ли. Если уж он поехал за очень нужной ему вещью, то, конечно же, предусмотрел возможности для надежной ее переправки за границу.

Так в чем же дело? Почему они так недружелюбно расстались?

Это мы узнали гораздо позже. И вот каким образом.

Яков в процессе следствия по делу Н. Пахомова просмотрел где-то монографию известного советского ученого, который занимался историей первой Отечественной войны и, в частности, личностью императора Франции Наполеона Бонапарта. В этой интересной статье дается перевод частного письма одного французского офицера, видимо, близкого к императору, где он много пишет о нем самом, характеризуя его как человека, даже слабости которого лишь подтверждают его величие.

Привожу здесь ту часть письма, где имеются сведения, касающиеся нашего вопроса.

«...Настроение ужасное, мой друг. Я постепенно теряю надежду увидеть милую моему сердцу Францию,



ее солнечные поля и тенистые дубравы... В армии разброд и моральный упадок... Император, желая поднять дух в войсках, устраивает им почти ежедневные смотры. Это дьявольски жалкое зрелище. Где наше бывшее величие? Его нет, и, похоже, оно утрачено навсегда. Трогательно видеть, как император обходит строй своих славных ветеранов и лично раздает награды тем, кто отличился в этой кампании и кто, как и я, стремится теперь лишь к одной заветной цели — скорее покинуть эту негостеприимную страну. Я всей душой сострадаю императору. Если бы я мог взять на себя хотя бы малую часть его тревоги, его неустанных забот! Боже, с какой бы радостью я это сделал! Но каждому из нас определена судьбой своя доля, своя ноша. Тем более что император не принял бы сочувствия и утешения. С мужеством воина, с гордостью истинного сына Франции он пьет горькую чашу поражения (да, я уже не боюсь признать это за факт), несет всю тяжесть ответственности за судьбу своей армии, своего народа.

Сообщу интересное событие, происшедшее на одном из смотров, о которых я писал тебе выше. Раздавая награды и даруя ласковые слова, император неосторожно проходил слишком близко к строю австрийских вояк, что чуть было не привело к несчастью, могущему оказать влияние на судьбу Франции и всего мира. Какой-то перепившийся гренадер, качнувшись, едва не ранил его багинетом в лицо. К счастью, стоящий рядом прусский гусар, салютовавший в этот момент императору шпагой, успел отвести роковой удар. Но при этом прекрасный толедский клинок оказался зажатым между шейкой штыка и ружейным стволом — он хрустнул и переломился. Растроганный император приказал повесить пьяного мерзавца и сам подобрал с земли и передал своему оружейнику обломанное лезвие с наказом поставить новый клинок взамен изломанного, так как последний починить никакой возможности не было даже самому искусному мастеру. Клинок нашелся из трофейного русского оружия и, надо быть справедливым, оказался ничуть не уступающим прежнему, испанскому. Дикая Россия богата замечательными умельцами. И дальнейшее развитие событий лишь укрепило меня в этом мнении. Суть дела такова, что во всей нашей Великой армии не нашлось гравировщика столь искусного, который бы отважился в точности и в весьма короткое время пере-

нести рисунок на новый клинок. И, знаешь, мой друг, это сделал русский неграмотный ремесленник какими-то примитивными инструментами, но с таким тщанием, что отличить новый клинок от старого не смог бы уже и сам его обладатель! Поистине загадочная страна, непостижимый для западного ума народ.

Прусский гусар со слезами на глазах поцеловал всемогущую руку императора. Из его бессвязных слов благодарности я понял, что он очень дорожил своею шпагой (впрочем, как и каждый из нас) как неким символом гордости и силы древнего прусского рода...

Заканчивалось письмо такими грустными словами: «Итак, друг мой, остается только признать, что ваши ожидания не оправдались, как не сбылись и наши надежды...»

Теми же словами могла завершиться и несостоявшаяся сделка между профессором Пахомовым и господином Трахтенбергом, главой фирмы газонокосилок «Кюхель и сыновья». И не в них ли кроется разгадка этой истории?

По всей вероятности, искусный русский мастер, не знавший не только французского, а тем более латыни, но даже своего родного языка, срисовывая девизы с поломанного клинка, допустил в волнении и спешке небольшую ошибку — пропустил одну букву. Эта ошибка, оставшаяся незамеченной и в то далекое время, и не привлекая особого внимания спустя много лет, вероятно, не ускользнула от бдительного ока господина Трахтенберга, невезучего отпрыска рода фон Хольтиц, и он заподозрил подделку.

Подозрение могло перерасти в уверенность, если он разглядел на клинке, у самого его основания, две чуть заметные славянские буквы, неровные, сделанные рукой, привыкшей больше создавать прекрасные узоры, чем ставить на работе свое клеймо. Русскому человеку не свойственно тщеславие. Неизвестный мастер, оставляя на клинке свои инициалы, мог иметь какие-то другие соображения, о которых нам никогда не узнать, но можно только догадываться.

Но это лишь наше предположение, не больше.

Остается сказать несколько слов, чтобы завершить рассказ о наших приключениях со шпагой. Следствие было закончено, и каждый из подсудимых получил положенное — не то, на что надеялся, а то, что заслужил. В полной мере. Не больше, но и не меньше.

Прошло несколько лет. Мы с Яковым иногда бываем в гостях у Павлика, его жены, их детей.

В большой комнате у них висит на стене, рядом с фехтовальной маской и перчаткой, красивая шпага, весьма похожая на оригинал, сделанная, судя по всему, очень талантливой рукой.

Когда младший сын Павлика спрашивает маму, почему здесь висит эта шпага, она, немного смущаясь, отвечает ему, что этой шпагой выиграла свой самый главный приз...

Вот так и закончилась эта поучительная и, надеюсь, интересная история.

---

ПЬЯНЖЕ, КОГДА В МОЕМ НОМЕРЕ УБИЛИ ЧЕРНО-  
 БЫКА, Я ПОКАЗАЛ, ЧТО НЕ ВНЕОСЛОВЕННО ВНИМАТЕ-  
 ЛЕН К ЭТИМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ РАБОТНИКОВ

# ШПАГУ КНЯЗЮ ОБОЛЕНСКОМУ!

„ТОЛЬКО ВАШИМ  
 Я МОГУ  
 МОЕЙ ЦЕЛИ.  
 ИМЕТЬ  
 НАСЛАЖДЕНИЕ  
 МСТИТЬ ВАМ“

СТРАДАНИЕМ  
 ДОСТИЧЬ  
 Я БУДУ

Она жила ночью комуто из слуг, слышался шум в спальне Оболенского: тяжелый шаг, вскрик и стук, а утром князь долго не вставал.



... ОБОБЩЕНО. В ПИКИСТ СТЕПЕ САША ОНА ВДРУГ ПОРАЖАЛА ГРАЦИОЗНЫМ ЖЕСТИКОМ, ПЛАВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, КАКОЙ-ТО ЛУКАВОЮ, ПЕРОВАЯЙШЕЮ В ГОЛ

ОСЯ. И САМ ОН, ЕЩЕ ПО-МАЛЫШИНСКИ ХУДШОЙ, СТАНОВИТСЯ ТУДА ЛЮБИМЫМ, ЦЕННЫМ И СТРОИМЫМ

СЕЙЧАС ДУБРОВНИКИ СИРОУДИВЫЕ ЖАЛИСЬ ПОД ГОЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ И НАПОМИНАЛИ СЛАВЯНОУЧУ В ОДИНОЧЕСТВЕ СЕЛЕНА.

САША ПОПРАВИЛ ПЕРЧАТКУ И ПОДНЯЛ РУКАВ РУБАШКИ. ЕМУ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОН СЕЙЧАС ПОДНИМЕТ РУКУ ИЩЕ ДЛИННЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ, ИЗЯЩНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ОТЕРОСИТ НА ЛЕВОМ ДЛИННЫМ ГОЛУБОМ ПЛАЦ (БЕЛЫМ КРЕСТОМ ПЛЕСТЬ).

*Мой приятель... не умеет рассказывать красно и витиевато; желаю, чтоб интерес самого происшествия заменил для моих читателей красоту рассказа.*

*В. Одоевский*

Над моим письменным столом висит фотографический портрет молодой красивой женщины, одетой в старинное платье. На тонкой обнаженной руке, подпирающей маленькую изящную головку, покачивается сложенный веер. Ее волосы собраны в высокую прическу, прозрачные глаза с удивительно длинными ресницами смотрят с задумчивой грустью.

Когда у меня плохое настроение или беспокойна совесть, я сажусь к столу и отпираю верхний ящик. Там, среди старых писем и газетных вырезок с моими материалами, лежит черная женская перчатка на левую руку и маленький двустольный пистолет. Такие носили когда-то в узких карманах, которые так и называли — пистолетными. Эти карманы и сейчас остались на мужских брюках, но держат в них чаще всего медную мелочь или зажигалки и называют неуважительно и несколько игриво — пистончиками.

Крошечный пистолет уютно ложится в ладонь; с удовольствием пощелкав курками, я кладу его на стол и вынимаю из перчатки помятый клочок бумаги. «Помни Дубровники до смерти», — написано на нем, а вместо подписи нарисован череп с сигаретой в зубах.

«Помни Дубровники...»

Я и так никогда не забуду мрачный графский дом, гостиницу в его флигеле и мой номер, где мне чудились хриплый бой часов и звон ржавых цепей после двенадцатого удара. И где начались те события, в которых трагически сплелись в один загадочный узор очарование старины и жестокая реальность.

Это случилось, кажется, на третий день моей командировки. Поздно вечером я возвращался в гостиницу. Дождь, моросивший весь день, неожиданно кончился, и стало удивительно тихо. Так тихо, как может быть толь-

ко в глухом, забытом городке. Высоко на дереве испуганно, видно, спросонок, вскрикнула какая-то птица, сорвалась тяжелая дождевая капля, поскакала вниз и звонко шлепнулась на прилипший к скамейке листок.

Но тишина эта не радовала: была она неестественной и тревожной. Некстати вспомнилось, что флигель стоит на краю заброшенного кладбища и окна моего номера выходят прямо на его полуразрушенную ограду и что вчера, среди ночи, кто-то звонил мне в номер и глухим далеким голосом просил к телефону князя Сергея, уверяя меня, что он бывает здесь по ночам. Если это шутка, то, надо признать, довольно удачная, и на меня она произвела впечатление: князь Оболенский действительно когда-то очень давно жил в этих комнатах. Существует даже легенда местного значения о его таинственном исчезновении отсюда. Старожилы охотно ее рассказывают, неизменно добавляя, что с тех пор, если кто-то из постояльцев по имени Сергей ночует в этом номере, с ним непременно случаются загадочные происшествия. Впрочем, в любой старой гостинице найдется комната с подобной репутацией.

Вспоминая об этом и вглядываясь в узкие темные окна графского дома, я почему-то подумал, что эти шуточки добром не кончатся. Какое-то неприятное предчувствие охватило меня, мне даже показалось, что в глубине комнат кто-то прошел, прикрывая ладонью огонек свечи. Или это был отблеск фонаря на мокрых стеклах?

Я закурил и направился к воротам. Чугунные створки медленно покачивались на скрипящих петлях, будто их только что толкнула невидимая рука.

Дежурная долго искала мой ключ, даже под стул заглянула.

— Что-то нет вашего ключа. И куда он делся? Наверное, уборщица не повесила. Ладно. — Она с трудом сдержала зевоту и брякнула тяжелой связкой. — Идемте подберем какой-нибудь. И вымокли же вы.

Отперев дверь, дежурная вдруг встревожилась:

— Ой, что же это у вас свет-то горит? Неуж Клара забыла?

Она решительно шагнула в комнату, ахнула и резко, будто ее вбили в пол, остановилась. Я отодвинул ее в сторону. Дежурная мутно взглянула на меня и, закрыв глаза, прислонилась к стене.

На кровати лицом вниз лежал человек. Ноги его,

медленно сдвигая коврик, скользили по полу, будто он пытался встать. На белом покрывале расплылось кровавое пятно.

Я шагнул вперед, но тут правая нога его, босая, согнутая в колене, медленно распрямилась и застыла в неестественном положении. Я сразу понял, что это значит, и посмотрел на часы.

«Нет, — подумал я, набирая номер милиции и глядя на дырявый носок убитого, — нет, это явно не князь Оболенский».

*— Так я и ждал этого! — без  
привидений у него не обойдется...*

*В. Одоевский*

## *Понедельник*

А началась эта история в понедельник.

После пятиминутки редактор задержал меня и показал вырезку из областной газеты «Голос Званска». Местный корреспондент со странной фамилией Выпивка общал: «Вчера в Дубровниках состоялось открытие исторического музея. Это заслуживающее внимания событие знаменательно еще и тем, что организация музея осуществлялась на общественных началах. Сотни поступлений от людей самых разных профессий и редчайшая коллекция, собранная за десятки лет известным историком А. И. Староверцевым, составили фонд музея. Первые посетители смогли ознакомиться с интересными экспонатами, рассказывающими об истории города, о героической борьбе его патриотов в годы фашистской оккупации, о сегодняшних днях. В музее имеются и тематические залы. Его создание является ярким выражением бескорыстной любви жителей Дубровников к их прошлому, настоящему и будущему».

— Вот что, Оболенский, — бодро сказал редактор, когда я прочел заметку. — Езжай-ка ты в этот самый Званск, а оттуда — в Дубравки... Что? Дубровники? Вот-вот. Езжай-ка туда и привези хороший, полновесный материал в свой раздел. Расскажи поподробнее о людях, создавших — ты только проникнись этим фактом, — создавших целый музей. Можно сказать, очаг культуры в Дубравках. Проникся? Ну вот и хорошо. Оформляйся, Сергей. Скатертью дорога.



В редакции званской газеты я открыл первую же дверь и неуверенно спросил: «Где я могу найти... Выпивку?»

Без удивления и улыбки мне назвали номер комнаты.

Выпивка оказался маленьким пожилым человечком, сохранившим, как я понял позже, вместе с румянцем на лице известную долю наивности в характере. Когда я вошел, он что-то суетливо писал, поминутно заглядывая в ящики стола и пуская по комнате зайчиков замками подтяжек.

Назвав свою газету, я объяснил, зачем приехал. Выпивка вскочил, торопливо надел пиджак, застегнул его не на те пуговицы, отчего его круглая фигурка лихо соскочилась, и гордым петушком оглядел сотрудников.

— Вы, наверное, хотите сразу посмотреть музей, ведь так? Это совсем рядом. В Дубровники мы ходим пешком.

Я хотел сразу устроиться в гостиницу, но только кивнул головой, тем более что Выпивка уже звонил в музей и договаривался со Староверцевым о встрече.

— Мне очень нравится вот так бродить по городу осенью, — вдруг томно высказался Выпивка, когда мы шли в музей. — Такие хорошие и достойные мысли приходят в голову, верно?

Я согласился.

— Как вы считаете, отсутствие специального образования не отражается на качестве моей работы?

— Не знаю. Я ведь знаком только с одной вашей заметкой, а по ней, согласитесь, судить трудно. Кстати, я тоже не профессиональный журналист: я юрист по образованию.

— Вот как? И работали в милиции? — Выпивка украдкой, но внимательно осмотрел меня.

— Да, около пяти лет. И убедился, что между этими профессиями есть много общего.

— Пожалуй, вы правы, — не раздумывая, согласился он, кажется искренне наслаждаясь нашей немудреной беседой. И неожиданно признался: — Вы мне очень симпатичны. Не будете возражать, если я окажу вам посильную помощь?

Я не возражал.

— Язык у меня слабый, — продолжал Выпивка. — Это я понимаю и не обольщаюсь, но материал найти умею и подаю непросто. Тут-то мне возраст на руку.

— Сколько же вам? — пришлось поинтересоваться мне.

— По документам еще больше, чем на вид, — конфузливо посмеялся он. И тут же его лицо с широко раскрытыми, почти круглыми глазами приняло выражение грустного и какого-то недоуменного разочарования.

«Ему бы не в газете, а в цирке работать», — подумал я и, посчитав момент подходящим, спросил:

— Извините, это у вас псевдоним такой? Немного странный, верно?

— Нет, — твердо ответил Выпивка. — Мне нет нужды прятаться за чужое имя. Выпивка, кстати, — это совсем не то, что все думают. Это какой-то забытый ветеринарный термин.

Я с трудом сдержал улыбку, подумав, что ветеринария давно уже утратила приоритет на этот термин, и спросил его об имени и отчестве.

— Меня почему-то не зовут по имени-отчеству. Меня до сих пор зовут Андрюшей. — Он так простодушно улыбнулся, что мне стало его жаль.

Музей расположился в бывшей городской усадьбе графа Шубаева. Здание снаружи давно не ремонтировалось и выглядело под дождем особенно обветшалым: узкие высокие окна, не везде застекленные, пузатые, в серых разводах колонны между ними, выбитые ступени и ржавая решетка крыльца, облупившаяся на дверях краска. Только столбы с фонарями твердо стояли вдоль фасада. Правда, один из них все-таки подгулял немного: изогнулся к дому как свеча, поставленная слишком близко к печке.

На широкой лестнице с обтянутыми бархатом перилами и с медными кольцами для коверных прутьев нас встретил Староверцев. Его сухое интеллигентное лицо с узкой бородкой, выражавшее внимание и спокойное доброжелательство, напоминало лицо Дон-Кихота или доктора Айболита, в зависимости от настроения собеседника. Он спускался к нам с несколько рассеянным видом. Казалось, он сейчас тронет пальцами ус, вытянет за цепочку пузатые часы из жилетного кармана, щелкнет крышкой и под звон часовой машинки предложит до ужина партию в вист.

— К сожалению, не смогу уделить вам много времени, хотя и польщен вниманием столичной прессы, —

извинился Староверцев после церемонии взаимных представлений. — Понедельник — это единственный день, когда мы можем заниматься разбором поступлений.

— Может быть, вы позволите помочь вам или хотя бы присутствовать при этом? Мне было бы полезно.

— Что ж, если это не затруднит вас...

Музей мне понравился. И если снаружи здание казалось заброшенным, то внутри оно было полно жизни. Признаться, я с некоторым предубеждением отношусь к провинциальным музеям: горка каменных ядер, комок ржавого железа с надписью «Фрагмент кольчуги» и двухцветная торговая рекламка начала века — вот и весь набор обязательных достопримечательностей. Но создателям Дубровнического музея удалось главное — как бы остановить время в этих полутемных залах, вдохнуть жизнь во все эти странные предметы, которые так давно служили людям и сейчас еще продолжают служить, правда, совсем в ином качестве.

Метод раскрытия той или иной темы был здесь прост и в своей простоте удачен: тщательно подобранные и расчетливо скупно размещенные в витринах и на стендах экспонаты постепенно подготавливали посетителя к общему восприятию события. Следуя от предмета к предмету, он незаметно для себя все глубже погружался в атмосферу конкретной эпохи; затем следовала обобщающая картина, в которой каждая деталь занимала свое место, каждый фрагмент участвовал в составлении целого. Так, например, получилось с «Куликовской битвой». Мы долго рассматривали прялочки, лапоточки, соху, наконечники татарских стрел, постепенно наливаясь безотчетной тревогой, а в конце зала, в темном закуточке, нас поразила «Рассвет над Непрядвой». Простенький световой эффект диорамы; на переднем плане — порванные копьями кольчуги, мятый, пробитый мечом шлем, изогнутые, тронутые ржавчиной стремяна, лук с лопнувшей тетивой, торчащие в земле стрелы, а дальше — берег реки, воины, словно после трудной работы спящие вечным сном на вытопанной конями траве, синий рассвет и лебеди над Русью. Все это так просто, так близко, что не может не дрогнуть русское сердце, потому что еще дрожат оперенные кончики стрел, еще не загустела кровь в ранах.

Впрочем, это мои личные впечатления. Да еще что-то похожее я не постеснялся выписать из книги отзывов и пожеланий, надеясь использовать в будущем очерке.

Староверцев давал пояснения тоном профессионального экскурсовода, увлекался, горячился, начинал преувеличивать и, по-моему, просто-таки наслаждался делом рук своих.

— Пройдемте в следующий зал. Обратите внимание на золоченую лепку по потолку. Из-за нее — вы видите стилизованные ветки и листья, — из-за нее граф с претензией называл эту комнату залом Флоры. А вот и она сама: богиня плодородия, — энергичный жест в сторону статуи, наполовину задрапированной скатертью.

— Сама, — проворчал молодой человек с длинноствольным пистолетом в руке, вошедший в зал через другую дверь. — Как же — сама! Мегера Милосская.

— Саша, ты ведь знаешь, что это временно, что мы заменим ее, — смутился Афанасий Иванович. — А товарищ журналист из-за твоих замечаний может составить себе неверное впечатление.

Саша улыбнулся и пошел за нами, на ходу ловко разбирая маленькой отверткой пистолет.

Худой, нескладный, он был неувловимо похож на Афанасия Ивановича. Видимо, во всем подражая ему, он даже отпустил усики, но они были такие светлые и жиденькие, что издалека казалось, будто у него просто испачкано под носом.

— А вот этот гобелен, посмотрите: он великолепно сохранил силу своих изначальных тонов, — продолжал Староверцев, с опаской поглядывая на Сашу. — Со временем мы повесим его в комнату Оболенского. Позже Саша расскажет вам о нем — это его тема.

Выпивка, не отходивший от меня ни на шаг, неодобрительно осмотрел выцветший коврик, на котором язычком пламени трепетала худющая, в одних браслетиках танцовщица, закидывая голову чуть ли не к пяткам.

В следующем зале, еще не до конца оформленном, в уютном уголке у высоких книжных полок стоял раскрытый ломберный стол, испачканный мелом, с брошенными, казалось, только что и на минутку, картами, будто игроки оставили их, чтобы взглянуть на приезд местной красавицы или ее рискованный танец с проезжим чиновным петербуржцем. Только что здесь было шумно и душно от свечей и трубок, за стеной гремела мазурка, звенели шпоры, плескались в шуме и музыке французские комплименты...

Саша отошел со своим пистолетом к окну, где стоял

рабочий столик, заставленный пузырьками, баночками с зелеными комочками полировочной пасты, бутылочками с разноцветными жидкостями. Староверцева отозвал какой-то длинноволосый парень неуместно шпанистого вида, и я, воспользовавшись этим, сел рядом с Сашей на подоконник и выглянул в окно. Небо будто задержали грязно-серой шторой. И так резко, что она еще колебалась, шевелилась и вздрагивала от рывка. Опять пошел дождь. В зале потемнело и на миг стало так, как было здесь, наверное, много-много лет назад. Мне даже почудилось, что сейчас Афанасий Иванович велит подать свечи.

Саша принялся протирать части пистолета каким-то составом, смазывал их и снова протирал.

— Ну, что у вас новенького в литературных верхах? — спросил он у подошедшего Выпивки.

Тот не ответил.

— До сих пор не знаю вашего отчества, — продолжал дразнить его Саша, собирая пистолет. — Как же вас все-таки звать, а?

— Я же вам объяснял, — раздраженно напомнил Выпивка. Видно, ему частенько доставалось от Саши. — По паспорту я — Георгиевич, а по отцу — Григорьевич.

— Что-то мудрено. — Саша покрутил головой, прицелился в портрет старого графа и щелкнул языком.

Выпивка демонстративно отошел к стенду и стал прижимать пальчиком какой-то отставший уголок.

— Что это ты с ним так нелюбезен? — спросил я Сашу. Мы как-то незаметно и легко стали на «ты».

— Да ну его. Присосался к музею, как клоп, кормушку себе нашел. Он о музее уже раза четыре писал, а теперь будет о каждом зале по отдельности кропать. Да еще дурачком прикидывается.

— Прикидывается? — удивился я. — А я думал, он всерьез. Уж очень натурально.

Гостиница — я уже говорил — помещалась здесь же, во флигеле. Сложенное из красного камня, с острыми башенками на фронте здание стояло среди высоких лип, вплотную примыкая к старому, видимо, заброшенному кладбищу.

Дежурная — светловолосая девушка Оля с такими длинными ресницами, что, казалось, она, моргая, подни-

мает ими теплый ветер, — быстро оформила меня и сказала, вручая ключи:

— Знаете, этот номер пользуется дурной славой.

— Да? А что такое?

— Когда-то в этих комнатах жил тоже Оболенский, и тоже Сергей, и он загадочно исчез в такой же дождливый вечер. Он лег спать, а утром его уже не нашли. — Она мягким движением ладони отбросила за спину волосы и так светло улыбнулась, словно заранее извинялась за то, что со мной может произойти нечто подобное.

Я попрощался и поднялся к себе.

Несмотря на полученное предупреждение, номером я остался доволен. Стены комнаты, обшитые дубовыми панелями из вертикальных досок, были в меру увешаны картинами, на которых бойко крутили усы brave охотники в лаковых сапогах и фуражках с длинными козырьками. В глубоком алькове с пробитым в его стене окном стояла на львиных лапах такая громадная кровать, что в ней, пожалуй, можно было заблудиться спросонок.

Я поставил в угол портфель и репортерку, разделся и, приоткрыв окно, сел к столу.

Задание редакции не казалось мне сложным, но я не хотел терять времени и по свежим следам набросал план очерка, за основу которого взял рассказ Староверцева.

Мне хорошо работалось под шелест дождя в листве кладбищенских лип. Я перебрался в кресло, закурил и не заметил, как задремал.

Разбудил меня резкий стук: порыв ветра ударил рамой и смахнул со стола бумаги. Я собрал их и подошел закрыть окно. В темноте мокро блестели гранитные надгробия, кособочились ветхие деревянные кресты и глухо, тревожно шумели высокие старые липы. Свет от окна падал на кирпичную полуразвалившуюся ограду, и моя тень, казалось, пытается перелезть через нее и спрыгнуть на ту сторону, к холодным могилам, между которыми, наверное, бродят неприкаянными тенями мокрые от дождя привидения.

Когда я плотно закрыл окно, где-то в глубине кладбища завyla собака.

*Вы теперь на верху вашего блаженства... но берегитесь и помните, что враг ваш не дремлет...*

*В. Одоевский*

## *Вторник*

— Году, кажется, в 1828-м в Динабургскую крепость был переведен из Свеаборга заключенный туда по причастности к декабрьскому восстанию некий «штап-рот-мистр гусарскаво полка князь Сергей Абаленской» — так он подписывал свои письма.

Его камера случилась рядом с той, где томился Вильгельм Кюхельбекер. Они подружились, насколько это было возможно через толстую холодную стену. Оболенский со свойственным юности легкомыслием легко переносил унижение и часто, напевая озорные гусарские песни, писал угольком Вильгельму письма, в которых утешал товарища по несчастью и поносил царя и его жандармов.

По пути в ссылку Оболенский, выхватив у дремавшего в коляске урядника саблю, ранил его в бок. Князя привезли в Орел и при обыске нашли письмо Кюхельбекера к Грибоедову. Оболенский отказался говорить что-либо о письме, что усугубило его вину. По воле государя императора его лишили дворянского и княжеского достоинства, и вместо действующей армии он попал в Сибирь, на вечное поселение.

Но друзья князя — а их в России было немало — не оставили его, они добились облегчения участи ссыльного. Оболенского отправили в Дубровники, под надзор дальнего родственника, графа Шуваева — человека, известного своей хитростью и жестокой натурой.

Князя поселили во флигеле, в угловых комнатах. Долгое время считалось, что граф отечески утешил молодого ссыльного и принял в нем участие. Но, видимо, это было не совсем так. Одному из друзей князь писал, что опасается за свою жизнь и принужден запирается на ночь.

Однажды ночью кому-то из слуг слышался шум в спальне Оболенского: тяжелые шаги, вскрик и стуки, а утром князь долго не вставал. К нему стали стучать — он не отвечал. Заподозрили неладное и сломали дверь....

Комната была пуста. Обыскали все и ничего не нашли.

На сделанные вопросы граф отвечал пожатием плеч

и гримасою, что ничего не знает и не хочет знать. Молодая графиня плакала и долго была больна...

— Спасибо за интересный рассказ, Афанасий Иванович. Я думал, Оля просто шутила, говоря об исчезновении Оболенского.

Честно говоря, мне и теперь эта история казалась маловероятной, но я благоразумно промолчал.

— Нет, что вы! Мы располагаем документальными подтверждениями. Если вас это заинтересовало, Саша может рассказать подробнее. — Староверцев наклонил подсвечник и раскурил трубку.

— Ну хорошо, — согласился я. — Оболенский исчез, возможно, был убит. Но почему? Меня, скажем, как бывшего работника милиции в первую очередь заинтересовали бы мотивы преступления. Если оно только в самом деле было совершено.

— Было, было! И тому есть свои причины: молодая графиня, тронутая положением несчастного ссыльного, полюбила его. Граф, возможно, догадывался и ревновал, но не хотел требовать удовлетворения — он был стар и неловок, и рассчитывать на благоприятный исход поединка ему не приходилось. Да к тому же, что весьма важно, его соперник был уже не дворянин. И вполне вероятно, что граф, наделенный низким характером, нашел способ навсегда избавиться от ненавистного ему и опасного для самодержавия молодого человека, не подвергая себя риску...

Мы работали в низком и тесном от множества вещей подвале, где временно размещался запасник музея. По неровным стенам и крутым сводам двигались наши ломаные тени.

— Жизнь и смерть Оболенского в высшей степени поучительны, — задумчиво продолжал Староверцев. — Его причастие к декабристскому восстанию, в общем-то, символично. И только после знакомства с Кюхельбекером, а потом в ссылке, наблюдая всю низость реакции, Оболенский активно связывается с передовой молодежью, ищет путей быть полезным России. Мы думаем выделить для него целый зал. Кое-что для этой экспозиции у нас уже есть: его письма... Что вам, Волков?

На верхней ступеньке полукруглой лестницы, пригнувшись, стоял высокий человек с длинными, похожими на усы бровями, одетый в ватник и кирзовые сапоги с отогнутыми голенищами. Он ответил не сразу, словно раздумывал, стоим ли мы того, и голос сего, скри-



пучий, похожий на хруст песка под колесами телеги, резко прозвучал под гулкими сводами подвала:

— Мрамор привез, Афанасий Иванович. Куда его складывать?

«Будто ворон прокаркал», — подумал я.

— Саша, — попросил Староверцев, — посмотри, пожалуйста, дружок.

Саша отложил длинную шпагу, которую, не морщась, чистил какой-то вонючей пастой, и длинными прыжками взбежал по ступеням.

— Это наш шофер, — пояснил Афанасий Иванович и повертел в воздухе пальцами. — Станный человек.

— Еще бы! — строго заступилась Оля (фактически она работала в гостинице, но все свободное время проводила в музее). — Его ведь немцы чуть не повесили. Поэтому у него и голос такой, и шея не поворачивается.

Как я успел заметить, Староверцев, несмотря на авторитет и преклонные годы, находился под сильным влиянием Саши и Оли. Подозреваю, что и его юношеское увлечение легендой об исчезновении Оболенского возникло не само собой. Эти напористые ребята, пользуясь его любовью, делали с ним что хотели.

— Да, да, — охотно согласился он и сейчас. — Он очень помогает нам, являясь, так сказать, внештатным консультантом по трофейному оружию, потому что специальной литературой мы пока не обеспечены в нужном количестве.

— Он что, партизанил?

— Даже награжден, — кивнул Староверцев. — Правда, уже после войны, много лет спустя: он ведь по заданию партизанского штаба в полиции служил, у немцев. Гестаповцы его разоблачили, и он чудом остался жив.

Со скрипом приоткрылась дверь, Саша просунул голову и поманил меня:

— Там тебя Андрюша обыскался.

Я поднялся за ним в залы. В отгороженной мешковиной комнате, где оформлялась экспозиция о войне, мне слышались шаги. Я прошел туда и задержался у большого стенда. Мое внимание привлекла сильно увеличенная фотография, помещенная в самом центре. На ней была заснята казнь двух подпольщиков или партизан. Связанные, с петлями на шее, они стояли в кузове грузовика с откинутыми бортами под грубо сколоченной виселицей. Рядом с ними, подняв руку в

перчатке, немецкий офицер читал, видимо, громко, на-прягаясь, по большой бумаге. Кругом стояли люди, их лиц нельзя было разобрать: они сливались в молчали-вый, выразительный фон. Человек в черной шинели по-лицейского, с повязкой на рукаве и винтовкой за спи-ной, картинно отставив руку, натягивал веревку и, по-вернув голову, улыбался в объектив. Все на снимке бы-ло как-то обыденно и потому особенно страшно.

— Только что прикрепили. Ты, можно сказать, пер-вый оценил. Впечатляет?

Я молча кивнул.

— Сашок, — проскрипел бесшумно подошедший Волков, — мне одному его весь день таскать. Скажи Самохину, ладно?

— Хорошо, сейчас.

— Складная машинка. — Волков снял со стенда не-мецкий автомат, и тот удивительно ловко лег в его короткие сильные лапы.

Он вынул магазин, посмотрел внутрь, легким уда-ром ладони поставил его на место и вскинул автомат.

Саша очень похоже симитировал треск автоматной очереди.

— Тра-та-та! Тра-та-та! — презрительно передраз-нил его Волков. — Это только в кино так трататакают да мальчишки во дворе, а старый солдат, — Волков сощурился, — старый солдат бьет коротко, чтоб ствол не уводило, понял?

— Понял. Я слышал, автоматчики даже «Катюшу» выбивали очередями, верно?

— «Катюшу» — не знаю, а «Комаринскую» мы с дружкой наловчились, в два ствола. Концерт! — Он хо-тел лихо покрутить головой, но у него не получилось, и он поморщился. — В бою, конечно, не до баловства... А так, что ж не пострелять.

— Конечно, — легко согласился Саша. — Так про-сто пострелять веселее, чем в людей-то.

— А я в людей не стрелял, — рассердился Вол-ков. — И вообще, больше в рукопашную рвался. Раз только в ней сошлись, а до сих пор помню. Бежит он на меня, ошалел совсем, рот разинул: орет. Я ему ство-лом — патроны-то кончились, а перезарядить некогда — прямо в пасть и сунул, так он и подавился.

Саша, вначале слушавший с интересом, передернул-ся. Волков заметил это и мягко сказал:

— На то и война, Сашок.

— Ну и вовсе не на то!

— Уж ты-то что знаешь про войну? — мрачно уронил Волков и повесил автомат на место. — Поторопи Самохина, обед скоро.

Саша отошел, и мне было слышно, как он что-то объяснял Самохину и как тот громко спорил:

— Очень прекрасно! Мне ящики таскать, а ему гвоздики тюкать? Очень прекрасно!

Саша обреченно махнул рукой и вернулся ко мне. Самохин плелся за ним, бубнил про тяжести и жаловался на здоровье.

— Ух ты! — остановился он, заметив фотографию. — Ты гляди-ка, ну прямо...

— Слушай, — прервал его Саша. — Иди отсюда.

Самохин при всей своей нахрапистости Сашу, видимо, побаивался. Он потоптался на месте и, ворча что-то, побрел к выходу. Длинноволосый, неопрятный, в коротких расклешенных брюках, обтягивающих толстый зад, он был похож на приземистую женщину.

Я повернулся к Саше. Он с такой ненавистью смотрел Самохину вслед, что мне стало не по себе.

Мы вышли на берег реки. Холодная, тускло блестящая, она лениво выползала из темных, по-осеннему хмурых лесов. Бакены с нее уже сняли. Прибрежные кусты с тихим шорохом, похожим на шум дождя, сыпали в воду сухие листья, и они медленно плыли вдоль берега маленькими желтыми корабликами. А за рекой деревья стояли уже почти голые, и в чистом осеннем воздухе их тоненькие серые веточки казались прозрачным дымком, легко тянувшимся откуда-то из глубины лесов. И беззвучно метались озабоченные своими делами, встревоженные галки.

— Нравится вам у нас? — спросила Оля. Она стояла, держа Сашу под руку и положив голову ему на плечо. — Уютно, правда?

Неожиданный порыв ветра взметнул ее волосы и бросил их Саше в лицо. Оля засмеялась, а он покраснел и начал что-то смущенно бормотать.

— Что, что? — с улыбкой переспросила Оля. — Что ты ворчишь?

Саша все больше нравился мне. Я скоро понял, что при внешней задиристости он был человеком мягким и скромным. Его ехидные реплики уже не смущали меня.

И если вначале мне показалось, будто он готов смеяться буквально над всем, то позже я убедился, что его задиристость имеет вполне определенную направленность: Саша органически не терпел самой безобидной лжи и мгновенно ошетикивался даже на маленькую, почти незаметную фальшь.

— Дубровники стареют, — грустно пожаловалась Оля. — Вы понимаете меня? Раньше-то они были старинные, а теперь — просто старые. Вон, видите, храм Крестовоздвиженья? Лет десять назад он был самый настоящий старинный, с голубыми куполами и с такими, знаете, кружевными крестами на них. А теперь? — Она покачала головой. — Теперь он старый и неряшливый, понимаете? Не старинный, а старый.

— Почему же, — заметил я. — Он еще неплохо выглядит.

Саша внимательно наблюдал за какой-то мрачной личностью, бредущей по берегу.

— Ты что? — спросил я. — Знакомый?

— Это сын нашей уборщицы, — прошептала Оля, поморщившись.

— Так сказать, гнилой сучок на генеалогическом древе рода Черновцовых, — добавил Саша. — Дружок Самохина, или, как там, кореш, что ли, по-ихнему?

Личность между тем с комфортом устроилась на коряге и вытянула из кармана бутылку.

— Не идет у меня Самохин из головы. Ведь он явно что-то высматривает, вынюхивает. — Саша помолчал, покусывая сухую травинку. — Недавно шпага пропала. Не очень ценная, но сделана великолепно.

— Ну?

— Видно, кто-то на эфес позарился, а потом разглядел, что мы все камни стекляшками заменили, и выбросил. Я ее нашел в тот же день, одни обломки, правда.

— Думаешь на него? — прямо спросил я.

— Утверждать не могу, но ведь он недавно из тюрьмы. И я бы его, пока не поздно, обратно отправил. А все Афанасий — вечный идеалист.

— Саша! — укорила его Оля. — Ты бы его еще Афоней назвал! А Самохина ты просто не любишь.

— А ты?

Оля покраснела и, похоже, всерьез обиделась. Они оба, не стесняясь меня, насупились и отвернулись друг от друга.

Откровенно говоря, я любовался ими. Оля, казалось,

еще не научилась как следует управляться со своими, ставшими вдруг длинными руками и ногами, вечно что-то опрокидывала, стучалась об углы и спотыкалась. Саша с трогательной и неожиданной для него заботой внимательно следил за ней, успевал подхватывать все, что она роняла, поддерживал ее за руки, подсказывал, потому что и в разговоре она иногда была так же мило неловка и беспомощна. Но временами, особенно в присутствии Саши, она вдруг поражала грациозным жестом, плавным движением, какой-то лукавой, прорвавшейся из глубины ноткой в голосе. И сам он, еще угловатый и по-мальчишески худой, становился тогда ловким, гибким и стройным.

Всего два дня я знал этих ребят, но уже не мог их представить по отдельности — так они были хороши и естественны вместе.

Позже, когда в моем номере убили человека, я пожалел, что не был особенно внимателен к тем взаимоотношениям работников музея, которые прямо не касались моего задания.

Вспоминая потом некоторые детали, в частности эту маленькую размолвку, я жестоко корил себя за односторонность, непростительную ни журналисту, ни следователю... Хотя при желании я бы мог оправдаться: уж очень безмятежной была обстановка в музее; даже Сашина неприязнь к Самохину не внушила мне ни малейшей тревоги.

А ведь убит-то был именно Самохин...

*...Я положил себе твердым правилом перевернуть вашу судьбу наизнанку...*

*В. Одоевский*

## *Среда*

Летом в Дубровниках продают на базаре березовый сок и наливают его — чуть розовый или синеватый — в холодные стаканы из четвертных бутылей. Вечерами старушки собирают в парке липовый цвет, хлопотливо подпрыгивая под деревьями и стараясь достать тот, что повыше, — он посвежее и не запылится. Участковый милиционер, скрывая добродушную улыбку, залиvisto свистит, но они, гордые своей смелостью, отмахиваются от него большими пухлыми сумками.

Летом в Дубровниках из-за каждого забора тянутся на улицу ветви яблонь. Тяжелые яблоки гулко падают под ноги прохожим, и уж обязательно какой-нибудь веселый воробей, как цирковой эквилибрист на красном шаре, балансирует на яблоке, задирая то хвост, то голову, чтобы сохранить равновесие. Весь город, как большой рынок, пахнет яблоками.

Летом в Дубровниках листопад: могучие дубы по причине своей старости роняют тяжелые листья, не дождавшись осени. И они с тихим шорохом бегут по улицам, обгоняют друг друга, собираются на углах. А иногда вдруг хлопотливо, как птицы перед отлетом, сбиваются на перекрестке в стаю, поднимаются и, шурша, долго кружатся в воздухе. К вечеру они успокаиваются и тихонько шелестят под окнами в сонной тишине.

Сейчас же, осенью, Дубровники сиротливо жались от дождя под голые деревья и напоминали стареющего в одиночестве человека.

Дождь здесь шел уже несколько дней, и опавшие листья так намокли, что налетавший порывами ветер не мог оторвать их от земли; они лежали плотным тяжелым ковром и только сверху немного шевелились, будто под ними суетливо бегали серые мыши.

К середине дня Дубровники вдруг зашуршали: то ли листву подсушило солнце, то ли прихватило утренним морозцем, или так уж принято в этом странном городке? Но она шуршала, когда открывались двери и сгребали ее с крылец, шуршала, разбрасываемая колесами редких машин и ногами прохожих, шуршала, слетая с крыш, шуршала и просто так, сама по себе, будто долгая осень с провинциальной трагичностью шептала о близкой зиме. Все вокруг наполнилось шорохами и какой-то неясной тревогой.

Но мне она не передалась. Не испытывая ни малейшего беспокойства, я работал в номере — заканчивал очерк. Дело продвигалось быстро и ровно, благо никто не мешал — не то что в редакции. Я решил, что могу немного передохнуть, и, набросив куртку, спустился вниз.

— Оля, привет! Староверцев у себя?

Оля отложила книгу. Работы у нее сейчас было мало: приезжих в гостинице, кроме меня, никого, и она была рада немного поболтать.

— Он опять с манекенами что-то делает, а Саша в

каретном сарае, вон там. — Она привстала и показала в окно. — Уезжаете завтра?

— Надеюсь, если ничего не случится.

— Случится, непременно случится, — засмеялась Оля. — Мало того, что вы — Сергей, так вы еще и Оболенский. Как же вам не повезло! Уж в последнюю-то ночь он наверняка придет к вам и заставит играть с ним в карты — он был заядлый картежник, даже свои дуэльные пистолеты проиграл.

— В том, что он придет, я не сомневаюсь, — улыбнулся я. — Вчера он звонил мне, прямо оттуда, — я махнул рукой в сторону кладбища. — Правда, слышно было неважно, будто он трубку рукой прикрывал. Впрочем, это понятно — он звонил, видимо, из фамильного sklepa?

Оля опять засмеялась и покачала головой.

— Вот видите, он вам звонил. Уезжайте скорее, пока еще не поздно. Иначе вам придется очень надолго задержаться в Дубровниках.

Если бы я ее послушался! Если бы я знал, сколько случайной правды скрывалось в ее шутке.

Беда уже нависла над нами черной тучей, молния уже сверкнула, и вот-вот грянет гром...

И он грянул...

— Вы вызывали? Откуда вам известно, что он убит? Кто он? Ваши документы! Рассказывайте коротко.

Это говорил молоденький, новенький лейтенант, который, как мне показалось, сам себе ужасно нравился: правая рука в кармане, воротник форменного плаща поднят, настороженные движения и внимательный взгляд из-под козырька фуражки.

Я положил на стол свои документы и стал рассказывать. Следователь областной прокуратуры, осматривавший убитого, удивленно обернулся на мой голос.

— Продолжайте, — кивнул он эксперту и подошел ко мне, дружески и чуть неуверенно улыбаясь. — Что уставился? Узнал?

— С трудом, честное слово, с трудом, — признался я и тоже улыбнулся. — Яшка?

С Яковом Щитцовым мы учились на юридическом, дружили и даже немного работали вместе.

Я помнил его злым на язык и рыжим, буйно-рыжим. Сейчас о цвете его волос трудно было сказать что-либо

определенное — так мало их осталось. И вообще, хотя он и сохранил неожиданную для его комплекции подвижность, здоровая полнота и солидная лысина делали его похожим на благополучного кандидата каких-нибудь простеньких наук, а уж никак не на следователя прокуратуры. В этом отношении его помощник выглядел куда как эффектнее. Наверное, поэтому Яков сразу отослал его с каким-то пустяком в районный отдел.

Мы уселись в кресла около окна, закурили. Яков, пощелкав замками большого портфеля и привычно покопавшись в нем, достал бланки.

— Кстати, очень кстати прибыли, товарищ Оболенский. На задании здесь? Его брал? — он кивнул в сторону убитого. — Нет? Все равно кстати. У нас, знаешь, штат-то — во. — Он показал для убедительности кончик авторучки. — Правда, и работа не очень беспокойная. Но уж если что случится — каждый человек на счету. Даже такой, как ты, — не выдержав солидного тона, съехидничал Яков.

— Вряд ли смогу тебе помочь. — Я загасил сигарету и прямо взглянул на него.

Его наигранная бодрость не обманула меня: я видел морщинки вокруг глаз и мешки под ними, а там, где сохранились когда-то рыжие волосы, тускло блестела седина.

— Ну, ну, не упрямясь. Или тебе уже грех с нами работать — до генерала дослужился?

— Я не служу.

— То есть как?

— Так. — Я потянулся и заложил руки за голову. — Сменил профессию.

— Выперли? — язвительно поинтересовался Яков. — И чем же ты теперь занимаешься?

Он взял со стола мои документы.

— Что это ты? На старости-то лет? Легкого хлеба захотелось? Жаль, жаль... Я думал, ты поможешь, а теперь еще и с тобой возиться надо.

Я рассказал ему, как попросили меня когда-то написать в газету очерк о «наших суровых буднях», как почти без правки он пошел в ближайший номер и как я постепенно увлекся новым делом.

— Вообще-то, на тебя похоже, — безжалостно резюмировал Яков, рассматривая документы. — Ты всюду обнаруживал большие способности, но нигде до конца их не реализовывал. Так, так, так — это что же та-



кое? — Он держал в руке мое удостоверение внештатного следователя районного управления. — Значит, ты еще не совсем потерян для нас?

— Ну уж нет! — отрезал я. — Тебе лично я помогать не буду. К тому же я здесь совсем с другой целью.

— Обиделся? — угрожающе засопел Яков. — Ладно, попомним такое дело. Для начала я с тебя допрос сниму. Пока как свидетеля допрошу. Пойдем-ка.

Мы подошли к убитому. Его перевернули на спину, и эксперт-криминалист щелкал аппаратом.

— Знаешь его? — спросил меня Яков.

— Самохин, работник музея.

— А у вас что? — обратился Яков к судмедэксперту.

— Проникающее ранение колюще-режущим предметом в область сердца...

— Шпагой? — неожиданно для себя перебил я эксперта. Он удивленно взглянул на меня и не ответил.

— Так, так, так, — оживился что-то смекнувший Яков. — Шпагой?

— Пока трудно сказать, но похоже, что нет: лезвие, видимо, было коротким, удар — резким, а шпага оставила бы более глубокий, длинный, скользящий порез. И потом — смотря какая шпага.

— Дальше?

— Скончался через тридцать-сорок минут после получения ранения, около двадцати трех часов.

— Точно, — опять вмешался я. — Я заметил время, это произошло у меня на глазах.

Эксперт протянул Якову узкую черную перчатку, видимо, дамскую. Он взял ее, повертел («так, так, так»), понюхал и осторожно вынул из нее аккуратно сложенный листок, немного запачканный кровью. Прочитал, хмыкнул.

— Где вы ее обнаружили?

— Под трупом, на покрывале.

— Интересно. — Яков отдал эксперту-криминалисту записку и перчатку. — Поработайте с ними, только побыстрее.

Эксперт опустил их в полиэтиленовый пакет и убрал в саквояж.

В Яшкиной комнате не было ничего лишнего. Помоему, так и самого необходимого явно не хватало. Общий стиль — армейская простота, если не сказать определеннее. Но все равно комната чем-то неуловимым

производила такое впечатление, будто в ней живет старая дева, которая, казалось, вот-вот обнаружит себя фотографией души-актера над узкой кроватью или приколотым к занавеске бумажным цветком, покрытым горькой пылью.

Яков включил плитку и поставил на нее кофейник. Он так и остался неисправимым копушей, только стал суетливее, потому что старался все делать «быстро и четко».

— Как там наши?

Яков разлил кофе по кружкам, нарезал хлеб и, отдернув занавеску, открыл окно.

— Светает. Покурить-то у нас есть еще?

Я взял кружку, пересел на кровать — ее ржавая сетка прогнулась бы подо мной до пола, если бы под ней не стоял чемодан, — и подбил под спину подушку.

— Ты, Яшка, жениться не пробовал?

— Не берет никто. — Он, шурясь от бьющего из кружки пара, большими, шумными глотками пил кофе. — Да и времени нет. Дружил, правда, с одной, да ей надоело, что я неряха, так и разошлись. А ты чего это гнездишься? Устал? То-то, брат, это тебе не пером щелкать. Кстати, что за народ в вашем музее? И этот Самохин? Расскажи — ты ведь там за своего ходишь.

— С Самохиным я почти не общался. Знаю только, что он недавно отбыл срок...

— Так, так, так...

— Что его не любили, не доверяли ему. Саша, так тот все ждал от него какой-нибудь пакости, жаловался, что в музее стали пропадать вещи...

— Калоши, например?

— Например, шпаги.

— Очень мило. — Яков жадно кусал черный хлеб. — Ну-ка, — он провел в воздухе волнистую линию кружкой, — поподробнее.

— Тут ничего интересного, на мой взгляд: шпага нашлась, правда, она была поломана.

— Как же так? — очень искренне огорчился Яков.

Я развел руками.

— Кто-то — не исключено, что и Самохин, — переломил ее и бросил в бочку с цементом, что ли. А Саша нашел эфес и обломки клинка.

— Все обломки? — быстро спросил Яков.

— Не знаю, не спросил: ни к чему было.

— Эх, ты! — Он сердито отставил кружку. — Полная деградация налицо.

— Что-то между ними еще было. — Я припоминал вчерашнюю размолвку. — Что-то такое личное, но тут я совершенно не в курсе. Не интересовался.

— Ну да, — кивнул Яков, — «ни к чему было».

— А ты думаешь, я еще в Москве знал, что здесь произойдет, да? — разозлился я.

— Но ведь ты же должен был писать о них, так ведь? Или ты уже в поезде свой очерк настрочил, а сюда ехал только командировку отметить? У вас ведь и так делается. Люди тебя интересовали или нет? — Он вскочил с табуретки и ходил по комнате, задевая стоящий у стены велосипед, такой же ржавый, как кровать.

— А велосипед тебе зачем? На случай распутицы, что ли? — поинтересовался я, чтобы сменить тему разговора: в чем-то Яков был прав.

— Чтоб не толстеть, — гордо отрезал он, — и быть всегда в форме! По утрам катаюсь.

— По комнате? — не удержался я.

— Ну ладно, ладно, не отвлекайся.

— Вообще-то народ в музее подобрался славный...

— В этом я уже убедился!

— Нет, я серьезно. Все они увлечены своим делом, очень дружны. Саша, правда, резковат, придирчив, но парень предельно честный и прямой. Оля Воронцова...

— Это кто такая?

— Администратор гостиницы.

— А какое отношение она имеет к музею?

— Фактически она работает там, только числится в гостинице. У них в музее всего три-четыре штатные единицы пока, а остальные — энтузиасты.

— Что она за человек?

Я не сдержал улыбку.

— Это такой свежий человек, Яша, встречаясь с которым сразу вспоминаешь, что тебе уже не восемнадцать, что с утра ты не успел побриться, что двух зубов у тебя уже нет и еще в двух — дупла и что правый каблук ты стаптываешь наружу, а левый — внутрь.

— Ого! — Яков хитро улыбнулся. — Как поэтично! Но, к сожалению, не по существу. Кто еще?

Я подробно, что знал — а знал я, как оказалось, до обидного мало, — рассказал ему обо всех работниках музея. Особенно заинтересовал Якова Волков.

— Так, так, так... Служил у немцев, говоришь? По за-

данию партизанского штаба, да? Интересно. Знаешь что, Сережа, отдохни-ка ты малость. А я тут пока смо-таюсь кое-куда, не возражаешь?

Я не возражал.

— Сережка! Проснись, Сергей!

Я вскочил и открыл глаза. Яков стоял передо мной и теребил за плечо.

— Смотри-ка, Сергей, какая интересная штука полу-чается!

— погоди, — с усилием произнес я. — Ты же куда-то ехать собирался.

Яков засмеялся:

— Пока ты спал, я бы в Москву успел сбегать. По-смотри на часы, соня.

— А, значит, ты уже вернулся.

— Молодец — сообразил! — похвалил Яков. — Смотри-ка, что мы имеем.

— погоди, Яш, где у тебя умыться можно, голова тяжелая.

Я вернулся в комнату, освеженный холодной водой. Яков бросил мне полотенце.

— Ты им велосипед, что ли, протираешь? — спросил я, садясь к столу, на котором Яков разложил газету.

— Сейчас я тебе покажу такое, что у тебя пропадет охота резвиться! Смотри!

Он положил передо мной на стол листок бумаги со схемой. Вот как она выглядела:

«1. Самохину нанесено ранение в 22.15.

2. Самохин скончался в 23.00.

3. Дежурная и ее подруга находятся в номере с 21.30. до 22.50.

4. Оболенский возвращается в номер в 22.55».

Я поднял на Якова глаза:

— Дичь какая-то!

— Вот именно. В то время, когда Самохина ударили и когда он умер, в номере были люди!

— Не верь после этого в привидения. А как ты это установил?

— Элементарно. Понимаешь... — Яков встал коленя-ми на стул и налег грудью на край стола. — Понима-ешь, я еще во время первого допроса дежурной подумал: чего это она жметесь? Но решил — дело понятное: считай, за стеной человека убили. Ан нет! Поднажал

маленько, она и выдает. — Яков взял листок протокола и стал читать нужное место: — «У них (у тебя, значит) в номере холодильник, мы там продукты держим до вечера. И телевизор — как раз фигурное катание казали. А они (ты, значит) приходят поздно и никого к себе не водят — мы-то уж знаем». Не водишь? Неужели?

— Слушай, Яшка, ведь верно: телевизор-то теплый был, когда я вам звонил. Я обратил внимание — телефон ведь на нем стоит.

— Ты об этом через год бы еще вспомнил! — упрекнул Яков. — Дела! На глазах почтенных старушек происходит убийство, а они смотрят фигурное катание.

— Номер был заперт всего несколько минут, ключи от него пропали, в комнате убийца и его жертва находились, по крайней мере сорок минут и при свидетелях. Такое необычное стечение событий дает нам интересные возможности, понимаешь?

Яков кивнул:

— Но это еще не все. Вот записка из черной перчатки, копия.

Я взял ее. Изящным почерком, с ятями и ижицами было написано: «Только Вашим страданием я могу достичь моей цели. Я буду иметь наслаждение мстить Вам». Подписи не было. Вместо нее нарисован кинжал, с клинка которого густыми тяжелыми каплями падала кровь. Текст записки, как ни странно, показался мне чем-то знакомым.

— На оригинале нет не только подписи, — тихо заметил Яков. — На нем, кроме моих, нет ни одного отпечатка пальцев. Вот так-то!

*...Кому бы так жестоко шутить с нами?*

*В. Одоевский*

## *Четверг*

Дубровнический участковый подобрал Якову для работы комнатку, в которой стояли два столика (на одном из них — поменьше — пишущая машинка с «зайканием»), в углу — маленький несгораемый шкаф, а вдоль голых бревенчатых стен выстроились десятка полтора старых стульев. На внутренней стороне двери, приколотый кнопками, висел плакат, призывающий хва-

тать за руку расхитителей социалистической собственности: расхититель, жиденький, но с громадной лапой, которую вовремя перехватил мозолистой рукой суровый дружинник, грустно смотрел, как с его ладони верером сыплются пачки денег и катятся какие-то шестеренки: надо полагать, дефицитные запчасти к автомашинам.

— Ну начнем, пожалуй, — деловито проговорил Яков, когда мы выбрали себе стулья покрепче. — Прежде всего мне нужен подробный рассказ о вчерашнем дне. Прямо с утра и до того момента, как ты вызвал милицию. Сможешь? Прекрасно! Садись за машинку и валяй. А я пока накидаю план нашей работы. Кстати, упомяни-ка тот самый телефонный звонок, который — с кладбища. Ну все — начали.

Я сел за машинку. Одна буква в ней западала, и каждый раз приходилось откидывать ее пальцем. Это меня раздражало. Но работа пошла быстро. Слишком свежи были события вчерашнего дня — последнего спокойного дня в Дубровниках.

Привожу здесь, разумеется, не в протокольном варианте свою запись.

«В среду, с утра, часов до 11, я работал в номере. Потом, узнав у Оли, где мне искать Староверцева и Сашу, пошел к ним, поскольку мне требовались еще кое-какие детали к очерку. Кстати, Оля в шутливой форме обещала мне, что сегодня ночью ко мне в номер придет легендарный князь Оболенский.

Вообще ничего особенного днем не произошло, ничто не предвещало такого жуткого его завершения. Правда, мы немного шутя повздорили с Сашей, но, по моему, это никакого отношения к делу не имело.

В каретном сарае было сумрачно, потому что свет проникал только через одно запыленное окошко, находящееся высоко над воротами. В глубине сарая стояли коляски, экипажи, узкие, разрисованные цветами сани. Полуразвалившиеся, ободранные, они все равно радовали глаз своим изяществом и легкостью. В сторонке громоздилась бесколесная карета на стоячих рессорах с опущенными окнами и раскрытым багажным ящиком. Рядом с ней ютилась какая-то статуя, по моему, одна из Венер. Она скромно пряталась в уголке, стыдясь своей пыльной наготы.

Саша сидел в маленькой коляске и, согнувшись, что-то делал в ней. Я окликнул его.

— Садитесь, господин хороший, — шутливо проворчал он. — Я тут у ей карманы починая. Барин все ездют и ездют, а починаять вовсе недосуг. Вот и вы бы подмогнули, чем бумагу зазря портить.

Слово за слово, и мы договорились до того, что я безжалостно высказал свое отношение к легенде об исчезновении моего знаменитого однофамильца, а Саша в ответ заорал:

— Да как вы смеее? Вам это так не пройдет. Вызываю! Нет, не вызываю — я буду иметь наслаждение мстить вам!

На наши вопли прибежал испуганный Староверцев и «во избежание дальнейших осложнений» увел меня в зал с манекенами. Об этом зале — гордости музея — надо сказать особо: он заслуживает того, так как наиболее ярко показывает творческий метод его работников.

В самом начале, когда для музея подобрали одежды всех эпох и сословий, мундиры солдат и чиновников, бальные туалеты уездных красавиц и гвардейские «до-спехи» их поклонников, предполагалось просто развесить их, как это обычно принято, в стеклянных шкафах и снабдить табличками: «Крестьянские порты XIX века, первой его четверти» и т. д. Но Саша — светлая голова — предложил одеть в эти одежды манекены и составить тематические сценки, положим: «Завтрак на траве», «За ломберным столом», «Старая графиня». Саша же и пронюхал, что званский универмаг закупил для своих витрин немецкие манекены — великолепные подделки под человека. У них были гибкие руки и ноги, поворачивались головы, а роскошные волосы можно было превращать в прически любых эпох.

Дело упростилось тем, что универмаг не чаял от них избавиться: веселые продавщицы в порядке самокритики одели одну куколку в синий форменный халатик, поставили за прилавок и сунули в руку пилочку для ногтей. Покупатели обращались к ней с вопросами, но она гордо молчала и не сводила глаз со своего маникюра. Покупатели возмущались, потом стыдились своей ошибки и вообще находили эти манекены неприличными, особенно те, что были одеты в купальные костюмы.

Саша сам ездил за ними в Званск, и вместе с Вол-

ковым они переносили манекены из грузовика в музей. Собранный поглазеть, как «таскают голых баб», народ хихикал. Саша и Волков краснели, злились и носили их, как дрова.

Но идея себя оправдала: экспозиция получилась очень убедительной, а в сумерки — даже жутковатой.

Староверцев, однако, без конца что-то добавлял, передвигал, менял освещение, добиваясь, видимо, большей выразительности.

В конце дня он пригласил меня к себе посмотреть его коллекции. Смеркалось, когда я разыскал его домик. Афанасий Иванович встретил меня на крыльце и проводил в комнату.

Я понял, что попал в филиал Дубровнического музея, разве что только там, в музее, был больший порядок. В доме Староверцева не было ни одной современной вещи, вплоть до самой необходимой. Кажется, он даже писал гусиными перьями, а спал на перине, набитой пухом их сородичей из прошлого века.

У окна на стуле с высокой спинкой сидела Оля, одетая в старинное платье, с веером в руке. Рядом стоял Саша. Они, изображая салонную пару, беседовали вполголоса, будто не замечая меня. Наконец Оля, холодно кивнув и делая вид, что щурится в лорнет, спросила своего кавалера самым светским тоном:

— Сударь, кто этот молодой человек у дверей? О нем не докладывали, — и указала на меня движением бровей.

— О мадам! — с громким шепотом наклонился к ней Саша. — Это и есть известный журналист месье Оболенский.

— А эта молчаливая черная женщина рядом с ним? Я невольно оглянулся: настолько естествен был ее тон.

— Это его совесть, мадам, — отвечал Саша.

— Вот как, — задумчиво протянула она. — А я слышала у Разумовских, что у него вовсе нет совести. Оказывается, вот она какая — черная и молчаливая, — и не выдержав, расхохоталась, будто рассыпала по всей комнате стекляшки.

В их веселом тоне все еще чувствовалась обида за своего Оболенского. Я понимал, что они еще долго бу-



дут язвить и дуться, и был готов к этому. Но все обошлось. Афанасий Иванович пригласил нас к столу, и мы неплохо провели за ним время.

После ужина Староверцев знакомил меня со своими сокровищами, а Саша, сдвинув набекрень кивер, брэнчал на гитаре и напевал что-то малопонятное. Потом к нему подседа Оля, и они спели какой-то неизвестный мне романс. Слова его я плохо запомнил, говорилось там что-то о старых письмах, которые «пусть горят», и что, когда вместе с другим мусором сжигают старые письма, в доме делается чище, но не становится теплее. Видимо, это был их любимый романс, хотя какие уж у них старые письма.

Потом Оля убирала со стола и опрокинула солонку — к ссоре, заметила она. На что Саша по своему обыкновению съязвил, что если учесть всю рассыпанную ею соль хотя бы за месяц, то ее хватило бы не только на ссору, а на войну, по крайней мере.

В общем, вечер прошел, как говорится, в теплой, дружеской обстановке.

Да, чуть не забыл два обстоятельства: Оля ненадолго уходила домой с самым таинственным видом, а Саша в это время усиленно занимал меня разговорами, и потом, когда я уже прощался, они оба советовали мне более серьезно относиться к советам старших и не терять головы, если произойдет что-то таинственное и загадочное.

О том, что именно произошло «таинственное и загадочное», я уже рассказывал.

Я просмотрел и, кое-что поправив, передал Якову свои записи. Он внимательно прочел их и сказал: «Ага!» А что за «ага», он и сам, наверное, еще не знал.

— Продумай, как взять образцы почерков у всех работников музея, — строго сказал он мне. — Из личных дел, что ли?

— А не придется мне объяснять, почему я выступаю в новом амплуа?

— Не твоя забота, Сергей. Делай, что приказано. — Он суровым полководцем возвышался над своим столом, и за его спиной грозно щетинились окурками цветочные горшки.

Тогда я тоже сказал: «Ага!» — и добавил:

— Образцы почерков у меня почти все уже есть —

и Афанасий, и Саша давали мне свои материалы. И не только свои.

— Где же они?

— Рядом, в номере, который ты сам опечатал.

— Распечатаем.

— Ты не отпустишь меня на полчасика?

— Не понял, — вскинул брови Яков.

Я встал — руки по швам.

— Товарищ начальник, разрешите отлучиться на тридцать минут по личному делу?

— Что за личные дела в служебное время?

— Так, пройдусь, подумаю.

— Сережка, никакой самодеятельности, обещаешь? — Это было сказано уже нормальным тоном. — Помни хорошо: ты ведь теперь только общественник, да и к тому же свидетелем по делу проходишь, ясно? Так что уж не зарывайся.

Я кивнул.

— Хорошо, только сначала сходим в гостиницу. Впрочем, я могу это сделать один. Где у тебя эти материалы?

Когда я вошел в библиотеку, в углу, у стеллажа с новинками, сидела уже знакомая мне мрачная личность в мокрых сапогах, поглядывая, как заяц из-за пенька, поверх раскрытого журнала. Едва я вошел, она тихонько встала и, чавкая мокрыми подошвами, выскользнула за дверь. Библиотекарша взглянула на меня и покраснела. А я постарался припомнить фамилию этого человека — Черновцов, кажется.

Сейчас уже не помню, что я врал в библиотеке, но мне удалось просмотреть несколько формуляров и среди них — Сашин, самый пухлый из всех. Как я и ожидал, среди книг, отмеченных в его формуляре, был томик Одоевского. Я спросил его, но он был на руках. Тогда я предъявил и корреспондентское удостоверение, и книжку внештатного следователя и попросил дубликат.

Мне его принесли, я нетерпеливо раскрыл его... Так и есть! Худшие мои опасения оправдались.

В дверях музея меня встретил Староверцев. Он был необычно возбужден и очень расстроен. Впрочем, его можно было понять.

— Какой ужас! — сказал он. — Вы уже знаете?

Я молча кивнул. Еще бы мне не знать!

— Это какое-то дикое, бессмысленное хулиганство! — с возмущением продолжал он. — За это нужно отрубать руки! Я сам бы сделал это с удовольствием. Не верите?

— Руки? — удивился я. — Отчего же только руки? По мне — так никак не меньше головы.

— Вы так думаете? — Он был озадачен.

— Да. И это уже квалифицируется не как хулиганство. Это элементарное убийство.

Мы сели в кресла. Афанасий Иванович непослушными пальцами набивал трубку.

— Да, да! Вы правы! Это равносильно убийству по своей моральной низости. — Он чуть не застонал, хватаясь за голову. — Такие экспонаты! Кому, спрашивается, они мешали!

— Экспонаты? — не понял я. Мне никак не приходило в голову, что Самохин мог считаться экспонатом. Разве что в музее криминалистики.

— Ну да, господи! — нетерпеливо повторил Староверцев. — Именно экспонаты. Вы же говорили, что уже знаете о нашем несчастье.

— Ну конечно! Ведь это произошло у меня в номере.

Теперь уже Староверцев недоуменно уставился на меня.

— Сегодня ночью кто-то забрался в музей и изуродовал несколько стендов. А ценные вещи, вы представляете, сложили в мешки. Но унести, слава богу, не успели. Но в мешки... Вы понимаете, в каком они теперь виде?

— Сегодня ночью, — ровным голосом сказал я, — у меня в номере убили Самохина.

Староверцев открыл рот, и его трубка с глухим стуком упала на столик.

— Что вы говорите?

— У вас брюки горят.

— Да, да, извините, — он дрожащей рукой смахнул с брюк горячий пепел. — Олечка! Иди скорее сюда! Ты слышала? Убили Самохина! Это ведь правда, Сережа? Вы не шутите? Господи! Что за несчастья? И все в одном доме. Олечка, да где же ты?

— Сейчас иду.

— Олечка, Самохина убили, — шепотом проговорил Староверцев, когда она наконец подошла.

— Я уже слышала. Мы не хотели пока говорить вам об этом.

Я коротко, не останавливаясь на подробностях, рассказал о событиях тревожной ночи, внимательно наблюдая за Олей. Она вдруг заплакала, стала нервно шарить в сумочке — искать платок.

Я отошел к окну. Действительно, какой-то богом проклятый дом. Какая-то мрачная сцена, на которой из века в век совершаются загадочные преступления за задернутым занавесом...

— Это как раз то, чего нам так не хватало! — жизнерадостно констатировал Яков, когда ему передали заявление Староверцева. — Великолепно! В одну ночь, в одном практически месте два преступления, и одно из них — убийство. Что там, в музее? — спросил он уже спокойнее.

— Ободрали несколько стендов, собрали все более или менее ценное, но не унесли. Как я понял, пропали только экспонаты зеленого стенда.

— Что там было?

Я показал ему список, составленный Олей.

— Странно.

— Да, очень. Документы, листовки, фотографии. Но, знаешь, даже сукно содрали. Остались одни крючки да кое-где бирочки с номерами.

— Что ты думаешь об этом?

— Пока ничего. А ты?

Яков покачал головой.

— Кто последним уходил из музея?

— Уборщица, наверное. Тетка Маня, так ее зовут.

— Давай-ка с нее и начнем. Кстати, у меня для тебя сюрприз.

— Может, хватит, Яша? — всерьез попросил я.

— Знаешь, кто писал записку?

— Знаю: Саша.

— Силен! Как ты догадался?

— Секрет фирмы. У тебя свои методы, у меня — свои.

— Дрянь его дело, по-моему.

— Не преувеличивай.

— Куда уж там!

*В тот же день*

Вся она была остренькая, угловатенькая, очень подвижная. Из-под бесчисленных платочков, покрывавших ее голову, которые она в течение разговора по очереди скидывала на плечи, шустро выглядывали глазки-пуговики и торчал кругленький носок.

На вопросы тетка Маня отвечала охотно, но так многословно, что ответа мы практически не получали, его приходилось выуживать из потока ее красноречия, а направлять ее лирические отступления в реалистическое русло стоило Якову большого труда. «Крепкая бабка, — сказал он потом о ней, — ей все нипочем».

Но в ее монологах нас насторожила уверенность в том, что Самохина убил Саша.

— Да потому. Он хулиганец известный. Он и меня один раз чуть было не убил.

— Вот как? А подробнее?

Тетка Маня скинула на плечи очередной платок, усеялась поудобнее и повела свой рассказ, сопровождая его отменной жестикуляцией, которую я описывать не берусь.

— Задержалась я как-то с уборкой, припозднилась. Ну, закончила все, стала в залах свет гасить. А в этой зале, где манекены стоят, света уже не было, кто-то выключил. Тогда-то мне невдомек, что, кроме меня, — некому, это уж я после додумала. Вот это, вхожу я в залу. Тихо совсем, и чтой-то боязно. Иду я через ее, и все мне кажется, будто ктой-то глядит на меня. Оборачиваюсь, верчу головой. Прохожу, значит, мимо одного офицера — в каске такой с перьями, раньше в них пожарные люди лихо ездили, — а он стоит и так это на меня глядит, ну ровно живой совсем. Да еще возьми и чихни! Я аж подпрыгнула. Озлилась, конечно, да мокрой тряпкой его по морде. — Тетка Маня перевела дух. — А он это... саблю свою поднял да как стебанет меня под зад. Плашмя, правда. — Она привстала и показала, как это было, даже подскочила довольно резво. — Ну, думаю, все: помру сейчас — холод по ногам побег, видать, сердце порвалось. А он эдак утерся от тряпки-то и говорит человеческим голосом: «Дура, — говорит, — ты старая. Разве можно так с экспонатора-

ми-то?» Я дрожу вся и отвечаю: «Это ж я, милай, пыль с твоей морды стерла». Он как захохочет, Сашка-то...

— Сашка?

— Ну да. Это он, значит, в костюме был одетый, видит, я иду, — ну и стал как положено. Пугнуть ему меня взбрело. Так вот чуть и не убил.

Яков промолчал. Тетка Маня, видно почувствовав, что вывод ее не очень убедителен, сочла нужным добавить:

— Чуть не убил. Было померла я от страха.

— И часто он так шутит? — поинтересовался я.

— Да, почитай, они с Ольгой все время не в своем ходят. Сашка, тот с утра, как на работу придет, так сразу в какой-нибудь сюртук втюрится или на голову чего-нибудь железное нахлобучит, да и она от него не отстает. Вот они и представляют собой все дамов да господ: говорят уж очень чудно, кланяются, ручки целуют. — Она встала и очень похоже изобразила: — «Да, сударь, иначе, сударыня, сердце мое пламенное». У них ведь любовь. — Тетка Маня оглянулась и заговорила шепотом: — Вот любовь-то и довела. До самой до ручки.

— А при чем здесь любовь? — равнодушно спросил Яков.

Работал он отлично, мне, как профессионалу, это было ясно; и тетку Маню он раскусил сразу же, ловко играл на мнимом равнодушии к некоторым нужным моментам ее рассказов.

Тетка Маня решила его поучить:

— Знал бы ты, милый, что она за любовь бывает. Вот у меня в прошлом годе петух был. И тот влюбился, и за любовь погиб. Это у курей-то!

Вот тут мы оплошали: нам не удалось вовремя перебить ее и пришлось выслушать романтическую историю влюбленного петуха.

— Ну, петух и петух, ничего за ним не замечала. И дела его вроде должны быть петушиные. Так нет! Куры все ходят беленькие, пухлые, теплые да чистые, а он на них и не глядит, будто и не куры вовсе. Только за одной ухаживает, только все одну и топчет. А сама-то — рябенькая да худая. Ты, погоди, дослушай, а потом уж рукой маши. Ну чтоб порядок соблюсти, я возьми, да и заруби пеструшку. И что же ты понимаешь! А вот что. Утром иду я в курятник, а у самой на душе тяжело — петух-то всю ночь орал, а теперь тишина, будто у них, у курей, покойник. Погоди, я говорю: сейчас

самое главное пойдет. Куры все присмирели, в кучку сбились, а он висит на жердочке, нечистая сила, головой вниз, лапками держится. Это он так по-своему, по-куриному, значит, повесился. От любви, выходит. Ну что скажешь? Это у курей-то, а? — Обтерла ладошью губы и, довольная, откинулась на спинку стула. — Так что записывай. Сашка виноват, баламут этот, — твердо закончила тетка Маня.

— Они не ссорились? — спросил Яков.

— С покойником-то? — прищурилась тетка Маня. — Если сказать, так они лютые враги были. Самохин-то все за Олей приударял. Сашка что? Малек против него. У них с Олей все судырь да судырь, а Самохин — тот по-простому, напрямки. То щипнет, то гдей-то прижмет в уголке — собственноручными глазами видела. Сашка раз его упредил, другой. Тому только смешки — учись, мол, говорит, обхождению. Вот Сашка и скажи ему как-то: «Иди, мол, на галдарею, тама работа тебе». Тот пошел, а Сашка вслед. Чего они там работали, не скажу, не знаю. Только Самохин напрямки в милицию побег — мордой побитой жалиться...

Яков кивнул мне: попомни, надо проверить.

— ...Вона как. Сашка это все утворил, беспрременно он. Неласковый он, задиристый...

— Ну, хорошо, — прервал ее наконец Яков. — Когда вы ушли вчера из музея?

— А как убралась, так и ушла.

— Точнее не припомните?

— В семь часов. Может, немного в восьмом.

— Кто после вас оставался в музее?

Глазки ее вдруг забегали испуганными мышатами. Мы переглянулись. У меня вообще к этому времени содалось впечатление, что трещит она не зря: будтоそろそろ предупреждает кого-то об опасности и старается ее отвести.

— Никто. Я последняя была.

Когда тетка Маня, надежно упрятав жиденькие косички в свои сорок четыре платка, ушла, оглядываясь, мы одновременно облегченно вздохнули.

— Да, слов нет, — проворчал Яков. — Все сходится на твоём молодом друге.

— Слишком уж сходится, — осторожно возразила.

— Факты, факты-то какие: записка под трупом, написанная его рукой, я уж не говорю о ее содержании, вражда, серьезная вражда с Самохиным, туманные уг-

розы. Опять же эти обломки шпаги: ты сам говорил, что у Саши дома целая мастерская. Там он вполне мог сделать из обломка клинка нож для личных нужд. Все, все сходится.

— За исключением одной немаловажной детали.

— Какой же? — поинтересовался Яков.

— Психологической. В литературе это называется разностильной лексикой. Мне почему-то кажется, что убийство Самохина, с одной стороны, и телефонный звонок и перчатка — с другой — это не связанные между собой линии, случайно пересекающиеся в одной точке. Вся эта «пирушка с привидениями» находится в элементарном противоречии с таким реально жестоким исходом.

— Ерунда, — отмахнулся Яков. — Это не для нашей работы.

— Не могу с тобой согласиться, — сказал я. — Никак.

— А это мне и не надо, — холодно ответил Яков. — Твое мнение мне неинтересно. Может быть, я и сам не очень уверен в виновности Саши, но проверить должен — профессия обязывает.

— Тебе бы сменить профессию, — мечтательно вздохнул я, чувствуя, как мы близки к ссоре.

— Что так? — насторожился Яков. — И какую бы ты мне предложил?

— Лесником бы тебе работать.

— Отчего же именно лесником? — смутился он.

— От людей подальше!

Яков рассмеялся.

— Не петушись, Сережка, пойми меня: дело очень сложное, голова кругом идет. Не поверишь, я нутром чувствую, что это еще не все.

— Вот поэтому и не надо отвлекаться на явно второстепенные...

— Что вы хотите? — перебил меня Яков, оборачиваясь на приоткрывшуюся дверь, в которую робко заглядывала дежурная гостиницы.

— Я хотела сказать, может, вам важно будет — ключ-то от тринадцатого номера нашелся.

— Как так? — опешил Яков.

— Да вот так, уж не знаю. — Она говорила, не входя в комнату. — Нынче, как я смену принимала, так он уж на месте висел.

— А кто дежурил перед вами? — Я встал и, пошире открыв дверь, пригласил ее в комнату.



— Воронцова, Ольга.

— Так, так, так, — запел Яков. — А в тот вечер ее сменили вы, да?

— Так и есть, я меняла. Да она, я забыла сказать, и тогда приходила. Говорит: книгу оставила.

— Взяла и пошла?

— Да нет, — смутилась дежурная. — Не сразу; она посидела немного вместо меня — я отлучалась, по личному то есть...

— Понятно, — перебил ее Яков. — И когда это было?

— Да около восьми что-то.

Он посмотрел на меня, я кивнул.

К Староверцеву мы пошли сами. Он, совершенно убитый, сидел в своем кабинете, расположенном на втором этаже музея. Встретил он нас безучастно, видимо понимая, что ничего хорошего мы ему не скажем. Для человека его лет и склада характера такие потрясения не проходят легко и бесследно. За какие-то сутки он постарел так, что даже мне, знакомому с ним всего несколько дней, это сильно бросалось в глаза.

Яков, однако, на это ни малейшего внимания не обратил. Он деловито уселся за директорский стол и достал блокнот, поручив мне вести протокол допроса.

— Мне, право, легче рассказать о любом экспонате музея, чем о сотрудниках, — как-то беспомощно отозвался Староверцев на просьбу Якова.

— Сотрудников у вас не так уж много, — успокоил его тот. — И они постоянно у вас на глазах, причем в самой выгодной обстановке — на работе. Какие-то впечатления о каждом ведь сложились у вас, верно?

Староверцев задумался и долго молчал.

— Начните с Самохина, — подсказал Яков.

— О покойниках плохо не говорят, но и хорошего о нем сказать нечего, — он помолчал. — И плохого, конкретно плохого, — тоже.

— Как это понимать? — улыбнулся я.

— Самохин из тех людей — заметьте, это только мои личные впечатления, — из тех людей, которые все время находятся на грани. На грани, скажем, нравственности и безнравственности. Я старался помочь ему, создать по мере сил благоприятную обстановку для его духовного перерождения, но оказался бессилён. У меня

в конце концов сложилось такое мнение, впрочем довольно смутное, что Самохин был способен на многое. Я, конечно, не имею в виду благородные поступки, вы понимаете?

— Не совсем.

— Ну вот, например, разбираем новые поступления. Он смеется: «Профессор — это он меня так называл — профессор, можно эту вещь дернуть? Все равно ведь она еще не оприходована, а?» И не поймешь, шутит он или всерьез. И сердце кровью обливается, и человеку хочется верить. Вот я и говорю: кажется, он был способен на многое, но чудом удерживался. Или ждал подходящего случая. Понимаете, как-то ничего не могу сказать о нем конкретного.

— Его взаимоотношения с сотрудниками?

— Неважные. Его не любили и не считали нужным, к моему огорчению, это скрывать. Сам же он относился к этому безразлично. Правда, было у него столкновение с Сашей...

Яков кивнул, давая понять, что знает об этом.

— ...Но, что особенно обидно, в этой драке инициатива целиком принадлежала Саше. Впрочем, не исключено, что Самохин спровоцировал его. Он грубо приставал к Оле, пытался обнимать ее, говорил непристойности. Даже я неоднократно делал ему замечания, и, заметьте, в самой резкой форме, — задрал бородашку Староверцев.

— Теперь о Саше.

— Саша — чудесный юноша, редкой души и немалых достоинств. У него горячее сердце мушкетера и пытливый ум ученого. Он, правда, несколько резковат, но безумно увлечен работой...

— Не только работой, — перебил его Яков. Ему, толстокожему, все бы напролом переть.

— Об этом не считаю себя вправе распространяться, — отрицательно помахал рукой Староверцев.

Но от Якова не отмахнешься.

— Я хочу прямо спросить вас: считаете вы возможным, чтобы Саша, если кто-то жестоко оскорбил бы предмет его увлечения, оказался способен так же жестоко наказать обидчика?

Староверцев помолчал.

— Это трудный вопрос. И опять из той области, где я вовсе некомпетентен. К тому же, мне кажется, для одного человека он слишком сложен.

— Мы и хотим его решить вместе, но для этого необходимо знать и ваше мнение.

— Что ж... — Он тяжело вздохнул. — Мне кажется, что да. Только поймите меня правильно, — спохватился он. — Саша может проткнуть подлеца шпагой и никогда не пожалеет об этом, но и не скроет свой поступок. Вы его прямо спросите, — решительно посоветовал Староверцев. — Он не солжет. И если скажет «нет», значит — нет!

— А если он скажет «да»?

— Если — «да», — Староверцев подумал и махнул рукой, — все равно — нет!

— Ну как же так? — не выдержал Яков.

Староверцев смутился:

— Право, не знаю...

— Ну хорошо, — продолжил Яков. — Я слышал, Саша берет экспонаты домой. Это верно?

— Ну и что? — удивился Староверцев. — Я доверяю ему. Он так увлечен своим делом, что ему просто не хватает времени. Он постоянно возится со старинным оружием — это его страсть. У него золотые руки, он сам реставрирует такие экспонаты, даже создал дома целую мастерскую. Или лабораторию, как хотите.

— Ну, ну, продолжайте.

— Да, собственно говоря, это все, что я могу сказать. Что же касается Оли, то Сашино увлечение свидетельствует только в его пользу.

Афанасий Иванович набил трубку и долго ее раскуривал. Чувствовалось, что разговор ему неприятен, но он честно старается помочь нам.

— Теперь, если позволите, — о Волкове. О нем я знаю очень мало: он у нас недавно. Да и считать Волкова сотрудником нашего музея — явное преувеличение. Он шофер, автобаза прикрепила его к нам. Естественно, не из-за каких-то его особых качеств: просто он работает на самой старой машине. Вы не подумайте, что я жалею, — машина не так уж часто нужна нам, просто я искренне стараюсь осветить все подробности, так или иначе касающиеся этого печального события. Так вот, бывает он у нас редко, только когда что-либо привозит. Но никогда не отказывается помочь и при разгрузке, и в другой работе. Но я с ним почти не общаюсь; знаю только, что он одинок, молчалив и до смешного добродушен. Да вы, Сережа, видели его — типичный пасечник. Что мне в нем нравится: на него

всегда можно положиться, и никогда не приходится просить его дважды.

— А какие у него отношения были с Самохиным?

— По-моему, только чисто служебные. Правда, Самохин одно время искал в нем собутыльника, но без особого успеха. Волков довольно сердито отказал ему. И это понятно — что могло быть общего у этих совершенно разных людей? Волков — бывший партизан, герой, честный труженик, а Самохин...

— Так, — подытожил Яков. — Кто там у нас еще?

— Пожалуй, все. Есть еще двое сотрудников, но один из них в Москве, в командировке, и уже давно, а другой — Николаев — болен.

— А что с ним? — на всякий случай спросил Яков.

— Нет, нет, он не будет вам интересен. Он в больнице, ему удалили аппендикс.

— А Черновцова? — вдруг вспомнил я.

— Тетка Маня-то? — улыбнулся Староверцев. — Ну эта если и может убить, то только языком.

— Это мы уже поняли, — согласился Яков. — Ну хорошо, спасибо. — Он встал.

— Позвольте и мне вопрос, — удержал его Афанасий Иванович. — Как мне теперь быть со стендами, которые ободрали, и с экспонатами? Грустно, знаете ли, это видеть. Очень грустно.

— Пока придется оставить как есть, — Яков заложил блокнот ручкой и сунул его в карман. Мы одновременно достали сигареты.

— Постойте-ка, — вдруг оживился Староверцев. — Есть тут у нас еще один: Черновцов, сын тетки Мани. Он иногда помогает ей убираться в музей.

— А почему вы о нем говорите? — спросил Яков, держа зажженную спичку.

— О нем вообще много говорят в Дубровниках — он далеко не праведник.

— Хорошо, — сказал Яков, прикуривая. — Спасибо, мы проверим.

Мы вернулись в отделение. В коридоре, у двери в нашу комнату, стояла обычная садовая скамья. Сейчас на ней, нахохлившись, как воробьи, попавшие под дождь, сидели рядышком Оля и Саша. Мне показалось, они о чем-то спорили.

Яков кивнул Оле:

— Заходите.

Насколько Афанасий Иванович постарел за это время, настолько Оля, если это уже возможно в ее возрасте, помолодела. Перед нами сидела не грациозная девушка, сознающая свою привлекательность, а испуганная, провинившаяся школьница. Она и хлюпала-то носом совсем по-детски, как никогда не будет плакать взрослая женщина.

— У меня к вам только два вопроса, — добродушно проворчал Яков. — Вечером, в день убийства Самохина, вы заходили в гостиницу?

— Да, — прошептала она, комкая платок.

— Не слышу, громче. Чего вы боитесь?

— Да, заходила.

— Ну вот, ведь можете! — деланно обрадовался Яков.

Оля улыбнулась.

— И второй вопросик: зачем вы туда приходили? Погромче!

— Книгу хотела забрать, я ее забыла на дежурстве.

— Прекрасно! С вами так приятно разговаривать, что невольно хочется продлить беседу. Придется спросить вас еще кое о чем, вы уж не обижайтесь. — Яков помолчал, побегал глазами по стенам, а потом брякнул: — А какую книгу? Название, автор?

Оля молчала, готовясь зареветь уже в полную силу.

— Неужели не помните? Не может быть.

— Помню. — Она собрала все свои оставшиеся силки, подняла голову и отбарабанила: — «Три мушкетера» Александра Дюма.

— Отлично! Ну вот и все, — тоном детского доктора ворковал Яков. — Видите, совсем просто. Можете идти дочитывать своих мушкетеров. Идите, голубушка, идите.

Яков проводил ее до двери, выпустил и поманил пальцем Сашу.

Разговор с Сашей не получился. Он был сдержан, долго обдумывал ответы. Яков тоже был сдержан, собран, предельно внимателен, но не очень тактичен.

— В день убийства Самохина, вечером, вы были у Староверцева, так?

Саша молча кивнул.

— Мне повторить вопрос? К сожалению, ваш ответ нельзя зафиксировать.

— В день убийства Самохина, вечером, я был у Афанасия Ивановича Староверцева. Это могут подтвердить.

— Воронцова Ольга Алексеевна была с вами?

— Да, — монотонно пробубнил Саша. — Ольга Алексеевна Воронцова была с нами.

— Она никуда не отлучалась, скажем, часов около восьми?

— Около двадцати часов московского времени Ольга Алексеевна отлучалась. Она ходила в гостиницу за забытой там книгой. — Саша быстро приходил в себя.

— За какой?

— Может быть, — не выдержал я, — может быть, за «Черной перчаткой» Одоевского?

Саша молчал.

— В каких отношениях вы находитесь с Воронцовой? — грубо спросил Яков.

— В хороших! — разозлился Саша. — Вас устраивает такой ответ? Или нужны подробности?

Яков положил перед ним перчатку и копию записки.

— Ну и что? — нагло спросил Саша.

— Записка, засунутая в эту перчатку, лежала под трупом Самохина. Это ваш почерк — вот акт экспертизы и ваши отпечатки пальцев.

— Ложь! — вскинулся Саша. — Там нет никаких отпечатков, я писал записку в перчатках.

— Объясните, что это значит?

— Да ничего не значит, просто валял дурака.

— Неплохое развлечение, гимнастика для ума, да?

— А вы что, никогда не валяете дурака? Тогда мне вас жаль.

— Не валяю, — отрезал Яков. — Потому что я и так слишком часто имею дело с дураками. Все, все, идите.

Выходя, Саша едва сдержался, чтобы не хлопнуть дверью.

— Это не он, — сказал Яков, едва за Сашей закрылась дверь. — И говорить с ним сейчас бесполезно: он изо всех сил старается выручить Олю, а врать не умеет, и потому наколбасит так, что и сам запутается, и наши бедные головы вконец задурит.

— Самохин недавно из заключения, — напомнил я. — Так что не исключена, положим, месть. Или дружки, или пострадавшие — такие случаи тоже бывают: сочли, например, наказание слишком мягким. Это придется проверить.

— На всякий случай я уже наводил справки: его преступление не исключает такой возможности.

— Будем считать это первой версией? Хотя что-то соберем.

— А второй — этот мушкетер все-таки. Эх, если бы не его алиби.

— Нет у него никакого алиби, — буркнул я. — Он тоже отлучался. Сразу же, как только Оля вернулась.

Яков вытарашил глаза.

— И ты молчал?

— Молчал. И сейчас бы не сказал, если бы не считал Сашу в полной безопасности. Ты, Яша, прости, но для тебя главное — закончить дело, и поскорее. Ты прешь как буйвол. В нашем деле нужно быть особенно бережными с...

— Все, Серега, — не дал мне договорить Яков. — Собирай барахлишко и... к чертовой матери отсюда! А я еще вдогонку цидулку твоему начальству направлю, сообщу, как ты тут оправдываешь высокое доверие.

— Да не может этого быть! — закричал я, теряя терпение. — Неужели ты не понимаешь?

— Может, все может быть! — жестко отрезал Яков. — «Покойник не был нравственным человеком» и мог жестоко оскорбить девушку. А у таких, как твой подзащитный, которому ты, кстати, стал сообщником, свои понятия о чести. И о том, как надо ее защищать, особенно когда это касается дамы сердца. Оля могла умышленно назначить свидание Самохину в твоём номере и, убедившись, что он там, сообщить об этом Саше, а тот его... — Яков выразительно щелкнул пальцами и, помолчав, добавил: — И я могу его понять. Да, его я могу понять. А тебя — нет. Собирайся и мотай отсюда.

Я бы многое мог возразить ему, но понимал, что сейчас это бесполезно. Я встал, застегнул куртку, проверил, в карманах ли сигареты.

— Иди, иди, не оглядывайся.

Я подошел к двери.

Она вдруг сама услужливо распахнулась: на пороге стоял Саша. Он был спокоен, только глаза его лихорадочно блестели на бледном лице.

— Я хотел рассказать вам, как все произошло, — сказал он.

Яков выглянул в окно.

*Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось... под этими развалившимися сводами.*

*В. Одоевский*

*Вечером того же дня*

Саша решительно сел за стол и положил на него руки, переплетя пальцы. Мы выслушали его, не перебивая, только Яков в самом начале рассказа молча щелкнул клавишей моего «Репортера».

— С Сергеем Оболенским мы как-то быстро сошлись и даже сдружились. Поэтому и позволили себе дурацкую шутку, но в ней, честное слово, не было зла, было ребячество. Нас подтолкнули насмешки Сергея над таинственным исчезновением князя, да совершенно невинное желание поддержать увядающую славу тринадцатого номера.

Сначала действительно я звонил ему по телефону, потом мы с Олей написали эту записку: мы дурачились, нам было весело представлять, как он будет ее читать и недоумевать над ее загадочным и зловещим содержанием, и я, надев черные перчатки, взял из стопки бумаги чистый лист — нам это казалось забавным... А теперь — настолько глупым, что стыдно говорить об этом.

Кстати, вы правы, текст записки я позаимствовал у Одоевского, это и надоумило нас вложить ее в перчатку.

Мы решили, что Оля забежит вечером в гостиницу и оставит в номере Оболенского записку. Ей удалось взять ключи — дежурная сама попросила ее посидеть вместо нее минутку, но в номер Оля не вошла: там работала уборщица. Ключ тоже не удалось повесить на место, так как дежурная уже вернулась. Нам бы плюнуть тогда на нашу затею, и все было бы в порядке, по крайней мере для меня и Оли, но нас уже занесло.

В гостиницу пошел я. Мне удалось проникнуть во флигель со стороны кладбища, через окно в мужском туалете. Номер был не заперт, и в нем работал телевизор. Положив перчатку с запиской на кровать, я выбрался тем же путем.



Потом мы хотели устроить и «посещение князем своих комнат» ночью, в Олино дежурство...

Узнав, что в номере Оболенского убит Самохин, мы растерялись. Ни для кого не секрет, что я когда-то набил ему морду. Да еще эта записка. В этой ситуации она выглядела прямо-таки приговором Самохину. Но, согласитесь, подраться с человеком или убить его — это далеко не одно и то же.

Саша замолчал и опустил голову. Собственно говоря, он не сообщил ничего нового. По крайней мере — для меня. Примерно так я и представлял себе появление перчатки и угрожающий смысл записки, мне всегда казалось, что их роль здесь совершенно случайна. Думаю, и Яков уже понял, что с этой версией ему придется расстаться — проверить Сашин рассказ будет трудно.

Яков встал, постучал по столу пальцами («так, так, так»), прошелся по комнате и, остановившись напротив Саши, задал ему именно те вопросы, которые задал бы и я, если бы вел следствие. Или мы окончательно забрели в тупик и спрашивать было больше нечего, или мы медленно, ощупью выходили на единственно верный путь.

— Когда вы были в номере, не заметили ничего странного, необычного — открытое окно, например, какие-то изменения в обстановке комнаты или еще что-нибудь в этом роде?

Саша поднял голову.

— Нет, ничего. Кроме того, что я сказал: дверь была не заперта, телевизор работал, но номер был пуст.

— Значит, нет, — задумчиво проговорил Яков, — значит, и до девяти часов в номере не было ни Самохина, ни его убийцы.

И тут он наконец проявил интерес к таинственной истории с Оболенским.

— Насколько вообще вероятно, что Оболенский исчез из своих комнат? Есть какая-нибудь реальная основа для возникновения такой легенды?

— Я интересовался этим. В одном из писем графиня прямо говорит, что она в ужасе и не понимает, что именно могло произойти с ним.

— Я слышал, здание музея и флигель каким-то образом связаны между собой?

— Сейчас нет. А когда-то их соединяла оранжерея. Афанасий Иванович давно включил в план работ ее расчистку, но у нас все руки не доходят.

Яков снова выглянул в окно и позвал Олю. Когда она пришла и скромненько села рядом с Сашей, мы провели с ними «воспитательную работу». Уверен, они до свадьбы не забудут этой головомойки.

Истошный вопль Староверцева мы услышали еще на улице.

— Ноги моей больше не будет в этом бандитском гнезде! — кричал Афанасий Иванович. — Я взорву его! Сожгу собственными руками! Я развею его грязный пепел по ветру!

— Принеси воды! — сказал мне Яков. — Не ори, дурак! — рывкнул он на Староверцева.

Тот вздрогнул.

— Извините, я забылся, — он жадно пил воду. — Извините, пожалуйста.

— Это вы меня извините, — улыбнулся Яков. — Другого способа для таких случаев я не знаю — у вас истерика.

— Что там, право, — слабо отмахнулся Староверцев, приходя в себя. — В вашей характеристике моих умственных способностей очень, очень много справедливого.

— Так что же случилось?

— Вы же знаете, музей сейчас закрыт. Но тем не менее кто-то взломал дверь моего кабинета. Я бы сказал, топором, если бы был уверен.

— У вас хранится там что-нибудь ценное? — спросил Яков.

— Если вы имеете в виду материальные ценности, то ничего подобного! Там документы, научные разработки сотрудников и подобное тому.

— Пойдемте посмотрим.

Дверь была взломана грубо, непрофессионально. Но в комнате сохранился относительный порядок — я ожидал худшего.

— Посмотрите, что пропало, — Яков пропустил Афанасия Ивановича, мы остались в дверях. — Осторожно,

осторожно, старайтесь ничего не трогать. Письменный стол у вас запирается? Тоже взломан? Ну что? — спросил он через некоторое время.

— Странно, — вздохнул Афанасий Иванович, устало опускаясь в кресло. — Кажется, все на месте, но кто-то посторонний все-таки был, что-то искал.

Яков вошел, бегло осмотрелся и остановился у сейфа.

— Ключи у вас?

— Да, да, — поспешил Староверцев. — Вот они.

— Откройте и посмотрите.

— Здесь вообще порядок.

— Так, так, так, — проговорил Яков. — Был, искал, но, — он поднял палец, — но очень осторожно, будто не хотел, чтобы догадались, что именно искал, да? Дверь-то он изуродовать не постеснялся.

— Да, да, именно так и мне показалось. Вещи на своих местах, но заметно, что их трогали.

— Вы уверены, что ничего не пропало?

— С абсолютной уверенностью сказать пока не могу.

— Я тоже, — хмуро заметил Яков, снимая телефонную трубку.

После того как он вызвал эксперта, мы еще раз внимательно осмотрели музей, правда, без особых результатов, и вышли на заднее крыльцо.

— Это, видно, та самая «галдарея», о которой говорила тетка Маня? — спросил Яков.

— Вы правы — это галерея, — поспешно ответил Староверцев. — Она была построена над оранжереей. Та уже давно заброшена, ею много лет не пользуются. По преданию, она связывала дом с флигелем, где граф держал своих... м-м-м... наложниц. Он проходил к ним среди диковинных цветов и, видимо, считал это очень романтичным.

— Так, так, так... Ну что же, — неопределенно высказался Яков.

— Товарищ Щипцов...

— Щитцов, — поправил Яков.

— Ох, простите, у меня очень плохая память на имена, — смутился Староверцев. — Скажите, пожалуйста, когда все это кончится?

— Скоро, — неожиданно ответил Яков.

Темнело. Яков включил свет, сладко потянулся и повалился на кровать.

— Ты бы хоть ботинки снял, — возмутился я.

— Они у меня чистые, не видишь? — возразил Яков. Он поставил на круглый живот пепельницу (консервную банку), сунул в рот папиросу и заложил руки за голову.

Я был рад, что он оставил Сашу в покое. Тем более что Яков не из тех, кто легко и быстро признает свои ошибки. Но рассчитывать, что он скажет об этом вслух, не приходилось.

— Знаешь, о чем я думаю? — Он смотрел в потолок и жмурил один глаз, морщась от дыма папиросы. — Мы забываем, что у нас две взаимосвязанные задачи, не считая деталей: найти преступника и объяснить, каким образом он и Самохин попали в номер, так? Так. Вот мы и шли по этому пути, в такой именно последовательности. А если взяться с другого конца? Ведь обстоятельства убийства очень странные, необычные, и именно это дает нам серьезный шанс. Что, если попытаться решить вторую часть задачи? Пойти, так сказать, назад. Не приведет ли нас эта дорожка к главной цели?

Я молча слушал, не понимая, к чему он клонит.

— Вот смотри, по нашей схеме все время, пока Самохин находился в номере — живой или мертвый, — комната была заперта и окно было закрыто изнутри; или же — в нем были люди: почтенные старушки, Саша с Олей по очереди.

— Ну?

— Ну-ну. — Яков приподнялся, едва успев подхватить пепельницу. — Как ты не можешь понять! Самохина ударили ножом именно в то время, когда в номере были люди. Улавливаешь? Постарайся понять разницу: Самохина ударили, когда в номере были люди, или — когда в номере **были** люди. Дошло?

— Нет, — честно признался я. — Что-то уж слишком сложно.

— Напротив — очень просто. Самохина ударили в то же время, но в другом месте. Убийца и не был в номере. Самохин попал туда уже раненный, смертельно.

— Да, — насмешливо кивнул я. — Его любезно подвезли на «скорой помощи», раз уж ему непременно хотелось умереть в моем номере.

Яков оставил без внимания мой выпад.

— Нет, он добрался туда сам. Если бы там был убийца, что помешало бы добить Самохина? Ведь в номере никого не было и он был заперт.

— Пожалуй, ты прав, — согласился я. — Может, оранжерея?

— Может. Вход в нее должен быть из подвала музея. И ведет она прямо к флигелю, если судить по галерее.

— Посмотрим.

— Я тебе посмотрю!

— А что? Мне кажется...

— А мне кажется, что тебе надо быть поскромнее, чтобы вновь заслужить мое расположение, как выразился бы Староверцев.

— И все-таки: мне кажется, что оба происшествия — убийство и попытка ограбить музей — связаны между собой.

— Безусловно. У меня уже что-то складывается. Вот что, Серега...

— Яков, — взмолился я. — Посмотри на часы. Я уже с ног валюсь.

— Черт с тобой, — сжалился Яков. — Отдыхай, а я тут смотаюсь неподалеку на полчаса.

Я выждал некоторое время, потому что Яков имел скверную привычку возвращаться с полдороги, потом отыскал в его письменном столе фонарик и вышел на улицу. Предостережение Якова «не зарываться» вылетело из головы — другая мысль не давала мне покоя, мысль об этой чертовой «галдарее».

Когда я подошел к музею, было совсем темно. Как в ту ночь, когда мне показалось, что я видел свет в его окне.

Пробраться в музей мне было нетрудно: кое-какой опыт, которым время от времени делились со мной мои «подопечные» во время работы в розыске, сослужил-таки мне добрую службу.

Свет я, конечно, зажигать не стал, только включил фонарик и, минуя зал с манекенами, спустился в подвал.

Довольно долго, спотыкаясь и поругиваясь, я лазил по подвалу, пока не нашел дверь. В самом дальнем углу. Похоже, что раньше она действительно была зава-

лена, но не так давно кто-то старательно разобрал проход к ней.

Дверь оказалась запертой большим висячим замком. Я подергал его — петли держались крепко. Кроме того, дверь была забита поперек толстыми досками. Но не может она быть заперта!..

Внимательно ее осмотрев, я заметил на полу возле нее горелые спички. Были они свеженькие, будто только что из коробки. «Сто лет не пользовались», — вспомнил я. В косяке торчал большой гвоздь, загнутый кольцом. Я сначала осторожно, потом сильнее потянул за него: косяк вместе с забитой дверью повернулся с тихим скрипом на невидимых петлях. Ловко!

Из черного отверстия дохнуло холодом. Я шагнул в темный проход. Луч фонаря не доставал до его конца — казалось, он тянулся бесконечно. Под ногами ватным слоем лежали пыль и мусор, по сторонам грудились, отбрасывая причудливые тени, разодранные корзины, набитые чем-то мешки, ящики. Но идти можно было довольно свободно, иногда только приходилось нагибаться. Луч фонаря вырывал из темноты то перевернутое кресло с надетой на ножку рваной шляпой, то пружины, торчащие из лопнувшего дивана...

Было до жути тихо, только гулко стучало мое сердце. Я невольно ускорил шаги.

И вдруг кто-то схватил меня сзади за руку. Я с силой дернулся, что-то загрохотало у меня за спиной, с треском порвался рукав куртки, и плечо стало мокрым и горячим. «Нож!» — мелькнула мысль.

Я отпрыгнул, как смог, в сторону, чтобы не получить второй удар, наткнулся на ящики и выронил фонарь. Он упал очень удачно — стеклом вниз, прямо в пыль.

В темноте я слышал рядом чье-то хриплое, тяжелое дыхание и на всякий случай присел. И стал тихонько шарить по полу. Левая рука горела.

Наконец я нашупал фонарик и резко повернул его. Мелькнула какая-то тень. Никого. Только хриплое, тяжелое дыхание: мое. А в проходе лежит здоровенный ящик. За торчащий в нем гвоздь зацепился рукав моей куртки. С досады я пнул ящик ногой и вдобавок ушиб палец.

Дальше я шел осторожнее, приложив платок к глухой царапине на плече и держа фонарик в левой ру-

ке. Но идти пришлось недолго: обойдя водруженную на бочку тяжелую раму от зеркала или картины, я оказался в тупике. Вернее, опять перед массивной дверью — без ручки и даже без замка. Ручка — черт с ней, хорошо, что замка нет.

В ярком луче фонаря у двери я увидел ботинок. На правую ногу. Самохина?

Я взялся за дверь. К моему удивлению, она легко подалась, когда, вцепившись в крайнюю доску ногтями, я потянул ее на себя. Она широко раскрылась, и я чуть не засмеялся от неожиданности: за дверью была стена. Самая обычная, деревянная, из вертикальных досок, плотно подогнанных и чуть сыроватых. Мне показалось, что подобное я уже где-то видел, и не так давно. То ли в кино, то ли во сне.

Старенькая батарейка уже садилась, но все-таки в слабом свете фонаря можно было разглядеть массивные кованые петли, вделанные в верхнюю кромку стены. Я налег плечом, и она медленно повернулась вокруг заскрипевших петель. Я пролез в щель и оказался на полу... своего бывшего номера. Щит опустился за мной, глухо стукнув.

Когда я встал на ноги, держа в одной руке фонарик, а другой придерживая оторванный лоскут рукава, сухо щелкнул выключатель и вспыхнул свет.

В комнате стоял Яков и держал в руке направленный на меня пистолет.

— Убери, это неприятно.

— Ну и вид, — сказал он, медленно пряча в карман пистолет. — Кто это тебя?

— Ящик с гвоздем.

— Ну, ну. Нашел?

— Нашел. А что ты делаешь в темноте?

— Я погасил свет, когда услышал, что ты сопишь и возишься за стеной. Ты меня удивил.

— Я и сам удивлен. Там ботинок лежит, на правую ногу, с пряжкой.

— Самохинский?

— Похоже, его. А перед первой дверью — чуть не полкоробка горелых спичек. Впечатление такое, что кто-то подготовил проход заранее.

— Дать бы тебе по мозгам за «инициативу», — высказался Яков. — Я тебе что говорил? Забыл?

— Победителей не судят, — отмахнулся я.

— Как знать, — проворчал он. — Еще одна такая

победа, и мне придется отказаться от твоих услуг. Серьезно.

Яков включил настольную лампу и погасил верхний свет. Шторы на окнах были плотно задернуты.

Мы сели за столик и закурили.

— Значит, я был прав: стукнули Самохина в музей, и он бежал сюда. Знал, выходит, куда бежать. И знал отлично. Его кто-то преследовал, но не смог, как я понял, открыть дверь, где спички, так?

Я кивнул осматриваясь. Теперь трудно было найти, какую из дубовых панелей, покрывающих стены, я только что поворачивал. Она так точно стала на место, что все вертикальные доски слились в один ровный ряд.

— То-то я замечал, — сказал я, — сквозит здесь немного.

— Ну уж не ври, — остановил меня Яков. — Подогнано будь здоров.

Он откинулся на спинку кресла и потянулся.

— Подведем итоги. Самохин бежал из музея по подготовленному пути.

— А что он делал в музее? Ночью-то?

— И кто с ним был? Что он делал, это понятно.

— Как? — удивился я.

— Не совсем, конечно, — поправился Яков. — Не совсем. Ты обратил внимание на то, что ценные вещи были увязаны в узлы?

— Конечно. Кто-то подготовил их для реализации, если можно так выразиться. Но не успел.

— Ему помешали. Кто помешал? Самохин? Или Самохину? Здесь важно собрать воедино, связать логически три известных момента: попытка ограбить музей, убийство и поиски в кабинете — тогда многое станет ясным.

— А почему именно в этой последовательности? — поинтересовался я.

— Потому что не такие мы глупые, какими кажемся на первый взгляд, — не захотел объяснить Яков.

— Но и не такие умные, какими хотим казаться, — уточнил я.

— Ко мне это не относится, — махнул рукой Яков. — А что касается кандидатуры на главную роль, у нас она теперь только одна.

— Кто же? — спросил я, вставая.

— Тот, кто бывает в музее после его закрытия, тот,



кто всем Дубровникам известен своими похождениями, тот, кого выгораживает тетка Маня.

— Черновцов?

Утром я зашел к Староверцеву. Едва мы с ним расположились погонять чай, во дворе залаял Малыш и кто-то сильно постучал в окно.

— Сергей! Ты здесь? Выйди на минуточку!

— Это следовательно, — извинился я. — Мне надо идти.

— Слушай меня, — Яков сжал мне руку. — Черновцов пропал. Похоже, скрывается.

— Как?

— Вот так. Я говорил с его женой. Что-то знает, но всюю темнит.

— Как я слышал, он порядочный забулдыга. То, что он пропал, еще ничего не значит.

— Значит, Сережка, значит! Он не ночевал дома в день убийства — это раз. С женой у него нелады — два...

— Ну и что нам с этих неладов?

— А вот что: она его частенько выставляет из дома, и он ночует знаешь где?

— В музее? Тетка Маня привечает?

— Это еще не все. Его видели вчера. Вся морда сплошь синяком заплыла. А костяшки пальцев правой руки Самохина, помнишь акт, были сбиты! Я тебя вот о чем хотел попросить. Ты человек здесь новый, журналист: походи поспрашивай. Потом сочтемся.

— Ну разве что, — вздохнул я.

*Неужели этот вздор может поколебать наше счастье?*

*В. Одоевский*

## *Пятница*

Я отправился на розыски Черновцова, предварительно поставив Якову условие: с теткой Маней он должен говорить сам. Яков поморщился, но деваться ему было некуда. Позже он передал мне содержание этого разговора, и я привожу его здесь.

Тетка Маня, снова оказавшись в центре внимания, с готовностью отставила швабру и открыла было рот, но Яков опередил ее:

— Почему ваш сын ночует в музее?

— Дознались? — ахнула она и заплакала. — Дура я старая, бесом попутанная... — Она плакала тоненько, монотонно и деловито, поглядывая птичьим глазком на Якова.

Он терпеливо ждал.

— Так как же?

Тетка Маня, причитая, добралась наконец до сути: «бесталанному» Черновцову жена-злодейка «не дает дома головушки приклонить бедовой, гонит его и в дождь и в ветер», и потому он заливает горе «зеленым вином».

— Подождите-ка, — приостановил ее Яков. — Что-то я не пойму: гонит она его за то, что он пьет, или он пьет, потому что она его гонит?

— Знамо!

— Что знамо-то? Он пьет — она бьет? Эта схема?

— Наоборот, — тетка Маня прерывисто всхлинула.

— Ерунда какая-то. Что у них за нелады, можете мне толком объяснить?

Тетка Маня осторожно оглянулась и лихо подмигнула Якову всей щекой.

— Тет-на-тет?

— На-тет, — уверил ее Яков.

Она снова оглянулась и шепнула так, что, верно, на улице было слышно:

— Гуляет он.

— То есть как? — удивился Яков.

— От жены гуляет.

Яков неосторожно выразил сомнение. Тетка Маня искренне возмутилась:

— Ты не смотри, что он сморчок на вид, — гордо сказала она. — По нем все дубровнические бабы сохнут, даже библиотекарша с образованием у него есть. — Она снова взяла швабру и стала похожа на сурового воина с копьем. Якову показалось: под носом у нее появились и круто поднялись гвардейские усы. — Вот Нинка-то и зверует. А я уж его, сиротинку, привечаю.

— А во вторник сиротинка тоже в музее ночевал? Тет-на-тет.

Тетка Маня едва нехватила его шваброй.

— Ишь куда клонит! Хитер Вася — дуру нашел!

— Да какой я еще, к черту, Вася?

— Все вы не Васи, как до дела дойдет! Не ночевал

он здесь! Я последняя ушла и никого здесь не оставила. Клянуся! — И она стукнула шваброй в пол.

— Где он сейчас?

Тетка Маня не ответила, сурово поджав губы, молчала.

— А синяк? С кем он сцепился?

— Это ты уж у Нинки пытай. Ей лучше знать, с кем ее мужик цапается.

Дома Черновцова, конечно, я не застал, да на это и не рассчитывал. Его жена, миловидная женщина, худенькая и решительная, встретила меня сурово.

— Чего вам надо?

— Я, собственно, не к вам...

— Тогда и говорить нечего! — И она повернулась ко мне спиной.

Я сказал ей, что я из газеты.

— Батюшки! — всплеснула она руками. — Достукался, паразит! Что ж теперь будет-то? На всю Россию ведь опозорится, нигде теперь не скроется.

— Это точно, — сказал я. — Как бы мне повидать его? Поговорить. Может, еще и обойдется.

Она испуганно взглянула на меня.

— А ты его не обидишь? Нет? Тогда иди к свекрови. Он у нее в сараюшке от людей прячется. Не совсем еще стыд пропил.

Почему он прячется, у меня было другое мнение, но выражать его я, естественно, не стал.

— А где же эта самая сараюшка?

— У реки, за кладбищем, где огороды.

Ну что мне было делать? Якова искать?

За кладбищем, в редкой рощице, прятались серенькие домики с палисадниками, полными золотых шаров. Здесь пахло печным дымом, лаяли собаки и горласто перекликались петухи.

Ближе к реке, по берегу, выстроились тесным рядом сараюшки. У справногo мужичка в синей в горох рубахе, который с удовольствием колот осиновыe чурки, я спросил, где сарай тетки Мани. Он воткнул топор в пенек, засыпанный влажной щепой, и, достав сложенный книжечкой обрывок газеты, стал вертеть самокрутку.

— Черновцова никак ищите? — спросил он, покусывая край листка.

Я промолчал. Мужичок, свернув такую аккуратную сигаретку, будто достал ее из новенькой пачки, пыхнул махорочным дымком.

Мне вдруг, впервые за всю неделю, стало хорошо и спокойно. А он, словно не было важнее дела, зажав губами цигарку, ковырял пальцем мозоль на ладони. Грустный осенний ветерок по всему, наверное, городку разносил махорочный дым, запах колотых дров, лежалой щепы и влажного песчаного берега.

— Натворил он что опять, да?

— Нет, просто надо повидать.

— Вона как! — удивился мужичок. — И Черновцов кому-то спонадобился. Сейчас иди повдоль овражка, а как каланчу станет видать — повороти и в первой переулке найдешь.

Я поблагодарил его.

— Желаю добра, — кинул он вслед и, поплевав на окурок, снова с удовольствием застучал топором.

В сарае было душно и полутемно: окно завешено старым женским халатом, только в дырку от кармана пробивался яркий свет с улицы.

Черновцов лежал на ржавой железной кровати «с разговорами». По нему, как по покойнику, ползали зеленые мухи. Он дергал бровями, щекой, но не шевелился и глаз не открывал. Вся левая половина лица была под громадным странным синяком: в клетку, с красными полосками крест-накрест. Будь у него побольше головы, на этом синяке вполне можно было играть в шахматы.

Вдоволь налюбовавшись, я постучал Черновцова в грудь костяшками пальцев:

— Вставайте, граф.

Он приоткрыл один глаз и поморщился, ворочая глазом, оглядел меня сверху донизу. Рассматривая мои туфли, он приподнял голову и снова, закрыв глаза, обессиленно уронил ее на подушку. Наконец с трудом произнес:

— Ну?

— Глаза-то открой.

— Не могу. Голова, понимаешь, трещит от света.

— Это не от света. Не надо было вчера мешать.

Черновцов оживился:

— Я не мешал. У меня всегда так — глаза на дру-

гой день режет. Совестьливый я, понимаешь? А мешать — не мешал. Водку пил, врать **не буду**. И красное пил. Потом обратно вроде водку. **Но** не мешал. Все своим чередом шло.

Спотыкаясь о разбросанные сапоги, я подошел к окну и дернул с гвоздей халат. Черновцов вскрикнул и резво повернулся на живот, пряча голову в подушку.

— Садись, — не поворачивая головы, простонал он. — Раз пришел — садись. Стулу вон возьми, хорошая стула.

«Хорошая стула» оказалась с дыркой вместо сиденья, поэтому я откинул одеяло — Черновцов подобрал ноги — я присел на доски кровати.

— Жестко спишь, — сказал я, закуривая.

— Зато от рахита помогает. — Он потянул носом запах сигаретного дымка и, зарывшись в подушку, опять одним глазом с интересом посмотрел на меня.

— Ну?

— Где ты ночевал во вторник?

Глаз закрылся.

— Не понял, — признался я.

— А ты кто такой? Общественность? Милиция?

— Нет, я журналист, пишу на темы морали. Как раз с этой стороны нашу газету заинтересовал твой светлый облик.

— Хе, журналист!

— Что, не похож?

— Не-а. — Он пренебрежительно дернул плечом. — Это еще посмотреть надо, какой ты журналист.

— Ну, ладно. Где все-таки ночевал-то?

— Не помню. — Черновцов решительно отвернулся к стене.

Я встал.

— Как хочешь. Можешь и не говорить, я сам знаю: ночевал ты в музее.

Он вскочил и выставил вперед палец.

— Нет уж! Ты это брось. Не было меня тогда в музее, не было!

— А где же ты был?

— Нигде!

— Кто же тебя так изукрасил? Может, жена?

— Иди отсюда! — Черновцов нагнулся и поднял за голенище сапог. — Иди, иди! Журналист!

Я вышел и оглянулся: окно снова было завешено

халатом, и в дырку от кармана Черновцов успел записать скомканную газету.

Ну вот и все, кажется.

Яков хмурился, когда я рассказывал ему о визите Черновцову.

— Сходи, пожалуйста, еще раз к его жене.

— Зачем?

— Тут у меня немного не сходится. Постарайся узнать, кто его бил.

— Да зачем?

Яков молча смотрел на меня.

— Надо брать его, пока не поздно, — горячился я.

— Сходи к жене, — настойчиво повторил он. — Тогда посмотрим: брать или не брать.

Я вышел, не отказав себе в удовольствии хлопнуть дверью.

— Нажаловался он вам? — устало спросила Нина. — Синяком хвалился?

Я чуть не сел мимо стула.

— Чем же это вы его?

— Авоськой, — тихо ответила она и опустила глаза.

— Не может быть, — удивился я. И сообразил. — Верно, в авоське что-нибудь было, да?

Она потупилась, как примерная школьница, впервые прогулявшая урок, и чуть слышно прошептала:

— Арбуз.

Я отвернулся, скрывая улыбку.

— Ну и как?

— Вдребезги, — вздохнула Нина.

— И не жалко?

— А мы его все равно съели. Он ведь так и остался в авоське, не разлетелся.

— Да я про мужа. Бить не жалко было?

— Чего его жалеть, кобеля? У него сколько баб, и каждая его лупит. А я как-никак законная.

Логично, ничего не скажешь.

— Где он ночевал во вторник, не знаете? Это очень важно.

— Понимаю, — Нина взволнованно пригладила волосы. — Вы, наверное, думаете, что он... тогда был в музее? Нет. Он иногда ночует там, правда. Свекровь заболела. Но в тот раз — нет.

— А где же?

Она низко-низко опустила голову:

— В Званске, в вырезвиловке.

— Да что ж вы мне голову-то морочите? — не выдержал я. — Это же совсем другое дело получается.

— Конечно, другое, — равнодушно согласилась она. Вам-то — другое, а ему не знаю, что и хуже. Про него и так чего только не болтают. А он ведь смирный. Теперь все узнают, что и в вытрезвильовке побывал. Стыд-то, а?

— Вот это алиби, да? — сказал мне Яков.

— Ты уже знал? — подозрительно спросил я.

— Мы в тупике, Сережка. Дальше хода нет. Ведь все сходилось на Черновцове. — Яков качал головой, будто у него болели зубы. — Знаешь, Серега, это была последняя мысль, которую я выжал из себя.

— Есть еще одна, новенькая. Только что отсюда, — я постучал себя пальцем по лбу.

— Князь Оболенский — гражданин Самохин? — устало улыбнулся Яков.

— Точнее, князь Оболенский — старый граф, Самохин — и...

— Замучил я тебя, — перебил меня Яков. — Тебе уже тени предков мерещатся.

— Зря ты так. Все-таки связь намечается. Очень робко, но настойчиво. Не перебивай, пожалуйста. Афанасий получил в Московском архиве письма графини, я видел их копии...

— Ну и что? — усмехнулся Яков. — Графиня передает в них приветы Самохину?

— Косвенным образом. Графиня взволнованно пишет о том, что Оболенскому угрожает опасность, но она бессильна предотвратить ее: муж ревнует к князю и не доверяет ей. Ты понимаешь: значит, кроме ревности, у графа были еще какие-то причины ненавидеть Оболенского.

— Какие?

— Точно не знаю. Но в письмах самого Оболенского есть одно интересное место, где он грозит выбить подлую душу из дряхлого тела графа, потому что тот «холуй царской, Иуда, я его завсегда презираю, что выдал тиранам такую милую душу». Кого выдал граф, пока трудно сказать, но это факт. И графу, пока не поздно, нужно было принять свои меры. И он их принимает: Оболенский исчез. Наглухо.

— Интересно, — согласился Яков. — Этот факт несколько иначе окрашивает и наше происшествие. Но я

бы воздержался от такой смелой параллели. Дело скорее не в том, что кто-то кого-то выдал или грозился выдать, а в сходности самих обстоятельств убийства.

— А почему бы не пойти дальше? Ведь очень часто такие преступления совершаются именно из-за необходимости скрыть что-то, ставшее явным, заставить замолчать свидетеля, — настаивал я. — Мы не знаем, что произошло между Самохиным и убийцей в музее, и если предположить, что грабеж музея — только отвлекающий маневр, имитация: ведь фактически все осталось цело, кроме...

— Кроме зеленого стенда. — Яков встал и взволнованно прошелся по комнате. — Знаешь что? Список его экспонатов у нас есть. Попроси Афанасия сделать схему расположения их на стенде, подобрать дубликаты, а мы посмотрим — может, что-нибудь и найдем. Знаешь, Серега, у меня уверенность, что мы все в гору взбирались, а сейчас — под горку побежим.

*— Скажут, что на нашем дуэле  
пролилась не кровь, а шампанское...*

*В. Одоевский*

### *Суббота*

В этот день мы действительно, по выражению Якова, бежали под горку. Видимо, пришла тому хорошая пора, когда отпадают проверенные версии, когда перечеркнуты ложные следы, когда все детали постепенно начинают, сталкиваясь, смешиваясь, еще неохотно занимать свои места в общей картине, когда цель, еще не ставшая достигаемой, уже видна.

Войдя в нашу комнату, я остолбенел: Яков разве что вприсядку не прыгал. Как старый добрый дедушка, желающий порадовать любимого внука сюрпризом, он поманил меня пальцем и ткнул им в крышку стола.

— Угадай, что там?

— Убийца Самохина, — проворчал я, еще не заразившись его радостью. — Не тесновато ему там?

— Еще две попытки.

— Сдаюсь.

— Ну вот, — по-детски обиделся Яков. — Всегда ты так: никогда не бьешься до конца. И мне такой фокус испоганил.



Он выдвинул ящик: в нем лежал нож.

— Он? — обрадовался я.

— Он, голубчик, прости господи.

— Откуда, что, как?

Яков жестом щедрого гуляки бросил на стол листок с заключением эксперта. Я даже не заметил, откуда он его выхватил, — в самом деле, уж не из рукава ли?

Пока я лихорадочно пробежал заключение, Яков рассказал мне, что нож принес Волков — нашел в своей машине, под сиденьем. Экспертиза подтвердила: этим ножом был убит Самохин. Правда, на лезвии и рукоятке были обнаружены следы рук только самого Самохина. Но это уже был хороший, четкий след встревоженного преступника.

А потом, когда Староверцев подобрал в запаснике дубликаты зеленого стенда, мы уже этот след потерять не могли. Дело в том, что на стенде не оказалось фотографии, где была заснята казнь подпольщиков.

— Кстати, имитацию ограбления музея ради похищения этой фотографии подтверждает, пусть и косвенно, тот факт, что нож подбросили именно Волкову, согласен? — сказал Яков и задумчиво добавил: — Но ведь ее нет... и не будет.

И тут я почувствовал, что он стал нервничать. Его волнение передалось и мне. Но Афанасий Иванович поспешил успокоить нас: и трофейный аппарат, и оригинал фотографии, с которой делали большую, для стенда, — все это осталось в музее. Можно снова ее переснять, чего проще.

— А где она? — спросил Яков.

— У меня в кабинете.

— Вы уверены? — встревожился Яков. — Ведь у вас тоже бывали.

— Уверен, уверен, товарищ Щипцов. Кому она нужна? Я сейчас принесу.

И Староверцев поднялся к себе.

— «Уверен, уверен», — передразнил его Яков. — А я вот не уверен.

Староверцев долго не возвращался.

— Пойдем к нему, — не выдержал Яков.

Мы вошли в кабинет. Афанасий Иванович рылся на полках. Он повернул к нам растерянное лицо.

— Ну что? — быстро спросил Яков.

— Вот, — Староверцев протянул фотоаппарат. — Вот тот самый аппарат. Цел и невредим.

— А фотография?

— Фотография? — неуверенно переспросил Афанасий Иванович. — Фотографии я что-то не могу пока найти.

Мы переглянулись.

— Она лежала прямо на аппарате, вот здесь, завернутая в папиросную бумагу, надписанную карандашом. Вот здесь, в шкафу. Но что-то я ее не вижу.

— И не увидите, — вздохнул Яков. — Не найдете.

Он вытащил из-за шкафа скомканный лист папиросной бумаги с карандашной надписью.

Мы вышли на берег реки, медленно поднялись на вал и сели на скамейку, смахнув с нее мокрые листья. Яков, подняв воротник, рассеянно курил, ронял пепел на колени. Я чертил прутиком по земле, собирал им в кучку опавшие листья и по порядку вспоминал все, что знал об этой фотографии. В ушах у меня звучал Сашин голос: «Эту фотографию принес нам один красный следопыт вместе с целой горой имущества какого-то немца: фотоаппарат, бинокль, записные книжки, письма и даже Рыцарский крест с мечами, орден такой фашистский. Все это валялось в сарае его деда, в старом самоваре, и в общем-то неплохо сохранилось. А фотографии особо повезло: она пролежала все эти годы между чистыми страницами блокнота. Правда, немного поработать с ней пришлось: возили ее в Званск, в фотоателье, на ретушь. Там же ее пересняли и увеличили...» Ага!

Я хлопнул Якова по плечу. Он едва успел подхватить очки и недовольно посмотрел на меня.

— Все в порядке, Яша! Фотографию переснимали в Званске, оригинал — я имею в виду. Его переснимали в званском фотоателье, чтобы увеличить. Там мог сохраниться негатив.

— Они обязаны их хранить, а если нет, то хотя бы контрольки, — подхватил Яков. — Прекрасно! Дуй сейчас же в Званск, к фотографу, и, если, конечно, пленка цела, закажи ему один отпечаток того же формата, что был на стенде, понял? И заberi у него негативный кадр с этим снимком. Сделаешь?

Фотограф — старенький, дружелюбный и разговорчивый — чуть ли не обиделся на мой осторожный вопрос, как долго он хранит негативы.

— С тех пор, как я работаю здесь. А тому уже двадцать лет миновало. Вот смотрите, — он направился к самодельному, во всю стену, шкафу со множеством ящичков. На их крышки были наклеены таблички с буквами — латинскими и русскими и цифрами — римскими и арабскими.

— Моя собственная система каталога, — с гордостью отметил он. — Так сказать, двойная шахматная. Она позволяет при необходимости отыскать негатив любой давности в течение тридцати секунд.

— Не может быть, — очень естественно усомнился я. — Ничего подобного не видел.

— Сейчас увидите, — пообещал фотограф, доставая из ящика стола толстую тетрадь. — Загадывайте.

Я подумал и «загадал».

Старичок сунул нос в тетрадь, черкнул карандашом, поднял глазки к потолку, пошевелил губами и ткнул пальцем в один из ящичков.

— Десять секунд, — отметил я.

Он быстро выдвинул ящик, пробежал по конвертам сухими ловкими пальцами, вытянул один и показал мне.

— Ну как?

— Изумительно, — прошептал я, подходя к свету. — Просто невероятно.

Фотограф смущенно мял руки.

— А нельзя ли с него сделать отпечаток? Форматом что-нибудь тридцать на сорок?

— Э! — пригрозил мне пальцем догадливый старичок. — Вот к чему все это было нужно! Вы такой же корреспондент, как я сотрудник уголовного розыска. — Он засмеялся, очень довольный своей шуткой. — Но — понимаю и молчу. И сделаю сейчас же.

— У меня будет еще одна просьба. Нельзя ли получить этот негатив на пару дней?

— Только с отдачей! Непременно с отдачей! Иначе из моей системы выпадет целое звено. А ведь вы убедились, что ей цены нет?

Он взял негатив и скрылся в комнатке за тяжелой шторой, откуда продолжал громко говорить. Я уселся поплотнее, положил на колени старый номер «Советского фото» и прослушал увлеченный рассказ фотографа о его необыкновенном щегле, который справлял свои делишки только в старую чернильницу, для чего научился сталкивать с нее клювом крышку. Поддерживать разговор мне не удавалось, да я и не делал попыток.

— Вот, пожалуйста. — Он протянул мне еще чуть влажный снимок.

Я нетерпеливо схватил его. Так и есть! Теперь этот снимок не вызывал, как раньше, неосознанного раздражения какой-то неясной деталью, напротив: я уже точно знал, что привлекало в нем мое внимание. Лицо полицейский, который натягивал веревку. Оно казалось мне странно знакомым. Где я мог его видеть? В каком фильме?

— Спасибо! Большое спасибо. Вы очень помогли нам. — Я горячо поблагодарил старика.

— Ну что вы! Не стоит благодарности. Подождите, вы же хотели взять негатив. Да нет же, не в карман. Вот конверт — вложите в него. Аккуратнее, ради бога!

Щитцов говорил по телефону. Увидев меня, он бросил трубку, не окончив фразу. Я показал ему снимок.

— Подожди. Я сейчас.

Яков сорвался с места и бойким воробьем порхнул за дверь.

— Я тут кое-что предпринял, — сообщил он, вернувшись.

— Что именно?

— Об этом потом. Много будешь знать — плохо будешь спать.

— Я теперь и так плохо сплю.

— Тем более, — разговаривая со мной, Яков шарил в ящиках стола, и его лысая голова то появлялась, то исчезала за краем крышки. — Сергей, у меня есть мыслишка.

— Неужели? — удивился я.

Яков оставил без внимания мою реплику:

— Что, если вдруг возникнет слух, будто у Афанасия случайно сохранился еще один экземпляр фотографии. Ура? Ура! Негатив пропал — ладно, что же делать, но фотография есть, причем одна-единственная, — понимаешь? — Яков внимательно посмотрел на меня. — Одна. Последняя.

Я молча кивнул.

— Значит, зеленый стенд — гордость раздела — можно уже восстановить. Очень радостно и очень безобидно, верно?

— Верно. Это я сделаю. И Афанасия подключу.

— Не то чтобы подключу, надо, чтобы в основном

эта информация исходила от самого Староверцева. Ты понимаешь?

— Хорошо.

— Теперь вот что, — продолжал Яков, листая расписание поездов и делая пометки в блокноте. — Что у нас сегодня? Пятница, суббота? Ах, да. К вечеру будь готов, а сейчас езжай в Дубровники и действуй. В остальном, пока меня нет — никаких развлечений! Обещаешь?

— Как получится. А ты?

— Я приеду попозже. Мне надо здесь кое-что подготовить. Давай не задерживайся: ты мне мешаешь. Вечером встретимся в музее. Тебе, как внештатнику, оружие положено?

Надо сказать, что Афанасий Иванович свою часть задачи выполнил настолько безупречно и с такой артистичностью, что даже Выпивка, охладевший к музею в связи с событиями, приведшими к его закрытию, явился выразить свое удовольствие.

Вечером я заглянул в гостиницу: мне надо было что-то доплатить, сейчас уже не помню. Пока Оля искала мою карточку, я машинально перелистывал лежащее на столике расписание поездов. И тут я обратил внимание, что субботний поезд приходит в Дубровники на два часа раньше будничных. Видимо, Яков второпях проглядел, и «гостя» в музее надо ждать раньше.

Что мне оставалось делать? Мы договорились собраться в музее к одиннадцати, но теперь я не мог дожидаться назначенного часа. Якову сообщить я тоже не мог, он наверняка уже в дороге. И я пошел в музей один.

Мы заранее позаботились, чтобы одно окно в музее — самое удобное с определенной точки зрения — осталось незапертым. Через него я и попал в здание со всей доступной мне ловкостью.

В полной темноте, с трудом ориентируясь, я пробрался в зал, где стоял зеленый стенд, и в первую очередь убедился, что фотография на месте. Потом отыскал выключатель, поставил к стене рядом с ним стул и уселся так, чтобы видеть и обе двери, и стенд.

Ждать пришлось не очень долго. Но так как постоянное напряжение в ожидании опасности действует отупляюще, то через полчаса я уже покачивался на стуле, как сонный ночной сторож на своем ящике.

И вдруг что-то вывело меня из дремотного оцепенения. Нет, я не услышал ни звука — просто моего лица коснулся легкий сквознячок, и я понял, что кто-то открыл окно. Только тут мне пришло в голову: а на что я, собственно, рассчитываю? Этот человек уже убил Самохина, который чем-то помешал ему. Что остановит его сейчас? Фонарик, который я сжимаю в руке?

Послышались тихие шаги. Вернее, не слышались — человек шел бесшумно, как волк — я просто почувствовал их всей кожей.

В дверях возник темный силуэт. Человек стоял долго, втянув голову в плечи, опустив руки вдоль туловища, и осматривался, привыкая к темноте, прислушиваясь.

Наконец он так же бесшумно, чуть пригнувшись, прошел в зал и подошел к стенду. Я немного подождал, услышал тихий звук, шелест и включил свет.

Он резко обернулся. Я бы не узнал его, если бы в первую секунду, когда он, обернувшись, увидел меня, его лицо не приняло на мгновение наивно-придурковатого выражения. Он был одет в ватник и сапоги, под ватником — толстый свитер, на голове — плоская кепчонка. В руке Выпивки была зажата фотография. Он скомкал ее, медленно засунул в карман.

— Руки вверх! — твердо сказал я и опустил руку в карман куртки. — Вверх! Или буду стрелять.

Выпивка ухмыльнулся, будто оскалился. Я был поражен его мгновенным преображением. В правой руке у него появился длинный трехгранный штык. «Когда он успел его снять?» — мелькнула мысль. Этот штык тоже был на стенде — подпольщики пользовались им для заземления рации.

Выпивка, пригнувшись, медленно пошел на меня. Вот так же он, наверное, шел на Самохина. Я, не отрывая от него глаз, нащупал рукой спинку стула, приподнял его и прижался к стене.

Его совершенно круглые, остановившиеся глаза, не видящие ничего, кроме человека, узнавшего его страшную тайну, медленно сужались, пока почти не сомкнулись ресницы, сквозь которые злым огоньком сверкал звериный взгляд. Лицо Выпивки резко исказилось, в нем не оставалось уже ничего человеческого. Он отвел руку назад.

— Спокойно, Сережа, — негромко сказал Саша. — Оставь-ка его мне. — Он стоял на пороге со шпагой в руке.

Выпивка замер.

Саша поправил перчатку и подтянул рукава рубашки. Мне показалось, что он сейчас поднимет руку и, шелкнув застежкой, изящным движением отбросит длинный голубой плащ с белым крестом на левом плече. Саша несколько раз резко взмахнул шпагой — ее лезвие, холодно блеснув, хищно свистнуло в воздухе — и стал в классическую позу фехтовальщика, подняв вверх левую руку с растопыренными пальцами, будто бережно держа в них тонкий, почти невидимый бокал с драгоценным вином, ни капельки которого нельзя пролить.

Выпивка рванул ворот ватника и бросился на Сашу. Мне стало страшно за него: Выпивка размахивал штыком, колот и бил наотмашь. Но боялся я напрасно: Саша был великолепен! Его гибкая фигура разве что не завязывалась в узлы, шпага сверкала молнией. Отражая удары, он успевал плашмя ударять Выпивку по заднему месту, по руке, в которой был зажат ржавый штык, — явно злил его, быстро, умело накаливал.

Выпивка злобно шипел, получая удары, бессильно скалился зверя. Но у него было одно серьезное преимущество: он хотел и мог убить Сашу. А Саша только защищался.

Но не так уж он был беззащитен, этот юный мушкетер.

Мне казалось, что я вижу все это во сне, что в этом темном старинном зале сам князь Оболенский со шпагой в руке сражался за свою честь, за непреклонную справедливость возмездия. Звенели шпаги, металась тень дерущихся насмерть людей. Я видел то злобное, жестокое лицо Выпивки, то Сашино — с застывшей улыбкой на худом мальчишеском лице. Вмешаться я никак не мог: боялся отвлечь внимание Саши, помешать ему.

Саша отступал к стене, он явно хитрил. И Выпивка, потеряв голову от бессильной злобы, сделал прямо-таки зверский замах. Неуловимое движение шпаги, едва заметный поворот, и Саша направляет его страшный удар в стену. Выпивка, не удержав своего тяжелого, крепкого тела, вонзает в нее штык, который ломается с громким хрустом, и со всей силы ударяется лбом в косяк.

Теперь моя очередь. Я бросаюсь к нему, хватаю его правую руку, выворачиваю ее и валю Выпивку на пол. Пока он не опомнился, ловлю другую руку и, задрав ему ватник, выдергиваю пояс из его брюк и стягиваю ему локти. Выпивка рычит и катается по полу.

Саша отбросил шпагу.

— Приложи что-нибудь холодное: он тебе глаз подбил.

— Ну да, — удивился я. — А я и не заметил.

— Локтем зацепил, когда ты его повалил.

Саша снял со стенда снарядную гильзу и прижал к моей щеке. Я почувствовал боль.

— Как ты попал сюда? — спросил я, переведя наконец дух.

— Свет увидел в окне, — коротко ответил Саша. Он поднял шпагу и внимательно осмотрел ее лезвие, будто все остальное его нимало не заботило.

— Надрать вам уши? — В дверях появляется Яков и подходит к Выпивке. — Живой хоть?

Выпивка молчит. Двое, как говорится, в штатском, рывком ставят его на ноги.

— Поехали, — коротко говорит Яков. — Ох и будет мне влупка от начальства!

*— Не нужно ни слез, ни прощаний; это все бесполезные ветви, которые умный садовник должен тщательно обрезать...*

*В. Одоевский*

## *Воскресенье*

Машина остановилась, мы вышли, посмотрели, как из другой машины вывели Выпивку, и поднялись в кабинет к Якову.

Порывшись в столе, он протянул Саше длинный са- модельный нож:

— Этим ножом он убил Самохина. Узнаешь?

— Лезвие — из обломка шпаги, — кивнул Саша. — Так что же, это Выпивка ее украл?

— Нет, — покачал головой Яков. — Украл шпагу и сделал из ее обломка нож Самохин. — Он достал из шкафа кофейную мельницу и поставил ее передо мной. — Поработай-ка.

Я крутил длинную ручку мельницы, а Яков, доставая чашки, сахар и печенье, коротко рассказывал.

— Вашему Самохину ничто не пошло впрок. Ни заключение, ни заботы Афанасия. И вы не зря сомневались в нем: Самохин высматривал в музее что поценнее. С его, конечно, точки зрения. Афанасия, возможно, это



даже радовало: он считал, что в душе Самохина пробуждается любознательность, возникают интересы более безобидные, чем те, которыми он жил до сих пор. Самохин ползнул и по подвалу, нашел и расчистил проход через оранжерею. Это и подтолкнуло его на решительные действия. Но главное — он узнал на фотографии Выпивку, а Самохину был нужен помощник, надежный по-своему человек. В свою очередь, Выпивка присматривался к нему, понимая, что рано или поздно тот может быть полезен. Самохин советуется с ним. Видимо, Выпивка колеблется, тогда Самохин решает припугнуть его. Но что Самохин? Шавка. Он не знал, с кем связывается. — Яков поставил кофейник на плитку и продолжал рассказ: — Возможно, они столковались, но у Выпивки было, несомненно, другое на уме. Раз узнал его Самохин, то, понятно, гарантий для безопасности никаких не остается. Нужно убрать и его, и фотографию. Дело, которое предложил Самохин, устраивало Выпивку именно по этим причинам. Под надежным прикрытием — я имею в виду ограбление музея — он мог уничтожить и фотографию и ее оригинал, найти который не составляло труда: такие уж у вас в музее порядки, все на виду. Когда были собраны ценные вещи, Выпивка ударил Самохина его же ножом, тот побежал. Выпивка плохо знал подвал и не догнал его. Когда за Самохиным закрылась дверь в оранжерею, он не смог открыть ее, долго искал следы, зажигал спички, но безрезультатно. Самохин пробрался в номер, но рана была смертельна... Выпивка вернулся в музей, ободрал стенд и, видно, успокоился, когда стало известно, что Самохин убит и труп его найден не в музее, а в гостинице. Потом он рискнул добыть оригинал снимка и уже мог считать себя победителем. Вот тут-то мы и подкинули ему приманку — вторую фотографию.

— Здорово, — сказал Саша.

Во время рассказа Яков, казалось, совсем забыл о нем. И обо мне тоже. Он не рассказывал, он просто воссоставлял в уме всю картину событий.

— Все, что вы сегодня натворили, нужно оформить, хотя пользы от этого будет немного. Фактически, задержание с поличным вы мне сорвали. Садись вон там, — кивнул он Саше на дверь в другую комнату, — и напиши сочинение на вольную тему: «Как я провел самый интересный день в моей жизни».

Саша взял бумагу и вышел. Когда он записал свои

показания, Яков отправил его в Дубровники, а мы устроились прямо в кабинете, в креслах, надеясь немного вздремнуть.

— Ты понял, почему у него такая странная фамилия?

— Догадываюсь. Он, видимо, в свое время добыл чужие документы, и фамилию прежнего владельца легче всего было исправить именно таким образом.

Яков просмотрел показания Саши и, хмыкнув, дал мне их прочитать. Саша исписал шесть листов, где в основном перечислял и, так сказать, обосновывал те приемы фехтования, которые он применил в поединке.

Я усмехнулся:

— Яркие показания. Тебе еще придется посидеть над их расшифровкой.

Яков тепло улыбнулся:

— А все-таки молодец парень!

— Еще бы! Если бы не он, кто знает, не лежал бы я сейчас в темном зале со ржавым штыком в животе.

Утром Яков как следует отчитал меня, не щадя моего самолюбия, не считаясь со старой дружбой.

— Мне прокурор из-за тебя выговор обещал устроить. И правильно! Но ведь я тебя предупреждал! И не раз! Честное слово, Сергей, ты прямо как частный детектив работал. А ведь не новичок, профессионал — знаешь, что можно и что нельзя. Могу напомнить: «...Следователь на общественных началах не имеет права самостоятельного производства следственных действий, допрашивать свидетелей, изымать вещественные доказательства...» и т. д. Я тебя просил Черновцова допрашивать? А Сашкин формуляр в библиотеке искать? И в музей ты один, безоружный поперся! Это ж надо удумать! Молчи, молчи!

Я и не пытался оправдываться, сидел и помалкивал — Яков во многом был прав. Конечно, я увлекся расследованием, забылся... Хорошо еще, что все кончилось благополучно.

— Ладно, Яшка, виноват — зарвался...

— То-то! Ну все — работать надо.

Яков по всей форме допросил меня, потом еще раз — Сашу и, забрав магнитофон, провел допрос Выпивки. Позже он кое-что рассказал мне об этом допросе.

Якову было важно преждевременно не насторожить Выпивку, исподволь подвести его к главному признанию, и удалось ему это блестяще. Поскольку Выпивка

мог лишь догадываться о причинах его ареста, Яков подбросил ему приманку, предъявив обвинение в попытке совершить кражу в музее (обвинение, кстати, довольно шаткое — ведь улики как таковых у Якова не было). Но Выпивка жадно бросился на эту приманку. По словам Якова, он всем своим видом выражал стыд, раскаяние, страх перед неизбежным наказанием.

В течение своего рассказа Яков время от времени включал в нужном месте магнитофон, и я имел возможность прослушивать некоторые отрывки их диалога:

«Выпивка (*взволнованно*). Поверьте мне, я даже не знаю, как это получилось, как возник в моем сознании этот грязный замысел. Мне нет оправдания. Но знайте и запишите: мне никто не помешал там, в музее. Я сам, осознав низость своего поступка, отказался от гнусной кражи народного достояния.

Щитцов (*спокойно*). Что же, я рад за вас. Ваше благоразумие вам же пойдет на пользу. Но у меня есть сведения, что в ту ночь вы были не один, не так ли? Молчание.

Щитцов. Вернемся к событиям прошедшей ночи. Вы уверяете, что пришли в музей за портфелем. Зачем же вы набросились на гражданина Оболенского? Ведь вы хорошо знаете его, и он вам ничем не угрожал.

Выпивка. Угрожал, именно угрожал. Ведь все это было подстроено, ведь за дверью ожидал своей очереди этот юный бандит. Кстати, заметьте, что его показания нельзя принимать всерьез — у него личные счёты со мной, мы имели очень серьезные разногласия в отношении моей творческой манеры. Вот вдвоем они меня и схватили. Видимо, хотели загнать в подвал, как Самохина, да вы вовремя вмешались, спасибо.

Щитцов. А кто вам сказал, что Самохин был в подвале? Ведь его убили в гостинице.

Молчание».

— Деваться некуда, — продолжал Яков, выключив магнитофон. — Сейчас у него пойдет второй вариант, за который, заметь, высшая мера ему тоже не грозит.

«Выпивка (*с пафосом*). Хорошо, я все скажу. Я убил Самохина. Но почему, вы спросите? Я считаю, что совершил патриотический поступок. Ведь это не я, это уголовник Самохин намеревался совершить кражу в музее. А я лишь пытался помешать ему. Вы посмотрите на меня — я стар, а он был молод, полон сил и вооружен. И все-таки я не испугался. Правда, истины ра-

ди — это обязательно запишите, — все получилось случайно, в борьбе. Убийство было непреднамеренным. Но, совершив такой неосторожный поступок, я все-таки помог нашему народу, сохранив для его эстетического воспитания исторические ценности. И я готов понести заслуженное наказание.

Щитцов. Ну что ж, я думаю, суд учтет все обстоятельства этого печального события и, в частности, высокие мотивы, толкнувшие вас на преступление. Теперь — некоторые детали. Вот посмотрите эти фотографии, может быть, вы узнаете кого-нибудь из этих людей?

Шелест, молчание, вздох.

Выпивка. Вот эта мне знакома.

Щитцов (*равнодушно*). Кто это?

Выпивка. Гражданин начальник, только мое искреннее уважение к вам не позволяет мне высказать искреннее возмущение. Нельзя шутить в такое время. Ведь это же моя фотография.

Щитцов (*настойчиво*). Значит, вы подтверждаете, что это ваша фотография?

Выпивка (*с обидой*). Подтверждаю.

— И вдруг, Сережка, он, знаешь, потеть начал. Я в жизни такого не видел, капли по лицу бегут с горошины. Он их рукавом стирает, а рука трясется. И тут уж я иду с главного козыря: сообщаю ему, что на снимке его лицо с той самой фотографии, которую он пытался уничтожить. Лицо палача, который, улыбаясь, затягивает петлю на шее подпольщика. Мы, говорю, только чуточку с ней поработали: пересняли и увеличили...

Яков и сам волнуется, рассказывая мне об этом. Он закуривает и снова включает магнитофон.

«Выпивка (*с деланным возмущением*). А позвольте узнать, по какому праву вы проводили этот сомнительный эксперимент именно с моим лицом. Таким способом и вас, простите, можно загримировать под кого угодно.

Щитцов. Можно, конечно, можно. А вот это тоже можно сделать? (*Шелест бумаги.*) Это заключение специалистов, что здесь, на снимке, именно ваше лицо — разрез глаз, расстояние между ними, очертания подбородка, впрочем, это вам не нужно объяснять. А вот (*шелест бумаги*) некоторые показания ваших жертв. Я имею в виду тех, кто остался в живых, в чем, конечно, далеко

не ваша заслуга. (*Резким тоном.*) Так что же, будете говорить?»

Я подходил к музею. Осеннее солнце висело так низко, что вся улица застыла в глубокой тени от домов и деревьев. Было прохладно, свежо, и казалось, это утро очень хочет запомниться — такое оно было крепкое и чистое.

Афанасий Иванович, оживленный, полный новых забот, сердечно попрощался со мной, посетовал на печальные обстоятельства, омрачившие наше знакомство, и выразил надежду на скорую встречу.

Саша, нетерпеливо приплясывавший рядом, бесцеремонно прервал наше затянувшееся прощание и потянул меня в номер Оболенского.

— Представьте себе, милейший доктор Ватсон: мрачная ночь, в трубах завывает ветер, он гремит ставнями и бросает в окна горсти холодного дождя. Далеко за лесом, в черной степи, дико воют собаки — они предчувствуют беду. Простодушный Оболенский закрывается в комнате, кладет рядом заряженный пистолет и пишет своим друзьям о подлеце Шуваеве. А в это время неслышными тенями пробираются по оранжерее люди коварного графа, сжимая в руках толстые свечи и длинные ножи. На чердаке каркает ворон. Беззвучно поднимается щит, холодный сквозняк задувает свечу. Оболенский вскакивает и хватается пистолет. Но поздно... Люди графа тихо скрываются, унося с собой бесчувственное тело князя. В комнате остается граф Шуваев. Он читает недописанное письмо и сжигает его в пламени свечи. Ночь, мрак. Только на полу лежит оторванная в схватке пуговица. А?

Я стоял у окна, слушал его и думал о том, как заразительно, как трудноистребимо зло. Из века в век тянется оно тяжелой цепью, путаясь, скручиваясь в ржавые узлы. Но, как сказал бы Саша, когда-нибудь мы разрубим ее, пусть и не одним ударом, и сбросим на дно самого глубокого старого колодца, и засыплем доверху землей, и вкатим на это место большой серый камень с подобающей случаю эпитафией.

Мы медленно прошли через весь городок, и я заметил, что за эту неделю в него совсем пришла осень. Дождя не было, но ветер гнал по улицам серые и жел-

тые листья, которые шумели, как дождь в ту ночь, когда я приехал в Дубровники.

Оставив Олю и Сашу на платформе, я забежал в станционный буфет. Около стойки бойким петушком топтался Черновцов. Усатая буфетчица растроганно квохтала курицей.

Я взял сигареты.

— Жди, Черновцов, скоро и до тебя доберемся.

Он презрительно оглядел меня и неожиданно даже для себя срифмовал:

— А мне на вас — начхать семь раз!

Усатая курочка, заглядывая ему в глаза, с готовностью рассмеялась, хотя и было видно, что ничего не поняла.

Я вышел на улицу.

— Я пришлю тебе снимок, — сказал я Оле, когда мы снова поднялись на платформу.

Она кивнула:

— Приезжайте к нам снова.

— Только не с такими сюрпризами, — пошутил Саша.

Я пожал ему руку.

— Спасибо, Саша. Ты был великолепен в этом поединке. Очень жаль, что Оля не видела его.

Он смутился, помялся, потом сунул руку в карман и что-то протянул мне.

— Это тебе. На память о наших приключениях.

На его ладони лежал маленький двустольный пистолет. Потемневшая рукоятка и ложа были искусно инкрустированы медными пластинками и проволочками.

— Что ты, Саша? Разве можно?

— Не бойся, можно. Это не из музея, это копия. Я сам сделал. Он почти как настоящий. Бери. — Он даже покраснел от смущения.

— Саша, ты спас мне жизнь да еще делаешь такой подарок! — Я был растроган.

— Подумаешь! Я же говорил тебе, что недурно фехтую. Бери, бери. Может, он когда-нибудь взорвется у тебя в руках.

Подожел поезд. Оля протянула мне узкую ладонь. Я поднес ее к губам и поцеловал. Саша хихикнул:

— Барон, рыдая, вышел...

Я обнял его и вскочил на подножку. Поезд вот-вот должен был тронуться. И тут появился Яков: шарф в

кармане распахнутого пальто, шляпа сидит боком — топился.

— Помахать тебе приехал, — пояснил он. — Успел все-таки. Я прямо с оперативки. Работу нашу разбирали. В общем, похвалили нас, вернее — тебя, как общественного, за активность. На работу будут сообщать, а Сашку, наверное, ценным подарком отметят. Вот так. Зато шишки все мне. Краснел да мекал на разборе дела. Он, говорит прокурор про тебя, у вас, товарищ Щитцов, из-под контроля вышел, слишком самостоятельно работал. Вот и пойми. Ну ладно, я не в обиде. Давай езжай. В Москве уж небось на платформе оркестр строится, пионеры томятся. Езжай.

Поезд послушно тронулся. Яков шел рядом с вагоном и махал шляпой. То ли со мной прощался, то ли жарко ему было.

— Шарф подбери, — крикнул я. — Наступишь и упадешь. Будет смешно!

Яков как-то застенчиво улыбнулся и остановился, засовывая конец шарфа поглубже в карман. К нему подошли Саша с Олей. Они смотрели вслед поезду, а потом вместе пошли в город.

Я сунул руку в карман, чтобы достать сигареты, и нащупал что-то мягкое. Это была черная перчатка на левую руку. Внутри ее зашуршала бумажка. «Помни Дубровники до смерти», — было написано на ней черным карандашом, а внизу нарисован твердой рукой улыбающийся череп в ковбойской шляпе со скрещенными костями под челюстью. Я улыбнулся, но мне стало грустно.

Я долго стоял в тамбуре, курил и смотрел в окно. И долго видел Дубровники — голые ветки деревьев, дымок над крышами, старинная церковь. Ни время, ни люди не смогли остановить стремительный бег ее куполов в синее небо. Они волнами взлетали над городом и были похожи издали, среди высоких деревьев на тяжело поднимающийся клин больших белых птиц...

Он шагнул внутрь и почти наклонился на створку. Максим Степанович, прислонившись плечом к стене, притянулся к ней шеей, стал, безвольно свесив руки...

Видно, кому, кто первым назвал этот край Синтеречьем, довелось редкое счастье уви-  
деть его с высоты птичьего полета.

## ПЕРВОЕ ДЕЛО



— СЛУШАЙТЕ, ЛЕЙТЕНАНТ. ЗАВТРА  
К ВЕЧЕРУ, ВАС ВУДЕТ СПЕДОВА-  
ТЕЛЬ ПЛАТОНОВ СТРУПНОЙ

Андрей следовал магази́н и медленно слез с крыльца. Все молча  
пробожали взирая на двух женщин, которые шли руки были в пьюмой рашутку...

Первым делом вскрыли ящик. Ворожен-  
ко, хотя и видел, что ящик был, не сдержал  
обширного вздоха — все деньги на месте...



-Вот, в шкапушке, заперла все. Дашутка вывинула ящик комод, подняла крышку шкапушки, всхлинула. Он ее укладкой называл. Шкапушка была пуста.

Вытравил бумажки на стол, Андрей вдруг почувствовал под рукой что-то твердое. Это был паспорт. Дашуткин.



ДАШУТКА  
НА ПЕРВЫЙ  
ВЗГЛЯД

-Да не кради мы, гражданин участковый. Просто взяли. Мы вернем все, заплатим. Ты уж не кажи нас строго. Ну что мы такое сделали?

Помочь Андрею, но он быстро почувствовал, что некоторые его вопросы камешками отскакивают от невидимой стены, и никак не мог уловить, где он натывается на упорное сопротивление.

Видно, тому, кто первым назвал этот край Синеречьем, довелось редкое счастье увидеть его с высоты птичьего полета. Старики уверяют, что так оно и было: в давние годы поднялся над глухим раздольем простой деревенский кузнец Савелий. Долгой слепой зимой, нетерпеливо меняя в затейливом светце лучину за лучиной, ладил он большие крылья из «воронова пера», а по весне, в самый разлив, велел мужикам вкатить на горку, которую с той поры и зовут Савельевкой, пустую телегу с подвязанными оглоблями. С затаенным вздохом перекрестивши чумазый лоб, положил кузнец на тележные борта доску, стал на нее в рост, сложив по бокам руки, плотно вдетые в черные мягкие крылья, свистнул залиvisto — и помчалась телега, гремя и подпрыгивая, давя тяжелым колесом первую траву, прямо к крутому обрыву, каким кончается над затопленным лугом ровный скат горы.

Ахнули мужики, обомлели. И которые покрепче, которые не прижмурили глаза в великом испуге, те видели: грянула телега на мокрый луг, взлетела обломками вместе с солнечными брызгами к самому небу. И в последний миг простой русский кузнец широко, рывком разбросил руки-крылья, блеснувшие серебром в весеннем свете, взмыл, поднятый неведомой упругой силой, и закружил по-над черным лесом. А мужики стояли, заслонясь от солнца корявыми ладонями, и молча смотрели, как носится над ними черная бесшумная тень, забирая все выше и выше.

Долго бы в тот день летал Савелий, да какой-то дремучий охотник, выходя из лесу и увидав над собой невиданную птицу, сильно испугавшись, сбил его каленой стрелой. Взмахивая торопливо одним крылом, кувыряясь, с треском врезался Савелий в верхушку черной ели, откуда бережно, с великим трудом сняли его мужики. Вылезая из помятых крыльев, кузнец, округлив глаза и морща губы, шептал: «Реки, братцы, кругом нас — синие-синие. Все вокруг синевой разлилось. А в

самую даль гляну — реки с небушком сливаются, в один — лазоревый — цвет идут».

Ошалевший охотник, повинившись, забрал Савелия в свою избу и усердно отпаивал горячей медовухой. Оправившись, кузнец поверил в силу своих крыльев и много раз еще поднимался к небу. Да, видать, живя у охотника, пристрастился к вину и уж без доброй чарки крыльев своих не надевал и как-то в сумерках налетел на колокольню. «Господь покарал», — вслед за попом твердили мужики, а кто посмелее ворчал: «Вино кузнеца сгубило. Не иначе». Оно и верно — народ в Синеречье хоть и не простой — головы светлые, руки умелые, но и гулять не дурак: вся деревня завьется — не остановишь. Многим, многим синереченцам вино крылья подрезало. Старики говорят: испокон веку так велось...

Савелия схоронили, крылья его, чтоб ребятишкам соблазна не было, сожгли, выпили за упокой «светлой души» и часто потом вспоминали: «Реки-то, братцы, кругом нас — синие-синие...»

## Глава 1

Андрею снилось детство. Будто спит он на сеновале, будто бьют сквозь дырявую крышу косые лучи утреннего солнца и вот-вот захлопает крыльями задиристый горластый петух, заорет негодующе и клюнет Андрея в голую пятку, чтоб не залеживался. Но вместо этого петух, кося злым умным глазом, подскочил к старому самовару, торопливо застучал твердым клювом в его гулкий дырявый бок и заполошным голосом колхозного пастуха Силантьева, стал быстро приговаривать: «Андрей Сергеевич! Сергеич! Вставай, беда на дворе!»

Андрей открыл глаза, повернул голову к чуть светлевшему окошку, за которым прыгало бледное лицо и метался тревожный крик.

Полгода назад он соскочил бы с кровати, прошлепал босыми ногами по холодным половицам к окну, распахнул бы его и, ежась от утренней свежести, позевывая, спросил недовольно: «Ну чего суетишься чуть свет?» Полгода назад, пожалуй, и в голову никому бы не ударило бежать к нему на исходе ночи со своей бедой. А сейчас участковому инспектору\* Андрею Ратникову нужно ми-

\* Должность указана в прежнем наименовании. В настоящее время — оперуполномоченный.

гом, будто и не снимал ее на ночь, надеть форму, застегнуться на все пуговицы, вбить ноги в сапоги и повесить на плечи новенькие, не обмятые еще ремни с планшеткой и тяжелым пистолетом. Можно не подходить к окну, не спрашивать, что случилось, а нужно сдвинуть чуть набок фуражку и идти за позвавшим его человеком, заперев за собой дверь, потому что — уже ясно — домой он вернется не скоро.

Силантьев схватил его за плечо, едва не сдернув с крыльца.

— Андрюшка, бежи скорей в сельпо. Неладное дело там — похоже со Степанычем совсем плохое стряслось!

Андрей сбежал с крыльца, на ходу плеонул в лицо из бочки и, вытираясь платком, быстро зашагал к магазину, сбивая сапогами с холодной травы еще мутные, не зажженные солнцем тяжелые капли росы. Несмотря на ранний час, по улице торопились, встревоженно перекликаясь, взбудораженные синереченцы — худые вести в мешке не залеживаются.

Силантьев поспешал сзади, шаркал спадающей с ноги калошей и, дергая Андрея за рукав, пояснял:

— Иду на скотный, а в сельпо, внутри, свет горит и двери враспаху. Заглянул, а Степаныч...

К магазину они, слава богу, подошли первыми. Сзади разве что не толпой валил взволнованный народ.

— Постой здесь, — распорядился Андрей. — Не пускай никого.

Он шагнул внутрь и почти натолкнулся на сторожа. Петр Степанович, прислонившись плечом к стене, прижавшись к ней щекой, стоял, безвольно свесив руки вдоль туловища, будто в большой усталости. Андрей едва не тронул его рукой и не спросил: «Ты что, Степаныч?» Но что-то неумолимое и неестественное в позе, в надломленной фигуре сторожа остановило его. Может быть, именно эта безмерная неисправимая усталость, та усталость, с которой уже не живут.

Андрей присмотрелся, увидел засохшую струйку крови на стене — будто узкая темно-багровая лента ровно протянулась от щеки убитого до самого пола, — обернулся и крикнул в дверь:

— Быстро кто-нибудь за врачом! Скорее!

Но ему уже было ясно, что врач может не торопиться.

За дверью пошумели, пошептались задавленно — видно, решали, кому бежать в больницу, — потом сно-

ва смолкли, и послышался вначале неуместно громкий, а потом затихающий топот чьих-то разбитых сапог.

До приезда врача Андрей внимательно осмотрел место происшествия. Тамбур магазина снаружи обычно не запирали — в дурную погоду сторож спасался в нем, если донимал холод или дождь. Отсюда вели две двери — влево, в подсобку, забитую до потолка тарой, и вправо, в магазин, в торговый зал, как говорил завмаг. Правая дверь, видимо, сильным ударом была сорвана с верхней петли и, держась на одной нижней и замке, висела боком. Андрей потрогал торчащие из петли ржавые шурупы, крошил пальцами трухлявое дерево дверной коробки, обвел мелом и замерил несколько грязных следов ног, подобрал и уложил в пакеты два папиросных окурка и шариковую авторучку — из тех, какими пользуются младшие школьники. И все это — под неподвижным взглядом открытых глаз Степаныча.

Андрей не сразу понял, почему он не падает, почему мертвый человек стоит в таком странном положении. А поняв — ужаснулся: Степаныч фактически висел на торчащем из стены коротком железном штыре, пробившем ему висок. Когда-то на этот штырь забрасывали длинную петлю дверного засова, потом завмаг Ворожейко вешал на него ключи и свой синий халат, а теперь...

Наконец приехал доктор Федя — так звали его в селе, справедливо отдавая дань учености и умелости врача, но и сварливо намекая на его слишком мальчишеский облик. Доктор снял с багажника забрызганного грязью велосипеда допотопный саквояжик и пощелкал его блестящими замочками. К нему рванулась Дашутка — внучка сторожа, но он мягко отстранил ее — что, мол, я скажу тебе, если сам еще ничего не знаю, покивал расступившимся синереченцам и исчез за дверью магазина.

— Привет, Андрей. — Доктор нервно пощипал свою вечно сбитую набок, жиденькую бороденку, возвращенную с большим трудом и с неоправдавшей себя надеждой на солидность. — Как же это он так?

— Вернее: кто же его так? — мрачно поправил его Андрей.

— Ну-ка, помоги мне. — Доктор осторожно просунул ладонь за голову Степаныча, будто боялся сделать ему больно. — Скажи, чтобы из больницы машину прислали.

— Сейчас... Федор, ты ведь знаешь, с районом теперь связи никакой, кроме телефонной...

— Ну чем я могу тебе помочь? — Доктор Федя деловито сложил губы трубочкой, раздумывая. — Констатировать смерть я и так обязан. А в остальном... Ну ориентировочно ее причину укажу, время ранения приблизительно. Могу, если надо, сделать анализ крови на содержание алкоголя. Да вот, пожалуй, и все.

— Хорошо, Федор, действуй.

Андрей опечатал магазин и медленно сошел с крыльца. Все молча провожали взглядами двух женщин, которые под руки вели домой Дашутку, а потом, словно по команде, повернулись к нему.

— Сергеич, — выдвинулся из толпы Силантьев. — Ты не сомневайся. Не наши это.

Андрей не ответил, пошел, сжав зубы.

— Разве у кого из наших рука на него поднялась бы? — поддержал кто-то сзади. — Может, он сам неловко стукнулся? Посунулся в темноте, да и напоролся на этот болт, будь он трижды неладен.

«Если бы в темноте», — подумал Андрей и опять промолчал.

— Вы, Андрей Сергеевич, среди шабашников поищите, — посоветовал завмаг Ворожейко. — Люди пришедшие, разные. А своих мы всех знаем — никто у нас на такое не годится.

— Вы же сами только что показали, — не выдержал Андрей, — что из магазина пропал лишь ящик водки. Это ни о чем не говорит?

Ворожейко смутился и отстал. Удивленные и испуганные таким поворотом, отстали и мужички. Редко кто из них не бегал в магазин после закрытия за «добавкой», а то и ночью приводилось доуливать.

Проходя в свой кабинет, Андрей чуть не споткнулся о вытянутые ноги дремавшего на лавке в коридоре Тимофея Дружка. Эта собачья кличка прилипла к солидному когда-то человеку, скотнику Елкину, за его невинную привычку не в меру часто пользоваться этим ласковым обращением. Все у него были «дружки»: и председатель колхоза, и собственная жена, и даже злобный колхозный бык, который как-то в недобрый час подцепил Тимофея за ребро.

— Я готов понести полностью заслуженное мною на-

казание, дружок-начальник, — Тимофей вскочил, прилепнув босыми ногами. — Я провел здесь всю ночь — мучился своим вчерашним поведением.

Андрей молча стоял перед ним — не до Тимофея ему теперь было.

— Ну что там слышно новенького? Не стряслось ли чего в мое отсутствие? Гаму-то поутру много было. И ночью машина шумела.

— Иди пока, — нетерпеливо подтолкнул его Андрей. — Узнаешь. Только помни: в следующий раз перадам тебя в суд, понял?

— Я мигом, дружок-участковый, — гардероб только свой приберу и заявление сделаю. — Тимофей подобрал сапоги, перекинул через руку пиджак и свободную руку прижал к животу: — Учиненное мной безобразие — этот именно тот негативный фактор, который сыграл позитивную роль в моей жизни, он духовно переродил меня, и поэтому нет никакого смысла в его повторении...

— Иди, ради бога, — прервал его Андрей и прошел к себе.

С первого же раза ему удалось связаться с районным отделением. Дежурный соединил его с начальником.

— Ратников? Что у тебя?

Андрей коротко доложил.

— Что полагаешь? Несчастный случай? Преступление?

— От выводов пока воздерживаюсь, но на несчастный случай не похоже.

— Почему так думаешь?

— Двери нараспашку, а они изнутри закрываются, на засов, свет в помещении. Ну и кое-что похищено.

— Много взяли?

— Предварительно завмаг показал, что только ящика водки не хватает.

— Так, погоди, сейчас с прокурором тебя свяжу.

Андрей ждал, слушал шорохи в трубке, потрескивание, приглушенный голос начальника; потом что-то там звонко щелкнуло, и он услышал спокойный в своей деловитой уверенности голос прокурора:

— Слушайте, лейтенант. Завтра к вечеру у вас будет следователь Платонов с группой. Раньше никак не получится, да и с вертолетом не так просто будет. Вы там, как положено, проведите предварительное дознание, обеспечьте охрану места происшествия, закрепление

следов. Есть следы? Угу. Угу. Так. Так. Хорошо. Вот еще что: у вас ведь своя больница есть? И морг при ней, да?

— Я понял, — сказал Андрей. — Уже распорядился.

— Ну хорошо, желаю успеха.

— Спасибо.

— Ратников? Слышишь? — снова подключился начальник. — Ты завмага прошупай хорошенько, понял? Я, сам ведь понимаешь, помочь тебе только по телефону могу. Залило вас кругом — давно такого не было среди лета. Может, оно и к лучшему: тебе авторитет нужен. Как будешь действовать? Ага, правильно. Давай, Ратников. Вроде как будет первое твое дело, — начальник говорил — телеграммы отбивал. — Не торопись. Меня информируй. Завтра помощь жди. А может, и сам к тому времени управишься, а? Что молчишь, слышишь меня? С Иванцовым посоветуйся, что до тебя участковым служил. Мужик толковый. Ну будь, не тужишься.

Андрей положил трубку и сжал голову руками. Он вдруг почувствовал себя беспомощным и одиноким, как ребенок в лесу. Всего полгода работы — и вот такое серьезное, жестокое преступление на его участке. Он — вчерашний мальчишка, на плечи которого вместе с погонями легла и суровая ответственность, почувствовал ее сейчас в полной мере. Лейтенант милиции Ратников представляет здесь закон, и поэтому он отвечает не только за имущество, спокойствие и жизнь людей, но и за их доверие к закону. Значит, он, лейтенант Ратников, которого на селе еще нередко зовут по старой памяти Андрейкой, должен сам, чего бы ему это ни стоило, разыскать и задержать преступника.

## Глава 2

Ратников зашел к председателю колхоза с просьбой помочь организовать комиссию по проверке магазина. Иван Макарович был еще молод, ненамного старше Андрея, но дело свое знал хорошо, дотошно изучал специальную литературу, сильно уважал экономику и любил с каждым колхозником поговорить о научно-техническом прогрессе на селе.

— А на что тебе проверка? Положено, что ли? Завмаг же проверял: только ящик «коленвала» сперли. Ты что, сомневаешься?



— Да нет, не в этом дело, — неохотно пояснил Андрей. — Мне нужно точно знать: что завозили, что, сколько и кому было продано в последние дни и что похищено?

— А что же твоя дружина хоробрая? — ехидно посоветовал председатель, которому Андрей в свое время изрядно надоел с ее созданием. — Привлекай общественность.

— В этом деле специалисты нужны. Бухгалтера мне дашь?

— Сейчас посоветуемся. — Иван Макарович щелкнул клавишей селектора и позвал: — Виктор Алексеевич? Ну-ка, замполит, зайди на минутку. Тут наша милиция помощи требует.

Внешним своим обликом партийный секретарь походил на комиссара двадцатых годов: был крепок, ходил твердо и, часто, значительно покашливая, трогал косточкой указательного пальца толстые усы. Говорил веско, и голос его — обычно с ровной теплотой — нередко мог, если нужно, звенеть металлом. По плохой погоде он носил старое кожаное пальто, вытертое до маслянистого блеска, которое туго перетягивал широким солдатским ремнем, что еще больше подчеркивало его сходство с суровым бойцом революции.

— Здоров, лейтенант! — секретарь крепко пожал Андрею руку. — Если ты этого подлеца, что Степаныча убил, поймаешь, запри его подальше, понял? А если не поймаешь, сам скройся. Вот так!

— Ну-ну, ладно, — перебил его председатель. — Ты, чем грозиться, лучше включайся в комиссию. Вот Андрей Сергеевич просит магазин проверить.

— Кто ж откажется, когда милиция просит? Ты только, лейтенант, объясни подробнее, что тебе надо.

Они обсудили детали, и Андрей, уже собираясь уходить, спросил:

— Иван Макарович, ты, говорят, косарей сегодня ночью отправлял?

— Да, а что?

— Где они у тебя?

— Вся бригада в Аленкиной пойме.

— Я на мотоцикле туда проеду?

— Ни за что — давно так яростно не разливалось. Да и то сказать: неделя — дожди, неделя — ливни с грозами.

Аленкина пойма примыкала к правой стороне Савельевки, левый склон которой плавно спускался в Степанов лужок. В Синеречье издавна бытовала традиция: каждая молодая невеста утром в день свадьбы купалась в обильных луговых росах. Синереченские бабы свято верили: если окунешься на заре в росные травы поймы, родишь девочку, а если повалешься на лужке — мальчонку. Лет пятьдесят назад — об этом до сей поры помнят — одна бойкая строптивая бабенка, которой все бы делать поперек, пробежала нагишом по высоким холодным травам лужка, а потом трепанулась и на пойму. И что же? Родила двоих: мальчик чернявый, дочка — светленькая. «От разных отцов», — шутили, смеясь, мужики.

Пробираясь залитой тропкой, нащупывая ногами твердое, Андрей думал об обычае, который сложился уже на его памяти: парни, навсегда возвращавшиеся в родные края — с учебы, отслужив в армии, а то и «хлебнув города», — шли домой непременно через Савельевку и, скинув на ее верхушке одежду, вбегали, как в воду, в сверкающий травостой Степанова лужка, а уж потом, смыв с себя пыль дальних дорог, освеженные родными росами, входили в деревню начинать новую жизнь. Сам Андрей дважды омывался живительными соками Синеречья — отслужив в десантных войсках и после учебы в школе милиции, куда направил его комсомол.

С сожалением оторвался Андрей от земли. И хотя новая работа захватила его, хотя умом он твердо понимал, что делает нужное, достойное мужчины дело, нередко тосковал по привычному, извечному труду земледельца. Тянуло его порой и косою позвенеть, и покидать, наматывая скирду, тяжелые навильникипряно-пахучего сена.

В бригаду он подроспел к завтраку. Издалека потянуло домовитым дымком походного костерка, издалека увидел Андрей блестящие лезвия кос, ровно прислоненных к жерди, услышал, как косари, собираясь за стол, звенели мисками, смеялись.

Бригадир по фамилии Кружок — первый в Синеречье косарь — уважительно поднялся навстречу, отодвинул соседа локтем, освободил рядом с собой место.

— Нашей славной милиции, — шутливо приветство-

вал он Андрея, — почет, уважение и лучший кусок за столом.

Андрей поздоровался, вытер пучком травы сапоги и, сняв фуражку, сел к столу.

— С чем пожаловал? — полюбопытствовал Кружок, подвигая ему миску с картошкой и доставая откуда-то из-под стола, будто из сапога вытягивая, початую бутылку. — Примешь?

Андрей покачал головой.

— Скучный ты человек, — посмеивался Кружок, блестя глазами. — Молодой, а скучный. Я за тебя, знаю, все Светланку свою прочил. Нет, не отдам: подозрительный ты мужик — не пьешь, не куришь, крепкого словца не загнешь. Я вот за стол без стопочки ни разу еще не сел, как себя помню. Да ты что хмурый такой? Профилактику пришел проводить?

— Сегодня ночью Степаныч погиб. Похоже, убили его, — помолчав, сказал Андрей. — В магазине.

Косари погасили улыбки, встали — помолчали, покосились друг на друга.

— Что же это за черная душа отыскалась, а? — воскликнул Кружок.

Андрей пожал плечами.

— Смотри, Сергеич, чтоб к похоронам отыскал гадюку, не позже. Такой мы тебе наказ даем! Верно, мужики?

— Вы когда вчера отправлялись?

— Мимо магазина аккуратно в час ночи проходили. Василий еще посмеялся: давай, говорит, Степаныча побудим. А что?

— Свет был в магазине?

— Нет. Над дверью лампочка горела, а внутри не было света. Верно, мужики?

— Машину никакую не видели?

— Нет, и машины не было. Да и какие сейчас машины-то? — удивился Кружок.

— Машины не было, а трактор где-то, в Оглядкине вроде, гудел, — вставил молодой парень Василий. — По звуку — «белорус» похоже. Это, видно, механики с Сельхозтехники гуляли — застряли здесь, дождем их захватило. Делать-то им нечего, вот и гужуются...

— Ты бы к шабашникам заглянул, — перебил его Кружок. — Они возле Оглядкина клуб строят.

— Знаю, — ответил Андрей. — Загляну.

Косари встали, разобрали косы. Без шуток, понуро потянулись в луга.

— Попробуешь? — предложил Кружок, протягивая Андрею косу. — Развейся маленько, развлекись — от души и оттянет. Иль забыл, как ее и держать-то? Ты ведь теперь все больше карандашиком чиркаешь.

Андрей усмехнулся, взял косу.

— Смотри, дядька, пятки береги — отчиркаю. Карандашиком.

— Мне не отчиркаешь, — самоуверенно возразил Кружок. — Такой ловкач еще не родился. И не будет такого никогда.

Андрей встал за ним. Подождал, с удовольствием примериваясь, наливаясь азартом и радостным ощущением предстоящей праздничной работы, вдохнул полной грудью и пустил косу в траву. Взвизгнула коса, зазвенела, пошла с ровным деловитым посвистом. Брызнул на сапоги травяной сок, будто прозрачная кровь, ударил дурманящий, кисловатый, с детства знакомый, щемящий душу запах. Влажно зашелестев, падала зеленая стена, и сразу, покорно и обреченно, вставала за ней другая...

Кружок резво вырвался вперед — предусмотрительно увеличивал разрыв, справедливо полагая, что запас никогда не помешает. Шел быстро, чуть быстрее, чем надо, как заведенный работал длинными привычными руками, чисто играл навсегда отшлифованными движениями.

Андрей двигался ровно, приноравливаясь, едва заметно, но неумолимо, уверенно набирая темп, чувствуя, как от шага к шагу растут силы, ловчеют, крепнут взмахи, втягивается, подчиняется плавному ритму тело.

Давно он не испытывал такого наслаждения, такой оглушительной радости труда. И совсем было забыл, что соревнуется с лучшим косарем. Очнулся, когда прямо перед собой увидел белую, с темным влажным пятном между лопатками, рубаху Кружка. Тот зачистил, сбился.

— Посторонись, дядька! — в азарте крикнул Андрей. — Пятки убирай!

Кружок стал, опустив косу, тяжело дыша, провел рукой по лицу — смахнул тяжелые соленые капли.

— Загнал ты меня, Андрейка. Еще чуть — и дух вон.

— Это не я тебя загнал — это твои сто грамм пе-

ред обедом, — безжалостно, не оборачиваясь, сказал Андрей, обходя его и продолжая ритмично шаркать косой.

Шабашники стояли в школе. Старший — чернобородый цыган с мохнатыми бровями, которые гусеницами шевелились над умными спокойными глазами, с дыркой в ухе от серьги, в пестром жилете и выпущенной до колен рубахе — нехотя оторвался от работы и провёл Андрея в класс, отведенный бригаде для жилья.

Андрей оглянулся: парты сдвинуты к стене, аккуратно поставлены друг на друга, в углу — ровный слой сена, застеленный байковыми разноцветными одеялами, рядом в изголовье выстроились сундучки с замочками. Под столом — синий пластмассовый ящик с гнездами для бутылок. Он почти полон.

— Водочку в сельпо брали? — спросил Андрей, осматривая ящик.

— Не сами же гоним, — проворчал бригадир.

— Свадьбу, что ли, играть собрались? — усмехнулся Андрей. — Куда вам столько?

— Мы всегда цельный ящик берем, на весь срок. Чтоб не бегать — не пацаны небось, народ серьезный. А с ней и работа веселей идет. Ну и вечером — с устатку.

— Поутру-то не тяжко?

— А ничего, привыкли. Похмеляемся — и ничего, легчает.

— Без нее не пробовали работать?

Бригадир добросовестно задумался. Почесал бороду, вспоминая. Брови пошевелились, застыли в напряжении.

— Однако случалось как-то. Вот когда — не помню точно. Вроде до войны еще. Или нет? Не помню.

— До первой мировой, что ли? — опять усмехнулся Андрей. Он убедился, что водка не та — «Старорусская», да и брали ее раньше, два дня назад.

Бригадир, видимо, уже знал о случившемся в Синеречь, встревоженно наблюдал за Андреем, не выдержал:

— Что я тебе скажу, начальник? Мы, конечно, выпивающиеся, но ведь не голь последняя. Деньжата, слава богу, имеются. И чтоб ночью за бутылкой гонять, чтоб старого мужика из-за нее до смерти ударить — такого из наших никто не может. Ты мне верь!

— Никто, говоришь? Люди-то в бригаде разные, всякие.

— У меня не разные-всякие. Они у меня все отбор прошли — как в разведку выбирал. Я их вот как знаю! — Он сжал и поднял огромный кулак. — И вот так держу. Не сомневайся, милиция, не там ищешь.

Едва Андрей вернулся в село, ему позвонил доктор Федя. Освоившись с новой ролью, щеголяя терминами, как заправский судебный медик, доктор Федя говорил долго и нудно. Андрей отметил главное: «...проникающее ранение металлическим предметом (вышеназванным штырем) в область правой височной кости, повлекшее за собой мгновенную смерть потерпевшего... исходя из того-то и того-то (см. пп. 3—7), можно предположить, что ранение нанесено в пределах времени от 24 до 2 часов...»

«Значит, — подумал Андрей, — время я знаю почти точно — с часу до двух».

### *Глава 3*

Андрей отпер входную дверь магазина, распахнул окна, выглянул: к магазину направлялась его авторитетная комиссия. Впереди беззаботно бренчал ключами толстый Ворожейко, за ним, поблескивая большими очками («и для вдали, и для вблизи», как он пояснял), прихрамывал бухгалтер Коровушкин. Замыкал шествие внушительно шагавший Виктор Алексеевич, исполненный сознанием важности предстоящей миссии.

Первым делом вскрыли кассовый ящик. Ворожейко, хотя и видел, что ящик цел, не сдержал облегченного вздоха — все деньги на месте, да и не так много их было. Выгребая бумажки на стол, Андрей вдруг почувствовал под рукой что-то твердое. Это был паспорт. Дашуткин. Гражданки Алексеевой Дарьи Михайловны. Не сдержав удивления, он вопросительно посмотрел на завмага. Тот растерянно, тоже недоумевая, пожал плечами.

— Продавщицу пригласи.

— Нету ее, болеет. Я целиком за нее управляюсь.

Андрей нахмурился, молча сунул паспорт в планшетку.

Проверка магазина показала, по выражению пар-

тийного секретаря, «исключительно высокую финансовую дисциплину данной торговой точки». Ратников выписал для себя то, что было похищено: ящик водки, две бутылки коньяка, два батона вареной колбасы, несколько плиток шоколада. Смежный с продовольственным отдел промтоваров ничуть не пострадал. А ведь здесь были очень дорогие вещи. «Ничего себе убийство с целью ограбления, — подумал Андрей. — А может, все-таки не убийство и не ограбление?»

Ворожейко суетливо пошарил в карманах, пожал плечами и попросил у бухгалтера ручку, чтобы подписать акт и протокол.

— Обронил где-то свою, — расстроено пояснил он. — Ручка-то простенькая, школьная, а стержень в ней хороший был — густой.

— Голубой? — поинтересовался Андрей.

— Нет, черный — у меня к таким слабость.

— Так вы зайдите ко мне, — добродушно сказал Андрей. — Я на днях подобрал какую-то. Посмотрите, может быть, ваша.

Видно, Ворожейко все-таки уловил что-то в его голосе: отошел, стал смущенно записывать под кассовый ящик толстую захватанную тетрадь.

— А это что за документ? — протянул руку Андрей.

— Это, виноват, Андрей Сергеевич, так называемый «поминальник». Мне иногда приходится в долг отпускать, до получки — в основном спиртные напитки. Иду, можно сказать, навстречу пожеланиям. Но вы не беспокойтесь — на сегодняшнее число должников не числится.

Секретарь нахмурился, взял тетрадь, полистал, вернул ее Андрею и многообещающе посмотрел на завмага. Тот, поймав и правильно оценив этот взгляд, виновато потупился, толстые щеки его покрылись розовыми пятнами.

Когда работу в магазине закончили, Андрей попросил Виктора Алексеевича и Коровушкина зайти вместе с ним к Дашутке.

— В качестве понятых, что ли, — неловко пояснил он. — За Степанычем именной револьвер записан, надо изъять его.

Дашутка встретила их молча. С упреком и, как показалось Андрею, с затаенной тревогой в синих глазах взглянула на него, перекинула на грудь косу, пробежала по ней пальцами.

— Дарья Михайловна, — взял на себя трудную миссию секретарь. — Мы тебе все соболезнуем. Деда твоего крепко уважали и всегда помнить будем. Понимаем, как тебе тяжело, но — ты уж извини — сейчас мы к тебе по делу. Передай милиции дедов револьвер.

— Дедушка дежурил с ним. — Она крепилась, сдерживала плач.

— Где он хранил его? — мягко спросил Андрей.

— Вот, в шкатулке, запирал всегда. — Дашутка выдвинула ящик комода, подняла крышку шкатулки, всхлипнула. — Он ее укладкой почему-то называл.

Шкатулка была пуста.

— Ну я же говорю — он его с собой взял. Я на танцы уходила, дедушка вот здесь стоял. Пиджак распахнул и вот так, — она показала, как именно, — засовывал его в кобуру. Он всегда его так носил. Гордился, говорил — сейчас все чекисты так носят, — и заплакала, не удержавшись.

Секретарь переглянулся с Андреем, потрогал усы, покашлял:

— Ты помоги нам, девушка, поищи. Или нам позволь помочь. Верно, здесь он где?

Андрей походил для очистки совести по комнате, заглянул в чуланчик, снял с полки несколько книг — он уже понял, что надеяться нечего — револьвер исчез. При осмотре трупа сторожа Андрей видел на его боку под пиджаком пустую кобуру. Тогда он подумал, что Степаныч оставил револьвер дома. Выходит, не оставил. Плохо дело — совсем плохо. Андрей выходил последним, в дверях задержался и тихо спросил:

— Больше у вас дома ничего не пропадало?

Дашутка испуганно вскинула голову:

— Нет, ничего...

— А паспорт твой где?

— Не знаю.

— Как это не знаешь? Потеряла, что ли?

Дашутка молчала.

— Ну?

— Дедушка забрал.

— Что значит — забрал? Зачем?

— Не скажу. — Она даже шагнула вперед решительно. — Не скажу.

Андрей вздохнул — сразу поверил, что не скажет.

Совсем плохо дело.

Андрей снова позвонил в район.



— Как у тебя, Ратников? Что? Вот черт! Этого только не хватало. Ищи, родной, ищи скорее, пока этот револьвер больших бед не наделал. Расширяй поиск, дружину привлекай. Пусть молодежь спрашивают. Ну надо же! Вот беда-то!

Положив трубку, Андрей почувствовал, что теряет, что никак не может собрать воедино все факты и подчинить их одной цели, направить в одну точку. Строгого, последовательного розыска, как его учили, не получалось...

В дверь поскреблись, она приоткрылась, и в щель просунула голову старуха с нелепым именем Афродита Евменовна — та самая, что в молодости проводила свой бешеный эксперимент в лугах, а сейчас безмятежно откликалась на упрощенное подругами имя — Фронька.

Ничего доброго этот визит не сулил. «Опять что-нибудь ее корова выкинула», — вздохнув, подумал Андрей. С этой коровы, которую все село ехидно, с безошибочным чувством коллективного юмора, именovalo Венеркой, началась его беспокойная милицeйская служба. Неугомонная бабка в первый же день, как принял новый участковый дела, ворвалась в его кабинет с таким истошным воплем, что Андрей решил — либо пожар, либо космонавты сели рядом. Оказалось, пропала Венерка. Она вообще-то была какая-то ненормальная, шлялась по лесам, жрала грибы и, как уверяла Афродита Евменовна, была «большая любительница до колбасы — видно, в ней звериная кровь играет».

Андрей провел розыск заблудшей коровы по всем правилам: подробно опросил всех, кто видел ее в лесу, записал примерное время каждой встречи и на основе этих данных проложил на карте района предполагаемые перемещения беспокойной Венерки, определив наиболее вероятное ее местонахождение и дальнейший маршрут. Расчет оказался верным: Андрей вышел наперерез и в намеченной точке лазил по кустам, брэнча подойником. Венерка сама вышла на знакомый долгожданный звук. Андрей подоил ее — молока едва хватило напиться — и погнал корову домой.

Добрая весть обогнала их, и все село выстроилось вдоль улицы, гремя аплодисментами и насмешками. Надолго запомнил Андрей эту торжественную встречу. Покрасневший, в милицeйской форме, при пистолете, он гнал по улице корову, держа в руке алюминиевое ведер-

ко, где в жалких остатках молока плавали хвойные иглы.

Выручил его Иванцов, прежний участковый, который сказал тогда те слова, что запомнились Андрею надолго.

— Что это ты стесняешься, Андрей Сергеич? — намеренно громко спросил он. — Работа теперь твоя такая — заботиться о людях. Тебе власть дана, чтобы оберегать и людей и их имущество. Бабке ее корова не меньше дорога, чем председателю целое стадо. Гляди веселей — ты долг свой исполнил!

В тот вечер случилась у Андрея и первая серьезная стычка с бывшим (печальные слова) другом детства и юности Сенькой Ковбоем, когда тот, не откладывая до лучших времен, куском угля на всей ослепительно белой стене клуба, где в будущем предполагалось оформить впечатляющее панно «Колхозники идут с поля», нарисовал меткую картину: Андрей направляет пистолет на корову, стоящую на задних ногах, подняв вверх передние. И самое обидное — хоть художник из Сеньки был никакой, сходство получилось отменное. Корова с отпетым видом держала в зубах окурки и косила škодливым глазом из-под сползавшей с рога милицейской фуражки. Факт этот отчасти соответствовал действительности: бабка Афродита уверяла, что в жару у коровы может случиться солнечный удар, а от этого она молока не дает — простоквашей доится, и напаялила на ее бедовую голову старую соломенную шляпу. Андрей оштрафовал Сеньку, а председатель велел вычесть из его зарплаты стоимость ремонта стены. После этого друзья почти не встречались и не разговаривали. Тому, правда, была и другая причина — Дашутка.

Позже Афродита Евменовна торжественно прибыла к Андрею домой, принесла «гонорар». Выложила на стол нехитрый овощ, лихо стукнула мутной бутылкой, заткнутой обструганной капустной кочерыжкой. Андрей мрачно отставил бутылку и кивнул на зелень:

— Убери сейчас же!

— Милый, ты что же — без закуски ее жрешь или брезгаешь подношением? — по-своему поняла его бабка.

— Убирай, убирай. А на бутылку, — скрывая улыбку, отчеканил он, — на бутылку сейчас акт составляю — как на предмет предложения взятки должностному лицу.

Бабке бы с ее прытью впору в цирке работать. Анд-

рей и глазом не моргнул — стол уже был пуст, а Евменовна топталась у дверей и фальшиво пела:

— Дай, думаю, зайду навестить. Попроведаю, как он тут управляется, за строгость к Семену пожую. Ну прощайте, Андрей Сергеич, пошла я, корову надо подоить, да и поздно уже. — И бабка умелась.

Сейчас она вползала в комнату, таинственно озираясь, крепко прижимая к груди какой-то узелок.

— Садись, Евменовна, — покорно указал Андрей на стул. — Рассказывай, с чем пришла?

— За что я тебя хвалю, Сергеич, — усевшись и скинув на плечи платок, с удовольствием начала бабка. — За уважительность. Нет в тебе того, чтобы крикнуть, сгрубить, а то и по столу кулаком собачить, чтоб карандаши прыгали... — И без дальнейших предисловий развернула узелок и бухнула на стол батон обгрызенной с одного края колбасы.

— Ну? — оторопел Андрей.

— Колбаса, не видишь? Спроси: где взяли, Афродита Евменовна? — подсказала бабка онемевшему милиционеру.

— Где взяли, Афродита Евменовна? — деревянно повторил Андрей.

— Скажу, — она резво подмигнула, — но баш на баш: напишешь в газету, как я помогла родной милиции? И чтоб с фотографией — внучатам в армию пошлю, пусть командиру похвалятся, какая у них бабка геройская. — Евменовна опять оглянулась, потянулась шептать через стол, прикрывая куриной ладонью рот. — Выгоняла Венерку из чужого огорода, гляжу: что-то грызет, вырвала — колбаса. Магазиновая. Ты говорил ведь, что всю колбасу из магазина покрали. Не говорил? Тогда все равно спроси: а огород-то чей?

— Чей огород? — нетерпеливо спросил Андрей.

— Ворожейкин! — Евменовна в азарте стукнула кулаком по столу. — Завмага нашего милого!

#### *Глава 4*

Здесь будет уместно привести некоторые записи из рабочего блокнота участкового инспектора Ратникова.

«Легко складывается классическая версия злоупотребления завмага — растрата — случайный свидетель — паника в предчувствии разоблачения — убий-

ство разоблачителя — имитация хищения с целью переложить истинное на вымышленных лиц — грабителей (и убийц).

Два факта в схему не укладываются:

1. Ворожейко и Степаных давние друзья. (Сторож, в прошлом — чекист, лишь бы с кем дружить не стал бы.)

2. Хищение для имитации — мизерное, характер его необычен, цели не соответствует.

*Допросить Ворожейко».*

Далее:

«Посоветоваться (председатель, парторг, бухгалтер, завклубом Богатырев, дружина) и провести общее собрание колхозников. Дать как следует по пьянству — чтобы все задумались. *Тетрадь Ворожейко».*

Андрей не сомневался теперь, что завмаг за своей любимой авторучкой не явится, и пошел к нему сам. Он поскреб сапоги о скобку у крыльца, пошаркал ногами перед дверью и, еще не понимая, что опоздал, несколько раз дернул ручку, тупо рассматривая большой всякий замок. «Ушел», — холодком пробежало по спине.

Андрей бросился к соседке завмага — секретарше правления Софье Михайловне, метко прозванной за мастеровское владение пишущей машинкой и неумеренную любовь к кольцам Сонькой Золотые Ручки. Она вышла, лениво потянулась, стрельнула крашеным оком.

— Ворожейко-то? Утряхал куда-то, с утра еще. Попросил за домом приглядывать — говорит, может, вернусь не скоро. Сумочку взял и пошел.

— А куда?

— Да не сказался.

— Ну в какую сторону-то хоть?

— А, вон туда, — неопределенно повела рукой Сонька. — А зачем он тебе?

«Куда он мог рвануть? — думал Андрей, быстро шагая в правление. — Бежать-то ему некуда».

Его окликнул доктор Федя.

— Ты Ворожейко не видел? — бросил ему Андрей.

— Вообще? — улыбнулся доктор. — Или на каком-то конкретном отрезке времени?

— На отрезке, на самом последнем.

— В настоящее время больной Ворожейко находится во вверенном мне лечебном учреждении на предмет обострения хронического геморроя.

— Ах, вот как!

— Как в хорошо закрученном романе — даже самые

старые новости родная милиция узнает последней. Ворожейко давно болен, все бабы хихикают над его болезнью. А ведь она вовсе не смешная...

— Я могу его видеть? — нетерпеливо прервал его Андрей.

— Пройдемте, гражданин, — доктор сделал широкий жест рукой. — Прощу!

Ворожейко лежал один в большой палате, где стояли незастеленные койки с полосатыми матрасами, похожими на покорных арестантов, как их рисуют в юмористических журналах. Он приподнялся на локтях навстречу Андрею.

— Андрей Сергеевич, на селе говорят, будто я магазин обворовал и сторожа убил...

«Ну, Венера Синереченская, — разозлился Андрей. — Устрою я тебе заметку в газетку!»

— ...Вы не верьте этим глупым словам, — горячо шептал завмаг, тряся серыми щеками. — Я с первых дней в колхозе. С тех пор — все ему, я травинки сухой, зернышка не взял...

Андрей молча, с неожиданной жалостью слушал этого толстого неряшливого человека и помимо своей воли думал о том, что тот неудачлив в жизни, мучается смешной и изнурительной болезнью и по-детски беззащитен в своем одиночестве.

— ...Семьи у меня нет, здоровья никогда не было, богатств тоже не накопил. Но я всегда был честный человек. А про Степаныча — как у них язык поворачивается? Мы в 27-м году одной кулацкой пулей были раненные, считайте — кровные братья...

«Вот и еще одна моя обязанность, — думал Андрей. — У этого не очень счастливого человека есть единственное, чем он горд, чем может для себя оправдать свою неяркую жизнь, — его честность, его честь. А мы чуть не сломали эту единственную опору. Поспешите, поторопись, рубани без оглядки — и не станет честного человека Ворожейко, ляжет на него несмываемое клеймо преступника, которого никто не захочет пожалеть».

— Дайте мне закурить, — вдруг попросил завмаг.

— Вы лучше воды попейте, — мягко посоветовал Андрей, подавая ему кружку. — И не волнуйтесь так.

Ворожейко жадно схватил кружку, припал к ней, стуча зубами о край, немного успокоился.

— Не знаю я, где мог выронить эту проклятую авто-ручку. Мог потерять ее в тамбуре магазина, доставая

ключи. Мог. И колбасу могли на мой огород собаки за-  
тащить. Ведь верно, могли? Да, может, и колбаса не на-  
ша, вы сделайте экспертизу. Она могла с машины  
упасть, выронил шофер — и все...

— С какой машины?

— Ну я не знаю, я так, к примеру.

Андрей встал, защелкнул планшетку.

— Поправляйтесь. Не думайте о том, что случилось.  
Все будет хорошо, — сейчас он и сам верил в это.

Невзрачный, какой-то щуплый домик Ворожейко  
стоял рядом с магазином. На не огороженных со стороны  
дороги грядках Андрей без труда обнаружил глубокие  
следы тракторных колес. «Вот она — машина, которая  
мешала спать Дружку, тот самый трактор, шум которо-  
го вспомнил Василий».

Андрей зашел в клуб, к заведующему, который ходил  
у него в командах дружины. Богатырев при своей  
бравой фамилии отличался малым ростом и хилостью  
сложения, но очень любил появляться на танцах с крас-  
ной повязкой на рукаве. В ответ на просьбу Андрея вы-  
делить двух-трех человек покрепче и побойчее он со-  
лидно пожал плечами:

— Так на работе все. Если только вечером.

— Ну и хорошо, — успокоил его Андрей. — Мне ве-  
чером и надо.

— Очень серьезное дело будет, товарищ участковый?

— Очень серьезное, — пообещал Андрей.

В назначенное время собрались дружинники. Вместе  
с Богатыревым пришли братья-трактористы — Ванюш-  
ка и Григорий.

— В Оглядкино, ребята, поедem, — сказал Андрей,  
заводя мотоцикл.

— Брать будем? — небрежно, будто он всякий день  
кого-нибудь «брал», поинтересовался Богатырев. — Ин-  
структаж проведите, товарищ лейтенант.

Андрей провел «инструктаж», посадил бравого ко-  
мандира в коляску, братья оседлали выдавшие бездо-  
рожье велосипеды, и, как рассказывал потом Богатырев,  
«группа захвата решительно отправилась на задание».

Не доезжая Оглядкина, Андрей остановил мотоцикл.  
Дальше пошли пешком. Пока добирались, стемнело. Ост-  
ановились у крайнего дома, где ярко светили на доро-

гу окна и картаво, на чужом языке орал магнитофон.

— Оставайтесь здесь. Один — на задах, другой — с улицы, — шепнул Андрей братьям. Те молча кивнули. — Богатырев — за мной!

Андрей расстегнул кобуру, бесшумно взбежал на крыльцо, прошел темные сени и рванул обитую войлоком дверь.

Здесь уже, видно, пили не первый день: в комнате стоял густой до рези в глазах, тошнотворно осязаемый запах перегара, пролитой водки, окурков и табачного дыма. За неопрятным столом, заставленным и заваленным бутылками, испорчеными консервными банками, грязными тарелками, где вперемешку с закуской дымили незагашенные сигареты, сидели Сенька Ковбой и двое в телогрейках и с вилками в руках. Третий из механиков топтался посреди комнаты — пытался под иностранную музыку удариться вприсядку, но заваливался на пол, толкая стулья и нелепо взмахивая руками. Он, первым разглядев милицескую форму на Андрее, неожиданно бросился к двери, столкнулся с Богатыревым, упал и быстро, по-тараканьи, побежал на четвереньках в угол и сел там, выставив вперед руки.

Один из сидящих за столом, тоже сильно пьяный, вскочил и сдернул со стены ружье.

— Ты что, сдурел? — вырвал у него ружье Сенька. — Это же наш участковый — Андрюшка Ратников!

Тот дурашливо присел и поднял руки.

— А ты что здесь делаешь? — спросил Андрей.

— Гуляю, — нахально пропел Ковбой, но в глазах его всплескивала то ли злость, то ли тревога.

— Отойди-ка в сторонку. Попрошу всех, — со спокойной строгостью сказал Андрей, — оставаться на местах и предъявить документы.

Документов, конечно, ни у кого не оказалось.

— Прощу следовать за мной, — объявил Андрей, — для выяснения личности.

Плясун следовать не захотел: с отчаянным вскриком натянул на голову пиджак и маханул, как нырнул, в приоткрытое окно. Задел створку — зазвенели стекла. Богатырев бросился было за ним.

— Куда он денется? — остановил его Андрей. — Забери-ка лучше это, — и выдвинул из-под кровати почти пустой водочный ящик. — И это, — снял приколотую над детской кроваткой шоколадную обертку «Сказки Пушкина». — Колбасу-то небось уже сожрали? — Андрей

повернулся к Семену. — Давай-ка, Ковбой, иди запрягать.

Сенька дернул плечом, ничего не сказал, вышел. Вслед за ним потянулись задержанные.

Плясун маялся за забором, озираясь, вытряхивал из пиджака осколки стекла. К нему с двух сторон подбиралась дружинники.

— Не набегался еще? — усмехнулся Андрей.

— А что мне будет, если сдамся? Учтут, что само-вольно?

Братья враз бросились на него, схватили за руки, повели к телеге. Богатырев нахмурился, свел брови и демонстративно сунул руку в карман:

— И чтоб больше без глупостей у меня.

В тот же вечер Андрей допросил быстро протрезвевших механиков. Каждого по отдельности. Для проверки их показаний он попутно задавал такие неожиданные вопросы о деталях, сговориться о которых они не могли. Потом, уже утром, устроил им очную ставку, предложил покурить, собрал окурки. Напуганные тем, что над ними повисло обвинение в убийстве, механики были предельно откровенны, слезливо оправдывались, вызывая у Андрея чувство омерзения.

Показания задержанных, по существу, сводились к следующему:

«Застряли в Оглядкине по причине разлива рек. Загуляли от нечего делать. В ночь на 20-е действительно заезжали на колесном тракторе «Беларусь» в Синеречье, искали выпить. Примерно в половине второго, проезжая мимо магазина, увидели, что он открыт, в тамбуре — свет. Зашли. Сторож был уже мертв. Один из механиков (кто именно, Андрей так и не добился), желая проверить, бьется ли у сторожа сердце, просунул руку под пиджак, нащупал кобуру и вынул из нее револьвер. Другой (тоже неизвестно кто — все трое валили друг на друга) предложил взять водку и закуску — все равно, мол, растащат до утра. Дверь они не взламывали — до них кто-то постарался. Забрали ящик водки и, так как в кабине трактора трое не помещались, один из них, как и раньше, стал сзади на прицеп, держа под мышкой батон колбасы. У дома Ворожейко поняли, что дальше не проедут, решили вернуться в Оглядкино. Развернулись на огороде, трактор трянуло, стоящий на прицепе колбасу выронил».

Андрей едва зубами не скрипел.



— Вам не пришло в голову сообщить в милицию, вызвать врача? Возможно, сторожа удалось бы спасти.

— Испугались. Подданные были сильно. Не сообразили.

— Ну да, а кражу совершить сообразили? Мертвого обобрать догадались, воспользоваться трагичным случаем, чтобы поживиться, смелости хватило? Знаете, как это называется? — не сдержался Андрей. — Мародерство!

— Да не крали мы, товарищ участковый. Просто взяли. Мы вернем все, заплатим. Ты уж не казни нас строго. Ну что мы такое сделали?

Андрей развел руки, обреченно вздохнул.

— Хороши! До полной потери стыда и соображения допились. Да вы, голубчики, по трем статьям проходите. И подозрение в убийстве с вас не снимается.

Андрей не имел права так говорить, и, кроме того, косвенное свидетельство Дружка и другие данные подтверждали, что механики к убийству непричастны. Но это еще нужно проверять, да и успокаивать этих сволочей Андрей не собирался, пусть подумают — не вредно.

Он позвонил в район, доложил, что установил таких-то и таких-то, совершивших кражу в магазине и похитивших оружие сторожа, и сказал, что выезжает за револьвером, который в настоящее время находится в таком-то месте.

— Молодец, Ратников! Энергично действуешь! Мне тут вертолет обещают — скоро будут у тебя наши орлы. А как с убийцей, есть соображения?

Андрей ответил, что есть, но высказывать их считает преждевременным.

— Экой ты осторожный, — посмеялся начальник.

Через два часа, когда Андрей с дружинниками перерыл весь сарай, где был спрятан револьвер, и не нашел его, он горячо пожалел о своей поспешности.

День кончился. Сделано вроде много, да все как-то на холостом ходу, с пробуксовкой.

## *Глава 5*

Не хотелось, очень не хотелось Андрею допрашивать Дашутку. И жаль ее было, и на душе больно, и неловкость какая-то возникла между ними: будто бы Дашутка безмолвно его в чем-то упрекала, а он, в свой черед, в чем-то винил ее...

Ничего существенного она не сообщила. Смерть деда была настолько неожиданной, нелепой и жестокой, что девушка совсем потерялась и не смогла (или не захотела) вспомнить ничего важного, необычного из предшествующих несчастью событий. И про паспорт она ничего не сказала: дедушка говорил, мол, у него целее будет. Дашутка на первый взгляд старалась помочь Андрею, но он быстро почувствовал, что некоторые его вопросы камешками отскакивают от невидимой стены, и никак не мог уловить, где он натывается на незаметное, но упорное сопротивление, что именно рождает тревогу в синих заплаканных глазах. Она знает что-то очень важное, убедился Андрей, но добиться от нее признания невозможно.

После разговора с Иванцовым Андрей понял, что получил хороший, дельный совет. Бывший участковый подсказал ему самый простой и надежный путь. И если с точки зрения юридической он, может, действительно был «не по науке», но психологически очень верен.

— Когда-то, — неторопливо рассуждал Иванцов, — было у юристов простое правило: ищи — кому выгодно. В твоём деле я бы вопрос по-другому направил: кто мог? Ведь что я полагаю? Преступником, как и заведомо честным человеком, не родятся, верно? К правонарушению постепенно идут, зреют, что ли, в определенных условиях. Вот отсюда и танцуй — кто у нас созрел, кто докатился до такого? — И первым (с горечью Андрей убедился, что мысли их совпали) назвал Сеньку Ковбоя. — Парень он по нутру неплохой, но больно шалопутный, вот-вот сорвется всерьез. Штрафовался, за хулиганство привлекался к ответственности. Сейчас за ним строгий глаз нужен. Если еще не поздно — остановить надо, не то ему очень дальняя дорога предстоит...

В свое время Андрей и Семен учились в одном классе, были крепкими неразлучниками, но после армии их дороги разошлись. Отслужив, Андрей вернулся повзрослевшим, духовно закаленным, внутренне собранным, а у Семена как-то сразу все покосилось. Видно, почувствовал свободу, а что с ней делать — еще не знал. Начал он свою кривую дорожку с того, что отпустил длинные локоны, завел себе джинсовые штаны с картинками на задку, обрезал и сильно загнул с краев поля старой отцовской шляпы. И как прошелся в таком наряде до

клуба, небрежно зажав губами длинную сигаретку и положив руки на широкий пояс с конской мордой на медной пряжке, так и пристала к нему несолидная кличка — Ковбой.

А дальше пошло еще хуже. Велел Семен звать себя Сэмом, повадился захакивать перед танцами в чайную — и тоже не просто, с вывертами: притащил откуда-то табурет на длинных ножках и поставил к прилавку, который обзывал с той поры «стойкой у бара». Сядет на табурет спиной к этой самой «стойке», локтями обопрется об нее и цедит из длинного стаканчика «виски с содовой». Мужики вначале дивились, посмеивались, а потом, когда новоявленный Сэм обругал кого-то из них тощим койотом, на всякий случай, хоть и не поняли незнакомое слово, а Ковбоя все-таки поколотили.

Такое чудачество парня еще бы и ничего, перебесился бы, да вдруг потянулась за ним молодежь. Будто какая заразная болезнь по селу прошла: стали со старшими небрежными, всё с усмешечками, обвешались поясами да колокольчиками, на танцах все чаще пускали в ход кулаки, а то и пряжки. Как-то даже Дашутка, обтянувшись иностранными портками, заявила в чайную с табуреткой, вытянула из кармана блестящую пачку сигарет и потянулась к Семеновой зажигалке. Случившийся здесь, к счастью, Степаныч за ухо отвел извивающуюся девчонку домой и у калитки, вырвав из плетня хворостину, отодрал ее на глазах у всей улицы.

А Семен уже стал гулять по-простому, пил лишь бы с кем и уж внешнего форса при этом не держал. Дружки у него подобрались сообразные, самые никчемные, которые за бутылку души готовы были продать.

Дальше — больше. Лишили Семена водительских прав за езду в нетрезвом виде; нахулиганил — год отсидел в тюрьме, вернувшись, стал работать на конюшне. Лошадей, правда, любил, ездил с азартом. Часто видели, как носится Ковбой в лугах, воображая, видно, что скачет бескрайними прериями. А то еще промчится со свистом по селу, разбрызгивая грязь, — только куры, ошавев, вылетают с диким ором из-под лошадиных копыт. Но больше всего любил Семен вечером перед клубом рвануть — сильно нравился ему drobный стук звонких подков по сухому асфальту. Однажды на спор даже въехал верхом в клуб, разогнал храпящей кобылой танцующих и пустил ее по кругу, будто закружилась она в пьяном вальсе. Иванцов хотел «привлечь его за

нарушение правил поведения в общественном месте», но Семен преспокойно заявил, что ни в каких-таких правилах не записано, будто в клуб нельзя водить лошадей. И ведь верно, не записано...

Председатель давно не чаял избавиться от Семена, добром просил уйти из колхоза, не баламутить ребят. И, видно, сильно надоел Ковбою своими нудными угрозами, потому что тот как-то вечером явился в контору и смиренно попросил хорошую характеристику — мол, предлагают в Сельхозтехнике работу по специальности. Возликовал председатель, потерял бдительность, не почуял подвоха и в одну ночь создал прямо-таки канцелярский шедевр, заверил всеми подписями и колхозной печатью. Семен внимательно прочел документ, рассмотрел печать и подписи, притворно вздохнул: «И что ты меня гонишь — такого «кристально чистого в быту и морально устойчивого на производстве»? — Засмелся откровенно: — Скажи спасибо, что я с такими данными на медаль ВДНХ не претендую. — И повесил Ковбой эту характеристику в красном углу, под стеклышком — как охранную грамоту.

В последнее время, правда, Семен стал поспокойнее, окрепла его дружба с Дашуткой, на селе поговаривали об их свадьбе. Но родители ее уже долгое время были в отъезде, а дед своего согласия не давал...

Когда Андрей подходил к конюшне, из-за верхушки Савельевки вывалилась тяжелая, растрепанная туча — дикая какая-то, будто делали ее из всех цветов — от самого черного до чистейшей белизны, да поленились хорошенько перемешать. И ползла она до того неряшливая, скомканная — ну точно баба с похмелья: так же не мил ей белый свет, так же мечет она мрачными глазами злые синие молнии.

Семен, поглядывая на тучу, торопливо седлал молодую, лаково блестящую, как председателева «Волга», кобылу. Была она такая стройная и гибкая, что, если бы не масть и лошадиный размер, можно было принять ее за ловкую дикую олениху — так изящно переступала она тонкими ногами, так, недоверчиво, вздрагивая, смотрела настороженным глазом.

Завидев Андрея, Семен взлетел в седло, поймал стремени, подобрал повод — кобыла тревожно заиграла, закружилась на месте, нетерпеливо всхрапывая.

Андрей подошел вплотную, просунул ладонь под ремешок уздечки, почувствовал рукой приятное живое тепло лошадиной морды.

— Далеко собрался?

— В Козелихино — Степка сватает сегодня, просил заскочить. А ты что?

— Да поговорить бы надо.

— Знаю я твои разговоры: кто, когда, зачем, куда? — засмеялся Ковбой и, наклонившись, потер пальцами — будто листочек герани — острое тонкое лошадиное ухо. — Я ведь хоть и не юрист, но тоже — с неполным уголовным образованием. Мы вроде с тобой в одной системе работаем, только в разных отделах: у тебя — борьба, у меня — хищения, верно, коллега? — Семен нагло намекал на то, что Андрей недавно помешал ему продать туристам иконы из Синереченской церкви. — Так что терминология нам известна. А вам? Например, что такое алиби, знаешь?

— Ну знаю, — невольно усмехнулся Андрей.

— Так вот тебе все мои алиби: двадцатого я с восьмью вечера до шести утра был у хорошо известной вам гражданки Дарьи Михайловны. Если не постыдишься — спроси, она не откажется. Тем более что Степаныч знал — какой я сокол, чтобы ночью меня в магазин пустить...

— А почему ночью? Откуда ты знаешь? — перебил Андрей.

— Оттуда, — махнул рукой Семен. — Посторонись, участковый! — Он пригнулся, поднял лошадь на дыбы и с места послал ее длинным плавным скачком.

— Ну лихой парень! — посмотрел ему вслед подошедший сзади Тимофей Дружок. — Ну чистый ковбой — и штаны на нем ладные, и шляпа в аккурат, Смита с Вессоном только за поясом не хватает.

— Чего? — уставился на него Андрей.

— Смита и Вессона, револьвера, говорю, такого — системы гражданина Кольта.

Совсем рядом сверкнула белая молния, ударила коротким треском и будто пробила в туче широкую дыру, откуда вместе с солнечными лучами-брызгами хлынули на землю длинные прямые струи не по-летнему холодного ливня.

«Что делать? — думал Андрей. — Проводить у Семена обыск — бесполезно, не дурак он — револьвер на

стену вешать. Остается только одно — убедить Дашутку».

— Ну не знаю я ничего! Что ты меня мучаешь? Неужели ты всерьез на Семена думаешь? Не верю я тебе, Андрей. Ты со зла на него... — Дашутка осеклась, глядя на его побледневшее лицо. Да, Семен хороший ход сделал. Не совсем честный, но очень сильный ход. — ...Прости меня...

— Когда он пришел к тебе? — пересилил себя Андрей.

— Вечером, около восьми...

— А ушел, конечно, в шесть утра? — Андрей не сомневался в ответе.

Дашутка молча пожала плечами.

— Я уверен, что он предупредил тебя, как надо отвечать.

— Это правда, — прошептала она, не почувствовав, что ответ ее прозвучал двусмысленно.

— Пойми, наконец, что это не просто беседа, — с трудом выговорил Андрей. — Ты даешь ложные показания. Будет лучше, если ты скажешь правду.

— Кому лучше? — взорвалась девушка. — Мне лучше? Или деду? Пожалуй, тебе одному да твоему начальнику.

— Тебе, Дашутка, — тихо сказал Андрей. — Тебе и Семену.

Помощи он сегодня, похоже, не дожидется. Да особо и не рассчитывал: Платонов мог задержаться, а с вертолетами всегда сложно: один разобран, другой весь летный ресурс выработал, третий за трудной роженицей отправили, а там и погода испортится... Так что надейся пока на себя, Андрей Сергеевич.

## Глава 6

Собирались дружно, но не спеша, показной неторопливостью скрывая интерес. Мужики посolidнее рассаживались в первых рядах, основательно поскрипывали стульями, оглядывались; кто помоложе — теснили друг друга, наваливались на плечи соседей, чтобы перекинуться с приятелем задиристым словом. Молодежь, вперемишку с мальчишками, вертелась на подоконниках, болтала ногами, смеялась, тихонько потренькивала гитарными струнами.

В президиуме, за зеленым столом, туго ворочая шеями в тесных воротничках, прели под черными костюмами члены правления; покашливал, трогая усы, партийный секретарь, неторопливо перекладывал бумажки бухгалтер Коровушкин. Сбоку стола пристроился хмурый Андрей, держа на коленях планшетку.

Иван Макарович встал, постучал карандашом по графину, наполненному желтой водой. Пробежала по залу последняя, затихающая волна шума, докатилась до дверей и будто выплеснулась наружу.

— Товарищи колхозники! Прежде чем открыть наше собрание, позвольте сказать несколько печальных слов. — Помолчал. — Завтра мы хороним нашего дорогого односельчанина, ветерана колхозного строя, почетного чекиста. Все вы знали Петра Степановича, любили этого доброго, хорошего человека. Он прошел славный путь, всегда был впереди, он и погиб как на боевом посту, защищая народное добро. Грязная рука негодяя жестоко оборвала жизнь верного сына нашей партии. Но преступнику не уйти от расплаты, его постигнет заслуженная кара и народное презрение. А Петр Степанович навсегда останется в наших сердцах, будет вечно жить в нашей памяти. Почтим же его светлый облик скорбной минутой молчания...

В напряженной, дрожащей тишине пронесся чей-то глубокий, прерывистый вздох, похожий на стон...

— Товарищи колхозники, сегодня мы собрали вас для очень серьезного разговора. О чем он пойдет, вы скоро поймете. — Председатель посмотрел в зал, тронул рукой лоб. — Дела наши сейчас идут неплохо, усиленно готовимся к уборке — она уже не за горами. Правление уверено, что, как и в прошлом году, вы поработаете дружно, с огоньком; план мы, похоже, опять перевыполним. Беспокоит другое. Вот есть у нас своя гордость — известный в районе механизатор широкого профиля Ванюшка Кочкин. Трудится он здорово, как говорится, грамотно и на уровне современных требований научно-технического прогресса. Постоянно расширяет свой профессиональный кругозор, выписывает журнал «Сельский механизатор» и творчески применяет на практике его рекомендации. Мы даже думали послать его в Москву, на Выставку достижений народного хозяйства. Давайте-ка попросим его рассказать, как он добивается высокой производительности труда, как с максималь-

ной эффективностью использует вверенную ему технику. Пусть его опыт послужит на общую пользу. Просим, товарищ Кочкин.

Курчавый красавец Кочкин, хорошо освоившийся с ролью уважаемого человека, привыкший быть в центре внимания, не смущаясь, поднялся на сцену, поздоровался со всеми за руку, уверенно стал за трибунку. Эффектно жестикулируя, он толково рассказал о своих методах, поделился очень дельными соображениями, дал хорошие советы молодым трактористам. В зале шелестели бумажки, бегали карандаши, потянулись вверх руки. В заключение Кочкин, исчерпываясь ответив на вопросы, на правах знаменитости мягко пожурил колхозное начальство за какие-то организационные неувязки в прошлую уборочную, снизившие показатели его звена, и под аплодисменты весело пошел было со сцены...

— Погоди, постой-ка здесь, — остановил его Иван Макарович. И обратился к залу: — Хорошо выступил звеньевой Кочкин? Я тоже так считаю. А теперь познакомимся с другим его «выступлением», которое состоялось на днях здесь же, в клубе. — Председатель кивнул Богатыреву. Тот завертел рукоятку — опустил экран.

Когда погас свет и на экране вспыхнули отснятые сельским кинокружком кадры, где Ванюшка Кочкин в пьяном виде «качал права» у входа в клуб, в зале грохнул и резко прервался, будто мертво наткнулся на что-то, всеобщий хохот. На глазах у всех молодой, умный, передовой человек превратился в тупое, злобное и упрямое животное, которое, тараща затянутые тяжелым хмелем глаза, куда-то бессмысленно рвалось, кому-то грозило и, казалось, ненавидело весь белый свет. Невозможно было поверить, что это улыбчивый, добродушный и сметливый Ванюшка Кочкин.

— Узнаете? — послышался голос председателя. — Вот и я не узнаю. Что же вы дальше-то не смеетесь?

Вспыхнул свет, и все, как один, перевели дыхание. На Ванюшку старались не смотреть. Он тяжело прыгнул со сцены и, спотыкаясь, пошел по проходу к двери, оглянулся на пороге, хотел что-то сказать — перехватило горло. Махнул рукой, вышел. По залу опять пронесся тяжелый общий вздох.

— Ну что — пошлем звеньевого Кочкина в Москву? Послужит его опыт на общую пользу? Больно и горько, товарищи! Стыдно в наше горячее время опускаться до



такого первобытного скотства, порочить высокое звание Человека! — Иван Макарович подошел к краю сцены. — Правление, партийная организация и общественность решили повести самую беспощадную борьбу с пьяницами, всеми мерами будем пресекать это гнилое явление! Сегодня после собрания наши активисты вывесят в фойе, напротив красной доски Почета — черную доску с «живописными» портретами особо выдающихся по части выпивки граждан. Пусть все на них смотрят, пусть сами они любят, как своим мерзким видом и состоянием позорят доброе имя советского крестьянина. — Председатель перевел дух, опять потер лоб, будто мучился головной болью и она мешала ему вспомнить главное. — Это моральная сторона дела. Посмотрим теперь на него и с другой стороны. Начну с примера. — Он нагнулся в зал, вытянул вперед палец, словно погрозил. — Вот ты, Василий, еще со школы, знаю, мечтаешь о мотоцикле с коляской, так?

— Ну так, — подтвердил смутившийся, готовый к подвоху парень. — И что тут такого недопустимого?

— Вот что: штаны ты себе с кожей на... этом самом месте достал, горшок для головы у тебя давно в красном углу висит и куртка есть непродуваемая, верно?

— Ну верно...

— А мотоцикл где?

— Так не заработал еще, товарищ председатель, — протянул осторожно Василий.

— Не заработал? Ну-ка, главный бухгалтер, сделайте нам, пожалуйста, справку.

Коровушкин резким кивком стряхнул со лба на носочки, перебрал лежащие перед ним листочки, выбрал нужный и огласил заработки колхозника Кондратьева Василия Николаевича за последний год.

— На такие деньги, — подытожил председатель, — ты бы уже, если надо, паровоз мог купить.

В зале недружно, настороженно засмеялись.

— А ты, Петрович, громче всех зубы скалишь — весело тебе. Тогда почему твоим ребятам невесело? Почему они каждый вечер ко мне на телевизор бегают? Во-первых, потому, что детские передачи им интереснее смотреть, чем твои концерты, а во-вторых — бухгалтер, огласите справку... Вот видишь, Петрович, по твоим заработкам уже давно положено иметь не то что простой, а даже цветной телевизор, да и еще многое полезнее в быту.

В зале нарастало волнение. И если где-то вспыхивал смех — то неуверенный, вызванный притворной бравадой; его быстро гасили серьезные взгляды односельчан. Кто-то уже не выдержал — понял, что и его коснется невыносимо откровенный разговор — согнувшись, стараясь не топать, шмыгнул к двери.

— Постой-ка, постой, товарищ Кружок, — догнал его голос председателя. — Сколько мы тебя помним, ты за стол без стаканчика не садишься — стаж у тебя внушительный. Объясни-ка собранию свое пристрастие. Может, горе какое вином заливаешь или тоска тебя душист? Ты поделись — полегчает.

— Так что, Иван Макарович, — затоптался на месте, будто торопился по нужде, Кружок. — Как у меня злейшая язва, так я ею — водочкой — лечусь. Врачи советуют даже натошак принимать, а я ведь всегда с закуской, не ради хмеля — для здоровья...

— Позвольте справку, — поднялся доктор Федя, зло теребивший бороду. — Прошлой весной колхозник Кружок в тяжелом состоянии с диагнозом желудочного кровотечения был доставлен в нашу больницу, где проходил курс стационарного лечения. Данное обострение язвенной болезни, как показало обследование пациента, вызвано систематическим и неумеренным употреблением спиртных напитков. Гражданину Кружку категорически противопоказан прием алкоголя в любых дозах, о чем он неоднократно предупреждался медицинскими работниками нашего учреждения и мною лично.

— Вот, Кружок, твое лечение: отдаешь ты последнее здоровье за бутылку гадости, от которой тебе — ни ума, ни радости. — Иван Макарович переждал веселье, возникшее из-за его неожиданно получившихся стиски. — Такое моральное заблуждение, товарищи, характерно для всех безмерно пьющих. Иной уверяет — вы знаете, о ком, я говорю, — пью, мол, потому, что жена-злодейка бросила и родных деток со двора за собой свела. А на деле все наоборот: жена ушла, потому что нет больше сил жить с пьяницей. Другой заливает вином ревность — баба от него гуляет по чужим мужикам. А как ей, бедной, не гулять по чужим, если от своего нет ей ни прока, ни мужской ласки. Третий на работу валит — не ладится на производстве, начальство невзлюбило — вот и запил с расстройства. Да, где же такому работать, если он через день мать родную от трактора отличить не может. И я полагаю, что это не за-

блуждение неустойчивых личностей, а попытка оправдать свою позорную слабость. Вот и живут они в наше прекрасное время без здоровья, без семейного счастья, без радости труда. Задумайтесь, товарищи.

Иван Макарович предоставил слово бухгалтеру, сел, положил подбородок на руки и усталился в зал, как пригорюнившаяся баба на непутевого сына.

Коровушкин неторопливо развернул и приколот большой лист бумаги, посмотрел на него, наклоня голову вправо и влево — полюбовался, как петушок зернышком.

— Это, товарищи, график на первое полугодие. Непонятно? Сейчас поймете. Вот видите — красная линия скачет: это все — праздники, свадьбы, выходные и предвыходные. А ниже ее — черная — тоже скачет, только в другую сторону: это ваши заработки, ваша производительность труда. Нарисовано красиво, а картинка получается мрачная, хотя и простая, как булка: где гуляли, там и не поработали. Но, добро бы еще так, а ведь смотрите — вы после гулянки, с похмелья, еще три дня нормальной выработки дать не можете. Достигли ее — ан тут опять праздник или выходной. Можно, спрашивается, так работать? Выходит, что скоро вы и на вино зарабатывать не сможете. Как же вы тогда жить будете? — Бухгалтер ехидно посмеялся, порылся в бумажках на столе. — А наверное, вот так, как известный Тимофей Дружок, который уже второй месяц пропивает больше, чем зарабатывает. Самое время нашей милиции разобраться, какой у него есть секрет. Может, он давно уже научился народное добро на водку перегонять?.. Тут я еще составил интересную перспективную табличку. По ней, как гадалка, могу всю правду сказать: кто в какой месяц сколько заработает. Ну, кому погадать? Никто не хочет? Все равно скажу. Ну хоть бы об том же Василии. Вот у него какая перспектива на август месяц: тещины именины — раз, годовщина свадьбы — два, четыре выходных и День авиации — это три, два раза зарплату получит и премию, шурин из больницы выпишется, свояк в отпуск приедет — вот и получается, что при всей своей ударной работе принесет домой хороший парень Василий двенадцать рублей семьдесят копеек. Вот такая возникает грустная арифметика.

— Все у тебя? — уточнил Иван Макарович. — Предоставляю слово участковому инспектору товарищу Ратникову.

Андрей встал, машинально полистал блокнот, долго молчал. Никто в зале не выразил нетерпения, все ждали — не кашляли и ногами не шаркали.

— Граждане колхозники, я в милиции недавно, вы знаете. Но и за этот короткий срок убедился и теперь твердо уверен: каждое без исключения лицо, находящееся в состоянии опьянения, — это потенциальный преступник, с умыслом или невольный. Так доказывает статистика, так убеждает практика. Особо опасно употребление алкоголя несовершеннолетними, молодежью. Врачи говорят, что неокрепший организм по-разному реагирует на отравление спиртными напитками, и очень часто алкоголь возбуждает в юноше беспричинную жестокость, неуправляемое желание причинить кому-нибудь физическую или моральную боль, толкает и на более серьезные, непоправимые преступления. Потом наступает отрезвление, раскаяние и искреннее недоумение: как я мог? И окружающие тоже отказываются верить, что такой хороший и спокойный парень способен на дикое, бессмысленное зверство. У меня есть основания утверждать, что убийство Степаныча совершено лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вот цена нашего благодушия. Не слишком ли она велика? — Андрей помолчал, будто что-то обдумывал. — В том, что случилось, виноват не один человек, повинны мы все. На нашей совести останется гибель хорошего человека, на нашу совесть ляжет и наказание, которое понесет преступник. Вы, я, все здесь присутствующие не раз видели его пьяным. И что? Мягко журили, немножко беседовали, а то и хихикали над его безобразиями... — Да ты что же, знаешь его? — не выдержал кто-то в зале.

Андрей ответил не сразу, склонил голову.

— Любой из вас мог быть им. Не обижайтесь на эти мои слова, — глухо проговорил он. — Они не умом сказаны — сердцем.

Замерли люди, стали оглядываться друг на друга, словно могли угадать и увидеть убийцу... и боялись встретиться взглядами.

Андрей не сказал больше ничего. Молча сел, опустил голову, уставился в пол.

— Тяжелый у нас нынче разговор, — тихо, медленно начал парторг Виктор Алексеевич, — но очень нужный. Ведь обидно: все теперь у нас есть, жить бы да радоваться. Так нет же — какую-нибудь напасть да вы-

тащим из старых сундуков. Вы посмотрите, люди добрые, какие у нас машины на полях, какие мы урожаи берем, какие дома строим, какие мы сами стали — грамотные, здоровые да красивые! Ведь тракториста от инженера у нас нынче на погляд не отличишь — оба в костюмчиках-галстучках, оба с книжками. А помните, как дояркам доставалось без механизации? Плакать хотелось, на них глядя. А сейчас? Цветут ведь девки! А старье? В прежнее-то время крутились до последнего, пока не падали окончательно. Теперь, если погода хорошая, посиживают перед домом на лавочках, ворчат понемножку и почтальона с пенсией ждут, чтоб внучат из своего личного дохода побаловать. И почему так? Откуда все взялось? Потому что партия о нас заботится, вся страна нам помогает. А наш долг — работать на совесть, давать Родине большой хлеб и людьми быть достойными, чтобы смело смотреть в будущее, чтобы за жизни свои не стыдно было перед собой, а паче всего — перед новым поколением! На этом закончим разговор. Идите по делам да крепко думайте.

## *Глава 7*

Из клуба Андрей вышел последним: он знал, что Дашутка будет ждать его, и не хотел свидетелей. Она стояла в сторонке, прижавшись к дереву, словно искала опору, и хотя уже было темно, Андрей видел, как естественно блестят ее глаза на бледном лице.

Они медленно пошли темной улицей. Где-то обиженно скулила собака, совсем рядом зазвенела на колодце цепь, гулко застучало по срубам пустое ведро. Дашутка молчала, кусала губы — никак не решалась начать разговор.

— Я виновата перед тобой, — наконец трудно проговорила она.

Андрей машинально кивнул головой: он догадывался, в чем она хочет признаться, но теперь это не имело значения.

— Семен не был у меня всю ночь. Он пришел уже под утро. Он сказал, что ходил к дедушке, вроде как сватать меня, и опять поругался с ним. Дедушка не любил его, даже паспорт у меня забрал, чтоб мы без его согласия не расписались. Семен разозлился сильно, говорил, что все равно своего добьется, что другого выхода у нас нет...

Андрей насторожился, но Дашутка не заметила этого и продолжала:

— Потом он пришел вечером. Знаешь, мне было очень плохо тогда, и все равно я поняла, что с Семеном что-то произошло, у него даже глаза были какие-то чужие. Он попросил: если ты будешь спрашивать, сказать, что всю ночь провел у меня. Тебе, говорит, все равно уже, а меня Андрей посадит.

— Что значит «тебе уже все равно»? — холодея, спросил Андрей..

— Я ребенка жду. От Семена...

Андрея будто лбом в стенку ткнули.

— ...Я боялась тебе сказать всю правду, думала, ты, когда узнаешь, что-нибудь не так сделаешь...

— Спасибо тебе, — горько уронил Андрей. И почувствовал, как дико застучало сердце, будто запрыгало вниз по холодным ступенькам темной, бесконечной лестницы.

— ...Ты прости меня — в голове все перемешалось... — Дашутка прижала ладони к щекам. — Мне показалось, ты будешь злиться и...

— На что же я буду злиться, Дашутка? — тихо перебил ее Андрей. — На то, что ты любишь другого, а не меня? На то, что ты хочешь стать его женой, что ты носишь его ребенка? Не плачь. Что теперь плакать?

— А что же делать? — с искренним недоумением спросила она.

Андрей остановился, взял ее за руку.

— Вот что, иди сейчас к Семену, расскажи о нашем разговоре и передай ему, что я буду его ждать. Сам пусть придет. Ты поняла меня?

Дашутка закивала головой, приподнялась на цыпочки, прижалась к его щеке мокрым глазом.

Андрей ждал долго; сидел, тяжело задумавшись, не замечая, как летит время. Очнулся, когда за окном по-светлело. Он вздохнул, достал из сейфа пистолет, медленно вложил его в кобуру... И тут прозрачную утреннюю тишину разорвал бешеный, нарастающий стук копыт. Андрей бросился к двери, распахнул ее — мимо, подбрасывая ударами упругих ног свое светящееся от росы тело, звериным скоком проносилась лошадь. Пригнувшийся к ее шее всадник обернулся, что-то крича. «Хватит с меня тюряги! Хлебнул по горло!» — донеслось до Андрея. Он рванулся за калитку, вскочил на взревевший мотоцикл.

За поворотом, где дорога круто спускалась к реке, он снова увидел Семена. Тот, оглядываясь, яростно гнал лошадь напрямик, к обрыву. Она ворвалась, как в воду, в осыпанную росой пшеницу, помчалась по ней, веером разбрызгивая сверкающие капли, чуть задержалась над берегом и плавно, медленно, как показалось Андрею, слетела в реку. Над берегом словно вырос беззвучный сине-зеленый взрыв, закачались острые лезвия осоки. Андрей сгоряча загнал мотоцикл на затопленный мост, чертыхнул заглохший мотор и, не сводя глаз с плывущего рядом с лошадью Семена, побежал на тот берег, нащупывая ногами невидимые доски настила.

На берегу Семен снова вскочил на лошадь, гикнул, погнал ее в ольшаник. Андрей, глядя на оставляемый ими след — ярко-зеленую листву среди дымчато кипевшей на кустах росы, — быстро прикинул его направление, понял, что может немного срезать путь.

Они почти одновременно выскочили на полянку, которую синереченские мужики давно облюбовали для душевных разговоров после получки. Семен резко осадил лошадь у старой ветлы, прыгнул, запустил в дуло руку, пошарил и вытащил какой-то сверток. Андрей, скользя по мокрой траве, спотыкаясь о пустые бутылки, бежал прямо на него, еще не веря в то, что сейчас произойдет. Семен, размотав полотенце, не оборачиваясь, выстрелил из-под руки — коротко звякнула разлетевшаяся бутылка, ударили по сапогам Андрея ее осколки, вздрогнула и бросилась в сторону лошадь. Семен бежал вверх по склону и стрелял. Андрей бросался на землю, прыгал от ствола к стволу, слыша звук разрезаемого воздуха и глухие удары пуль, попадавших в деревья. «Что же он, дурак, делает?! — билось в голове. — Что делает?!»

Андрей сделал предупредительный выстрел, другой — остановился, стал на колено, положил ствол пистолета на кисть руки. Семен, петляя между деревьями, взбежал на пригорок, замер на мгновение. Прямо в спину уткнулась острая мушка. Сейчас он расплатится за смерть Степаныча, за свою непутевость, за наши ошибки...

Семен выстрелил в последний раз, шелкнул пустым револьвером и швырнул его в кусты.

Андрей опустил пистолет, сунул его в кобуру и застегнул клапан...

Догнал он Семена в поле, у одинокого дуба. Они долго, как мальчишки, прыгали вокруг него. Потом Андрей

резко выбросил руку, схватил Семена за ладонь, дернул, подставив бедро, и бросил на землю.

— Вот так, — сказал Андрей, доставая платок. — Бегать ты, Ковбой, совсем не можешь.

Семен, тяжело дыша, с трудом проговорил:

— Зато ты научился. Старый друг с пистолетом.

— Верно, не друг я тебе, — согласился Андрей. — Настоящий друг не дал бы тебе до такого скатиться. Вставай, — Андрей помог ему подняться, и они пошли искать лошадь.

Когда подходили к селу, Семен вдруг остановился:

— Андрей, я ведь не знал сначала, что Степаныча убил. После догадался. Не веришь?

Андрей промолчал.

— Мне на Дашке обязательно жениться надо было — беременная она. А дед ни в какую, не ко двору ему такой шалопут. Ну я решил еще раз с ним поговорить, принял для храбрости и красноречия, да перебрал здорово. Пришел к нему в магазин, а он уперся — нет моего согласия, и все тут. Разозлился я на него, говорю: нет — и не надо, обойдемся без твоего согласия, пойду прямо сейчас к Дашке и к себе ее заберу. Отдавай паспорт, не позорь девку. Не получишь, говорит, он у меня надежно спрятан, под замками и печатями охраняется. Я, конечно, понял, что он паспорт продавщице на хранение отдал. Разозлился — ну сил нет: Дашку ведь выручать надо, а он не дает. Бухнул в дверь плечом, Степаныч на дороге встал, говорит, ты что, грабить? Я еще больше озверел от такой несправедливости — с дороги его рукой смел, да, видно, сильно толкнул, не рассчитал спьяну, уж больно нехорошо мне было. Он в угол отлетел, головой мотнул и молча на меня смотрит. Нехорошо так смотрит. Плюнул я и ушел. Утром, как услышал, первая мысль о Дашутке была, а потом, как понял, что я это сделал, — сам чуть не умер...

— С повинной надо было идти...

— Всегда б мы делали, что надо... Растерялся. Потом в ужас пришел — опять в тюрьму. Да и не это главное — Дашка остается незамужняя, с дитем, а оно — неизвестно чье. Не мог я для нее такого позора допустить за ее любовь.

— А револьвер зачем взял?

— Сам не знаю. Сначала тебе помочь хотел, думал,



подбросить, чтоб мужиков не выдавать, а потом жалко стало — Ковбой, а револьвера в руках не держал. Но ты же видел, я в тебя не стрелял. Все как-то в азарте получилось, как в кино...

— Дурак ты, дурак! Пришел бы сразу, все по-другому бы обернулось.

Когда подошли к околице, Семен виновато попросил:

— Андрейка, сними с меня кандалы — стыдно. Я больше не побегу.

Андрей молча сделал что он просил и пошел не сзади, как раньше, а рядом.

Встревоженная выстрелами, их встретила вся деревня. Впереди стоял Виктор Алексеевич.

— Что за стрельба была, участковый?

— Да так, револьвер Степаныча нашел — разряжал.

Секретарь удивленно вскинулся, но твердый взгляд участкового остановил его. На крыльце правления Андрей пропустил вперед Семена и тихо пояснил секретарю:

— Ему еще жить здесь снова начинать.

В протоколе Андрей записал: «При задержании сопротивления не оказывал, производил демонстративные выстрелы».

Через несколько дней снова прилетел вертолет. Он опустился в стороне от села, на луг. Его окружила молчаливая толпа синереченцев. Когда повели задержанных, она расступилась. Механики шли бодро, улыбались с бравадой. Семен опять был в наручниках. Он поискал глазами Андрея. Тот кивнул ему, что понимает.

Следователь Платонов поблагодарил участкового:

— Вот и твое первое дело, лейтенант Ратников.

Дверца вертолета захлопнулась; разгоняя винтами траву, он поднялся в воздух. Все молчали. Афродита Евменовна на всякий случай суетливо крестилась.

Андрей долго смотрел ему вслед, пока не почувствовал на плече чью-то руку.

— Проводил друга? Грустно? — Участливо смотрел ему в глаза Виктор Алексеевич. — Проглядели мы парня, не удержали... Наша вина.

По полю, подпрыгивая, катился Богатырев.

— Товарищ участковый, там, у клуба, Дружок буянит — никак не справимся! — закричал он на бегу. — Требуется, чтобы его с доски сняли!

— Ну иди, участковый, — сказал партийный секретарь. — Наводи порядок.

---

... Тапшадае все эти дни  
Ему, значит, что-то жить, все время молчат кровь нужна "как шипца, заливает в дом.  
где-то глужат тревога врут 'зависла в нем, как шипца, заливает в дом.

- Ну, как? То-то! И молодежи нравится. Приваго ей  
вкус, к духовным ценностям, быстротным, имей в ви-  
ду, развиваю ее эстетически. Замети, как ваши хлопцы ко мне тянутся?

## ДО ОСЕННИХ ДОЖДЕЙ



Ведь у нас почти  
ридного письма,  
есть школы  
Феофана Фека. А книги?

Все иконы ста-  
есть джонсый,

Вскоре хорт кончотся тулком - глужим, заваденным кам-  
нети и пшопыти досками. Слева Андрей увидели емзоты  
пшопную нишу и в ней - два мешка, набитых перьями и пухом.

Не откажите в любезности - дозволюте рассмотреть ваш храм работников искусств, специ-  
алисту по фрескам, живописи и интерьеру питаю к церковного хора творчеству.

БЕЛИККИЙ СНИВА ПОЛОЩЕТ К МАШИНАМ, ПОВЕРНУЛСЯ, ОПЯТЬ ЗАПАДАЕТ К СЕБЕ. И УВИДЕЛ БЕГУЩЕГО К НЕМУ УЧАСТКОВОГО.



ПРЕДСТАВЛЯЕ - ТО НЕ, ЧТО И ВАС. И КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО - ПОГРЕВЕННЫЕ. А ВЕДЬ ПРЕДСТАВЛЯЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ВНЕЗАПНОЕ БИЮЩЕ СОПРЯЖЕНОЕ ЧЕЛОВЕКА...

— ЭТО ВЕДЬ ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ, ВЕРНО? — БЕСЦЕННЫЕ. МЕНЯ, ПРИЗНАТЬ СЯ, БЕСПОКОЯТ ВАШИ ВОПРОСЫ. С НИМИ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ? ИМ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ? НЕТ, НЕ СЛУЧИЛОСЬ. ПРОСТО МНЕ НАДО БЫТЬ В КУРСЕ...

— ЗАДАНИЕ, ВЛАДИМИР. ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ И ОПАСНОЕ. НЕ ПОВТОРИТЕСЬ? ВОЕКА ПОМОЖЕ ГОШЕВОЙ, ПОПРАВЛЯЕ СБИВШУСЯ ОТ СЛЮЗ ФУРКАУТ. ЦЕЛО ПОДЪЕЗЖАЮТ ЗНАЕШЬ?

## Глава 1

Нынешняя осень в Синеречье была хороша: сухая, теплая, солнечная. Не страдала она своей обычной обреченностью, болезненной слякотью и противным, промозглым холодом, а была поначалу очень похожа на лето, которое славно потрудились, устало и теперь быстро погружается в здоровый, заслуженный сон, счастливо вздыхая, устраиваясь поудобнее и светло улыбаясь сквозь легкую еще дремоту.

Листва на деревьях высыхала не опадая; быстро, охотно набирала яркий багрянец. Не мочило ее дождем, не трепало ветром, и потому — чуть похолодало — тонко запела она в твердом и чистом морозном воздухе, мелко задрожала, отражаясь буйными кистями в застывшей, неподвижной синеве рек. А потом вдруг рухнула на землю тяжелым золотым дождем, зазвенела чеканными червонцами...

За ручьем, сплошь засыпанным листьями, похожим на большую, покрытую бронзовыми чешуйками змею, шурша ползущую в реке, Андрей присел на пенек, перебросил планшетку на колено и достал из нее письмо в простом конверте. С дерева тихо упал на него последний бледно-желтый листок. Он машинально снял его и, сжав зубами горький черенок, развернул письмо, стал, вздыхая, перечитывать...

«Андрей, здравствуй. Пишу тебе из отдаленных мест не как гражданину участковому, а как старому другу — если еще не гнушаешься руки подать. Здесь мне теперь есть время подумать об свсей жизни и о своей неисправимой вине. Ты себя не казни, что недоглядел и своими руками привел друга на дубовую скамью, — сам я во всем виноватый. Сам и ответ держу. Однако, Андрей, (не в укор тебе сказать, а чтоб наперед понял), если б тогда с иконами не пожалел ты меня и отхватил бы я положенное, то, может, все иначе сложилось в моей

судьбе. Ты не думай — о себе не печалюсь, свое отсижу. Другое мне спать не дает: Степаныч и Дашутка. Своя лох я какая, выходит, — аж страшно мне. Понял я — мало мне дали. Если б можно все вернуть, Степаныча в живых оставить, я бы не то что шесть положенных — я бы все двадцать отсидел. Тебя об одном прошу: не оставь Дашку, если ей в чем нужда будет, и пацана, как родится, добейся в сельсовете, чтоб на меня записали. Помоги в этом деле. Знаю, не перегорело еще у тебя к ней, но верю тебе, и надежда только на тебя одного, больше просить мне некого. И еще одну ошибку мою поправь: смотри за нашими парнями постороже. Многих я испортить успел своим примером, не дай им по моей дорожке до конца пойти. Дашке пока не пишу — боюсь, отвечать не станет, а мне того не пережить. Она — один теперь свет в моем тусклом окошке. Если не побрезгуешь — жму руку.

Сенька, бывший Ковбой, а нынче справедливо заключенный».

Андрей выплюнул измочаленный листок, вложил письмо в конверт и, в раздумье сдвинув его уголком фуражку на затылок, пошел в село. Он шел напрямик — березовой рощей, насквозь прозрачной, пронизанной длинными солнечными лучами, под которыми новенькими монетами загорались опавшие листья. Шел медленно, заложив руки за спину, опустив голову, будто в самом деле выбирал — какой бы золотой поновее подобрать с земли, и было ему грустно и немного тревожно.

В девять утра он позвонил в райотдел, связался с начальником.

— Что у тебя, Ратников? Чего с утра беспокоишь, поспать на рабочем месте не даешь? Да веселей, веселей докладывай — ко мне народ на совещание собирается.

Андрей сообщил, что повезет сегодня в район Тимофея Елкина, злостного пьяницу и прогульщика, что исчерпал все меры воздействия на него и подготовил дело для передачи в суд.

— Это который Елкин? Дружок, что ли? Не сдается, значит, мужик? Упорствует? Ну давай вези — не потеряй только по дороге. Как выходные у тебя прошли, спокойно? Ну вот — не зря тебя хвалить начали. Кто да кто? Пресса, Ратников, родная районная печать. Пишут: творчески работаешь, чуткость проявляешь, обществен-

ность за тебя — горой, пьянство, пишут, на твоём участке «на грани искоренения». Благодарность бы тебе объявил, да рано — ты ведь ещё и года не работаешь, — а похвалить имею право. Вот на пенсию соберусь — буду тебя на своё место двигать. Пойдёшь? Подумай, не возражаю — мне до пенсии всего ничего осталось — семь лет, три месяца и одиннадцать дней...

Дом Тимофея Дружка стоял на краю села, среди старых сильных берёз. Низкий, кривой, с заросшей какой-то зеленью и сдвинутой набок крышей, он был похож на хороший когда-то, но гнилой теперь гриб, для которого все сроки уже прошли и который сам уже ждет не дожидается, чтобы кто-нибудь, проходя мимо, заметил его и сбил в траву носком сапога.

Андрей вошел в избу. Тимофей калачиком спал на лавке — босые ноги укрыты пиджачком, ладошки невинно сложены под небритой щекой.

Андрей разбудил его.

— Собирайся, Елкин.

Тимофей, будто и не спал, распахнул, как окошки, голубые чистые глазки, сел, помахал руками перед грудью — зарядку сделал, стал сноровисто одеваться.

— Что нового на воле, дружок-начальник? — Он считал себя под домашним арестом. — Никаких тревожных вестей не наблюдалось? Не нужна ли в чем моя помощь?

— Помощь нужна, — усмехнулся Андрей. — Ты, может, хоть на прощанье сознаешься, где деньги на водку доставал? Что у тебя за неучтенные доходы? Ведь за все лето двадцать восемь рублей заработал — честный труженик!

Дружок притопнул ногой, потянул, расправляя голенище сапога.

— Исключительно, Андрей Сергеич, добротой людской перебивался: кто стаканчик поднесет, кто краюху с огурцом на закуску. Так и бедовал. — Он встал, безуспешно поискал пальцами пуговицы на пиджаке, разочарованно вздохнул. — Но теперь этому позорному прошлому пришел бесславный конец. Затихли вдали мои грустные песни. Теперь государство берет на себя заботу о моем горьком куске хлеба. — Смахнул дурашливую слезу и деловито попросил: — Сергеич, я у тебя веревочкой не разживусь — подпоясаться, а то стыдно в райцентр в таком фрачном виде, без пуговиц, являть-ся.

— Не положена тебе веревочка. Идем.

На крыльце они чуть не столкнулись со старухой Евменовой.

— Андрюша, уезжаешь? Не уезжай — пошептаться мне с тобой нужда, по личному...

Андрей вздохнул. Потихоньку выживающая из ума бабка не давала ему покоя с тех пор, как он стал участковым. То, по ее словам, за ней медведь начнет ухаживать, то она сама затевала развод со своим стариком, то приходила записываться в дружину.

— В приемные часы пошепчемся, — отмахнулся Андрей, запирая двери.

— Да не поздно ли будет? Дело-то уж очень важное.

— Проходи, проходи, гражданка Чашкина, — строгим басом вмешался Тимофей. — Не видишь, Андрей Сергеич задержанного доставляют. А ну как побег из-за тебя совершу. Подведешь участкового. И, глядишь, и тебя посадят за соучастие.

Он сгорбился, заложил руки за спину, хмурясь, пошел к мотоциклу. Бабка соскочила с крыльца, забежала за дом, стала испуганно поглядывать на них из-за угла.

Дружок, усаживаясь в коляску, говорил сочувственно:

— Исчерпали вы ко мне меры, Андрей Сергеич. Сколько же вам хлопот со мной — аж душа мнется. Но и то сказать — ведь вам за эти хлопоты зарплата идет, и обмундирование справляют, и транспорт государственный. Так что, понимай, я вас кормлю, пою и одеваю. Что бы вы без нас делали, чем бы жили? Вы берегите нас...

Когда Андрей вывел машину за околицу, Дружок уже крепко спал, надвинув от солнца кепочку до самого носа, из вежливости шевеля губами, будто продолжая приятный обоим разговор.

У моста Андрей притормозил, пропуская бегущий навстречу редкий в этих краях, дикого какого-то, сумасшедшего цвета «жигуленок»-пикап, словно тянущий за собой дымовую завесу пыли. Опуская щиток шлема, мельком взглянув, увидел небрежно брошенную к седому виску в насмешливом приветствии руку, узкие спокойно-внимательные глаза, длинную сигарету в углу рта и краешком сознания отметил: «Вернусь — надо проверить, кто и зачем».

Разбуженный остановкой Тимофей приподнял мя-

тый козырек кепчонки и спросил, спрононок перепутав слова:

— Мы уже туда или еще обратно?

— Обратно через шесть месяцев будешь добираться, — буркнул Андрей. — Своим ходом.

На Дружка ничто не действовало: ни постоянный портрет на черной доске, которую завели по решению правления для пьяниц и прогульщиков, ни штрафы (он все равно их не платил), ни «сутки», ни беседы. Все это он воспринимал со спокойным достоинством, как действительно заслуженное, каялся, беззлобно валял дурака и продолжал пьянствовать. В общем-то, неприятностей от него не было, гулял он смирно, по-своему «дисциплинированно», и, если бы не его загадочные и явно нечистые доходы, Андрей еще мог бы потерпеть. Но пока выхода другого он не видел.

За рекой Тимофеем приподнялся в коляске и помахал, прощаясь, кому-то на птицеферме. Андрей молча, не поворачивая головы, снял руку с руля и нажал на его плечо, усаживая на место.

— Спеть, Андрей Сергеевич? Дорожную, а? — и запел дрожащим от тряски голосом какую-то нудную песню, прикусил на ухабе язык и замолчал.

В Дубровниках Андрей остановился у рынка и перебежал на другую сторону, к киоску — не терпелось купить газеты. Возвращаясь, он увидел какую-то местную даму — по-летнему в соломенной шляпке с цветочками и в черных до локтей перчатках, — которая величественно топталась около мотоцикла и что-то выговаривала Тимофею, зло блестя золотыми зубами. Андрей услышал, как тот возмущенно оправдывался:

— Мадам, какие курочки, какие яички? Не видите, что ли, мое положение?

Дама, заметив подходившего милиционера, всполошилась, подхватила с дороги набитые сумки и, стуча каблуками, скрылась в воротах рынка.

— Клиентура? — поинтересовался Андрей.

— Что вы, Андрей Сергееч, как можно? Дама сердца, нежный предмет душевного влечения. Прошу вас, не делайте дальнейших вопросов — это бестактно. И бесполезно.

Андрей подогнал мотоцикл к райотделу, выключил двигатель.

— Все, приехали. Вылезай.

Дружок приподнялся, стал неверными руками то-



ропливо отстегивать фартук, сломал ноготь — и вдруг по-настоящему заплакал. Андрей растерялся.

— Ты что, Тимофей? Ушибся?

Дружок сорвал с головы грязную кепку, уткнулся в нее лицом.

— Вот, дожил, люди добрые. Вот, доигрался, маменька родная.

— Ну ладно тебе, хватит, — попросил Андрей. — Люди кругом.

— Сейчас, Сергеич, справлюсь. Ослабел от водки — чуть что, на слезу тянет.

«Лечить его надо», — с жалостью подумал Андрей.

— А, черт с тобой! Поехали обратно! Сходи вон к колонке, умойся. На кого похож!

Тимофей так же быстро успокоился, только по-детски хлюпал носом:

— Нет, не отпускай меня, участковый, — все равно сорвусь, не выдержу. Я понимаю, ты не со зла, для моей же пользы. Пойдем сдаваться...

Фамилия у него была хорошая — Великий. Да к тому же и звали его Петром Алексеевичем. Знакомясь, он так и представлялся: «Петр Великий». А иногда, если было к месту или возникала необходимость усилить впечатление, которое хотел произвести, добавлял, что у его колыбели, как у одного из героев Жюль Верна, стояли две крестные — фея Приключений и фея Удачи.

Многим, особенно девушкам, нравились его легкие шутки. Нравился он сам: спокойный и уверенный в себе, чуть ироничный и в то же время дружелюбный, много повидавший — «интересный мужчина» с сединой в густых волосах, с твердыми складками вокруг рта, с каким-то нечистым, но влекущим обаянием.

В Синеречье он приехал отдохнуть, «вновь обрести душевное равновесие, утраченное в ратных делах и бурях житейских». Перетаскивая из машины вещи, приезжий подробно объяснял все это глухому деду. Дед кивал головой, ахал, всплескивал руками, как будто все слышал и понимал — с ним давно уже никто не разговаривал так уважительно и долго.

— Дедушка, — говорил приезжий, щелкая замками чемоданов, — а девицы, которые стоят греха, у вас есть?

Дед, обрадованный, что хоть что-то, как ему казалось, понял, кричал:

— Есть, милый, есть! И рыбка еще водится, и гри-

ба нынче много брали, а в Аленкиной пойме нонешним летом так вовсе козу дикую застали!

— Эх, дед, неинтересный ты собеседник...

К вечеру, устроившись и разобрав вещи, приезжий вышел на улицу — осмотреться, познакомиться. Он на показ — в отглаженном костюме, при шляпе и трости, с плащом через руку — прошелся селом, обходя или легко перепрыгивая лужи, заглянул в магазин и со всеми поздоровался, постоял у афишки клуба. Походил и вокруг церкви, осмотрел ее с большим вниманием: вежливо и красиво, сняв шляпу, поклонился выходящему из придела священнику — отцу Леониду. Затем спустился к реке, оглядывая дали, дыша полной грудью и разводя руками в немом восторге.

Здесь его и застали три дружка, три старших школьника — лоботрясы Кролик, Колька Челюкан и Мишка Куманьков. Поначалу они, умышленно не обращая на него внимания, занялись под кусточком «недобитым пузырьком», который Мишкин отец не осилил накануне, — благо знали, что участкового нет в селе. А потом им показалось, что приезжий выбрал место удобнее, мешает им, и вообще — делать ему здесь нечего. «На задир», как обычно, послали Мишку. Тот скоро вернулся, отряхивая одной рукой спину, другой зажимая оплывающий глаз.

Дружки с готовностью поднялись. Васька-Кролик, который вовсе на кролика похож не был, а был вылитый поросенок, даже говорил, как похрюкивал, поднял с земли пустую бутылку. Колька расстегнул телогрейку и сдвинул ее немного с плеч. Ученый уже Мишка, горя мезью, но и побаиваясь, держался поодаль.

Подошли. Пошел разговор. Приезжий держался спокойно, улыбался — без страха и не с презрением, а как-то по-доброму, снисходительно.

Мишка подкрался сзади; лег за его спиной. Старый фокус не прошел: приезжий, не снимая с лица улыбки, не оборачиваясь, ударил назад ногой — Мишка откатился, скорчился, прижимая руки к животу, завыл. Великий резко перехватил руку Кролика с бутылкой, вывернул ее и коротко вlepил ему в челюсть. Тут же Колька Челюкан почувствовал, что две сильные руки взяли его за ворот телогрейки и что ноги его отрываются от земли. Сделав в воздухе пол-оборота, он тяжело, пузом, шлепнулся на землю, полежал, встал на четвереньки, мотая головой.

Приезжий неторопливо поднял с земли плащ, аккуратно встряхнул его и, перебросив через руку, оперся на трость.

— Ну, мушкетеры, продолжим наши игры? Или перейдем к мирным переговорам? Надеюсь, вы уже поняли, что объект для нападения выбран вами крайне неосмотрительно? А вообще-то хвалю: действовали смело, энергично, а главное — дружно. Но, — он брезгливо поморщился, — примитивно, грубо.

— Да уж конечно — приемов не изучали, — проскулил Мишка, икая.

— И напрасно. Мужчина — это прежде всего воин, не правда ли? И в наше время он тоже должен уметь владеть шпагой. В свободное время не откажусь дать вам несколько полезных уроков — люблю смелых, решительных ребят и поощряю эти качества. За сим — откланиваюсь! — Он поднялся на несколько шагов по тропке, обернулся. — Визитной карточки не оставляю, а нынешняя моя резиденция, как вы, верно, уже знаете, — у достоправного аксакала Пиди. Надеюсь, вам известны такие слова, как «резиденция», «резидент». — Он сделал ударение на этих словах. — Отлично — вы не только смелы, но и не глупы. В свое время, находясь в спецкомандировках за рубежом, я многому научился — с удовольствием поделюсь с вами частью моего опыта. А также многими другими интересными впечатлениями. Чао!

— Во — мужик, да? — восхищенно пропел Колька, вытирая руки пучком сухой травы. — Небось в разведке работал!

Всю обратную дорогу не выходил из ума Тимофёй. Поневоле вспоминал Андрей его незадавшуюся жизнь, и многое в ней виделось теперь по-иному. Был когда-то Тимофёй Петрович Елкин грамотным специалистом, видным на селе человеком. Потом, когда жена перебралась в город, закрутила там «роман с последствиями» и забрала детей, он потихоньку запил. Но, не желая показывать людям горя, не ища жалости, пил весело, бодрился, придуриваясь, скрывая злую тоску и обиду. Стали его сторониться, общались несерьезно, слегка, за бутылкой под кусточком, а вот для раненого сердца близких никого не осталось. Когда Андрей с дружинниками опечатывал Тимофеев домишко, ему как-то остро и жалко бросилось в глаза его запустение, давнее и глу-

бокое равнодушие хозяина к родному гнезду. Пусто было в доме, холодно от этой пустоты, грязно не по-хорошему. И только один уголок оставался светлый — где висела под чисто протертым стеклом в хорошей самодельной рамочке семейная фотография.

Некстати вспомнилось Андрею и письмо Семена. Вот и пойми, разберись, участковый. Один укоряет, что строгости к нему было мало, а с другим, выходит, наоборот — слишком круто завернул. А его еще за чуткость хвалят, в газетах печатают.

Андрей, не останавливаясь, вырвал из-под ремешка планшетки свернутые газеты, зло скомкал их и бросил в кювет.

Неожиданно заморосило, потом припустило сильнее. Андрей был без плаща, поэтому свернул к птицеферме — все равно надо туда наведаться.

Будто на шум мотоцикла выскочила, толкнув ногой дверь, Галка, держа лоток с горкой надколотых яиц. Андрей загнал мотоцикл под навес, снял шлем и, ежась, втягивая голову, побежал к крылечку, скользя сапогами по сразу размокшей земле.

— Яичко выпьешь, участковый? — улыбнулась она.

Галка стояла совсем рядом, и Андрею было приятно смотреть на нее. Как-то колхозный пастух Силантьев при случае очень хорошо сказал про нее: «Мордашка славная такая, все будто улыбается». Верно старик заметил. А почему так, и не поймешь сразу: то ли ямочек на лице много, то ли веснушки играют, то ли глаза чересчур блестят, а то, может, и просто — хороший человек была Галка. С детства она отличалась решительностью характера, никогда не смущалась препятствиями, все ее любили, и все у нее получалось, потому, видно, что шла всегда к цели весело, вприпрыжку и напевая, — значит, уверена была в себе и силы свои хорошо знала. Еще когда в шестом классе училась, вроде шутя, подружке сказала, а для себя твердо решила: «Кончу школу — сразу за Андрея замуж пойду! Думаешь, по Дашке страдает — справлюсь! У Дашки всего-то — коса да глаза, и лет ей, наверное, уже двадцать. А таких, как Андрей, не то что в Синеречье, на всем белом свете больше нет!» Казалось, пошутила тогда Галка, а вот совсем недавно шли они с Андреем по селу — по пути было, и кто-то с лавочки, глуховатый, видно, сказал им вслед: «Кабы поженить их — то-то бы детишки у них хороши были». Андрей посмеялся, обер-

нулся и шутливо пальцем погрозил, а у Галки ноги подкосились. Теперь, встречая Андрея, она не знала, что делать, как держать себя, терялась, скрывала смущение легкой девчоночьей болтовней — трещала как сорока обо всем подряд, что приходило в шальную от первой любви голову.

— Ой, Андрейка, как тебе форма идет! Совсем на себя не похож. Ты по делу или навестить кого? А я постричься хочу...

— В монашки, что ли?

— Сам ты монах! На танцы только дружинников проверять ходишь. Дашка тебе жить не дает? Вот это возьми — смотри какое большое, даже жалко, что треснутое. А несучки все пропадают — плохо ты их стережешь. Я даже председателю жаловалась, а он говорит — лисичка. Чудная только какая-то лисичка — по выходным работает.

Андрей вспомнил даму около рынка.

— По-моему, эта лисичка больше не придет... В ближайшие шесть месяцев.

— Да бери еще, не стесняйся — эти все равно списывать в бой. Придешь сегодня на танцы? У стариков Чашкиных такой интересный дачник объявился, с машиной. Ребята его уже поколотить успели. А дождик кончился. У меня какие глаза, а? Милка говорит — серые, врет, правда? У меня — голубые, как у нашего любимого участкового Андрюши. Побежал, побежал! Кур не подави своим драндулетом! Покатай меня, а? Чтоб Милка похудела. На мосту оглянись — я тебе помашу, ладно?

Андрей, улыбаясь, завел мотоцикл.

## Глава 2

Это сейчас Афродита Евменовна Чашкина — чистая Баба Яга обликом, а в молодости была хороша на редкость. Давно как-то заезжий землемер, образованный, видно, человек, подглядел, как накануне свадьбы, купавшись в живых росах Аленкиной поймы (был в Синеречье такой обычай), выходила молодая красавица из мокрых трав, словно из волны морской, облитая блестящими при луне каплями, и с восторгом назвал ее Афродитой, стал с той поры, несмотря на замужество, оказывать ей непристойное внимание.

Землемер ездил на велосипеде со звонком, носил

коротенькие пузырчатые брючки гольф с застежками под коленками и занимался редким тогда спортом — боксом, прыгал в длинных трусах по двору, приседал и махал руками. Муж Евменовны, тихий простой паренек с древним именем Елпидифор (Пидя — по-уличному), долго терпел такое нахальство, лестное его молодой взбалмошной супруге, и наконец по-мужички просто и добротнo, без разговоров и выяснений, отлупил землемера, несмотря на его бокс. Тот быстро собрался и уехал на своем велосипеде, но долго потом слал письма, адрес в которых указывал правильно, а милого сердцу адресата подписывал неизменно: несравненной Афродите Синереченской. О романе, конечно, знало все село, и сверстницы ехидно до сей поры звали Афродиту Евменовну Фронькой-землемершей.

Сегодня, в приемные часы, которые Андрей специально, чтобы люди не отрывались от работы, установил в вечернее время, она явилась первой, прикрыла за собой дверь, на цыпочках подобралась к столу, села, оглядываясь.

— Ну, — вздохнул Андрей. — Выкладывайте, гражданка Чашкина, свое важное дело.

— Да я, Андрейка, уж по другому вопросу. Тому делу, пока ты ездил, давно срок вышел. Хочу помочь тебе — сведения сообщить, очень секретные. — Она опять опасливо оглянулась, зашептала: — Жилец-то мой, что сегодня поселился, ребята говорят, вражеский человек, разведчик. Они его на речке еще захватить хотели и к тебе доставить, а он их всех раскидал и вырвался. Да ты не переживай — я его в горнице заперла. Пойдем, арестуешь. Видишь, вот и тебе от меня помощь вышла. Я-то всегда добро помню. Ты меня два раза выручал, теперь мой черед пришел. А как же?

Ах, как хотелось Андрею хватить кулаком по столу, гаркнуть позлее, чтобы выскочила Евменовна за дверь и дорогу навсегда к нему забыла. Но он внешне и бровью не повел, глазом не моргнул.

— Спасибо, гражданка Чашкина. Вы посидите там, во дворе. Я прием закончу, — в голосе его помимо воли прорвалась грозная нотка, — и пройду с вами, разберусь.

Бабка поняла его по-своему, согласно закивала головой:

— Разберись, разберись построже, чтоб ему не повадно было...

Последней несмело вошла Дашутка. Со дня ареста Семена они почти не встречались. Дашутка несколько раз ездила в район — следователь вызывал, была и на суде, но с Андреем на эту тему они не разговаривали — неловко было, да и ни к чему теперь вроде.

Андрей посмотрел на нее, увидел, как она заметно пополнела и как похудела на лицо, и вдруг с радостным облегчением спохватился, что сердце-то его почти спокойно, только бьется в нем добрая человеческая жалость, вызывая лишь одно, понятное и простое, желание — помочь тому, кто попал в беду.

— Здравствуй, Дарья Михайловна. Садись, что ж ты?

— Насиделась уже за день. — И в ее голосе Андрей тоже уловил ту легкую дружескую простоту, которой давно не было между ними. — Меня ведь председатель с полевых работ освободил, в контору направил, говорит, вредно тебе. Как будто понимает что. Сильно заметно уже, да?

— Ну так что? — немного смутился Андрей. — И так все уж знают.

Помолчали легко, без тягости. Дашутка водила пальцем по краю стола, вздохнула:

— Андрюш, я зачем пришла-то, от Семена ничего нет? Не писал он тебе? Или ты, может, по службе что знаешь?

Андрей подумал секунду и протянул ей письмо Семена. Дашутка читала, всхлипывая.

— Жалко мне его. Ой, как жалко, дурака! Ты, Андрей, очень плохо о нем не думай. Он ведь просто глупый еще, вырастет медленно.

— Смотря в чем, — вырвалось у него.

Дашутка не обиделась, улыбнулась так спокойно, с таким мудрым превосходством взрослой женщины, почти матери, что Андрею стало стыдно.

— ...Ты мне вот что скажи, как ему писать, куда? — Дашутка встала, положила письмо на стол. — А раньше его не выпустят? В конторе говорят: если хорошо ведут себя, так их раньше выпускают, верно?

— Случается: условно-досрочно. Но сейчас рано об этом говорить.

— Ну, узнай при случае, ладно? Ведь даже прокурор на суде просил, чтобы ему дали... как это? — ниже нижнего, что ли, предела? И адвокат говорил, что это не убийство, а преступная неосторожность.

— Эх, Дашутка, доброе сердце у тебя. Хорошо Семену за тобой будет жить, надежно.

— Ничего, Андрей, и ты такую встретишь.

Андрей обещал ей навести справки, сказал, чтобы зашла на той неделе, и проводил до крыльца.

Евменовна, дремавшая на скамейке как курица на жердочке, встрепенулась, потрясла головой, прогоняя сон, посмотрела Дашутке вслед.

— Ну, пойдемте, гражданка Чашкина. Посмотрим, что за шпиона вы приютили.

Еще далеко от двора Чашкиных Андрей услышал глухой равномерный стук: похоже, кто-то, отчаявшись, безнадежно дубасил в дверь. Он взглянул на Евменовну. Та поспешно закивала головой:

— Он, он. Ты не бойся, не вырвется — я его на ключ закрыла и лавкой приперла. А в горнице у нас на окнах еще со старого времени решетки остались. Не уйдет!

Они вошли в сени. В открытую дверь Андрей увидел, что глухой дед Пидя сидит за столом перед сахарницей с леденцами, пьет молоко и косится в окошко: гремит давно что-то, а дождя все нет. Дед — в новой, острыми складками слежавшейся рубашке (принарядился по случаю жильца) и в широких портках на подтяжках из разноцветных бабьих поясков — был похож на испуганного малыша, которого в первый раз оставили одного.

Евменовна отодвинула скамью, повернула ключ и с криком: «Спасайся, Андрюша, сейчас как выскочит!» — отлетела в сторону.

И точно — дверь распахнулась, грохнулись на пол пустые ведра и разбежались по углам.

— Извини, шериф, я сейчас! — Приезжий, оттолкнув Андрея, выскочил во двор. Хлопнула дверца уборной.

— Теперь там запрется, — прошептала Евменовна, крестясь. — Обратно упустили!

Вскоре он вернулся, облегченно вздыхая, улыбаясь.

— Ты, бабуса, уж если содержишь кого под стражей, так хоть парашу в угол ставь или горшок под кровать — чуть не лопнул!

Евменовна сконфузилась, шмыгнула в комнату, пугнула деда и загремела посудой.

— Участковый инспектор Ратников, — представился Андрей. — Надолго к нам? С какой целью.

— Цель, шериф, примитивная, — ответил приезжий, протягивая документы. — Отдохнуть после трудов пра-



ведных. Сколько пробуду — не знаю, как понравится. Если задержусь, то прописку оформлю, не беспокойся. — Достал сигареты. — Пойдем на крылечко, коллега, покурим. Не удивляйся, что коллегой зову: мы тоже люди не простые. — Подмигнул. — Лишних вопросов не задавай — крепче спать будешь.

«Шутит или за дурака меня считает?» — подумал Андрей, выходя на крыльцо.

— Нравится? — кивнул Великий на стоящую во дворе машину.

— Ничего, — сдержанно похвалил Андрей. — Цвет только непривычный.

— Я называю его «цветом возбужденной мулатки». Неплохо? — И снисходительно посмотрел на Андрея — способен ли сельский участковый оценить такую пикантную тонкость. — Если нужда какая, прошу без стеснения обращаться, не откажу.

— Спасибо. У меня свой, служебный транспорт.

— Такой же модели? — чуть заметно улыбнулся, присел на перила.

— Нет. Трехколесный. Самый проходимый по нашей местности. — Андрей спустился с крыльца. — Столовая у нас хорошая, рядом с клубом.

— Я у стариков буду столоваться: люблю простую здоровую пищу. — Помолчал, посмотрел, как сквозь путаницу сухих ветвей трудно продирается луна. — Тихо у вас. Уютно.

Андрей поднял руку к фуражке:

— Желаю хорошего отдыха.

Великий встал с перил, наклонил голову.

— Благодарю, шериф. Доброй ночи, — и долго смотрел ему вслед, прищурив глаз, покачивая головой, словно к чему-то примериваясь, как бы половчее взять, чтобы не ошибиться.

С утра Андрей заглянул в магазин — проверить, не отпускает ли Евдокия водку. При его появлении несколько мужиков озабоченно выбрались из очереди и, будто вспомнив неотложные дела, гуськом, послушно, по-детски подталкивая друг друга в спины, вышли на улицу. Один только Петрухин задержался; улыбаясь, поднес к козырьку кепки крепко сжатую ладонь, из которой торчали уголки смятых рублевок.

— Ты что выходной сегодня? — строго поинтересовался Андрей.

— Радость у меня в доме, Сергеич, такая радость: у Машки зубик прорезался! Дай команду Дуське, чтоб горячего отпустила, а? Вечером-то не успею.

— У тебя, Петрухин, Машка-то, кажется, пятая по счету? — Андрей чувствовал, что вся очередь с большим вниманием прислушивается к их разговору, ждет — чем он разрешится.

— Пятая, пятая, Сергеич, меньшенькая — такая славная получилась — уж и не знаю в кого!

В очереди засмеялись.

— Вот я и считаю, — продолжал Андрей. — Роды, крестины... Ведь крестил?

— Теща носила, а как же?

— Дни рождения отмечаешь? Как в первый класс идут — тоже? Да и каждому по двадцать восемь зубов положено, верно? Не сопьешься, Петрухин?

Петрухин обиделся:

— Вот свои будут у тебя — тогда поймешь мою радость, которую ты испортил.

— Ты лучше Машке на зубок вещицу какую купи — пользы больше, — посоветовала Евдокия. — Свои-то зубы все уже пропил.

Опять засмеялись, потому что зубов у Петрухина осталось через один.

— Не куплю! — вконец расстроился он. — Вот именно у тебя и не куплю! В Оглядкино не поленюсь за гостинцем сходить, а у тебя не буду. Вот! — и хлопнул дверью.

Заглядывающие с интересом в окна мужики попрыгали с завалинки.

Когда Андрей вышел, они, собравшись в кружок вокруг Петрухина, о чем-то тихонько советовались, иногда сквозь шепот прорывался матерок. Завидя Андрея, разошлись. Кто-то незло погрозил ему кулаком в спину.

Андрей присел на скамейку, сняв фуражку, положил ее рядом.

В селе было тихо. Изредка гремело ведро, падая в колодец, слышался где-то на дальнем конце стук топора. Сильно пахло горьким дымом — на огородах и во дворах сжигали ботву и палые листья.

Во дворе у председателя во всю мочь заорал запоздалый петух. Он был большой охотник до соседских кур и потому, видно, утомленный дневными похождениями, бессовестно просыпал свою утреннюю смену. Когда он, спохватившись, горланил на все село, ему злобно, ко-

ротко, будто взлаивали молодые псы, отвечали обманутые, оскорбленные соперники.

Андрей встал, и тотчас, будто ждала этого, выскочила из-за магазина тетя Маруся, побежала навстречу: слезы, сбившийся платок, на одной ноге — резиновый сапожок, на другой — туфля. Не добежав, закричала:

— Андрейка, беги скорей ко мне — Вовик опять в поход собрался! Я его пока в сарае заперла, окаянного, да боюсь, как бы подкоп не сделал!

— Что-то вы повадились запирать? — сказал Андрей, шагая к Марусиному дому. — Куда теперь собрался? В прошлый раз в Чили, с фашистами бороться?

— Не говори, но, видать по всему, далеко — даже валенки захватил и старый примус.

— А отец-то ваш где?

Маруся приостановилась, прижала руку к сердцу:

— Ой, погоди, совсем в груди зашлось... Да с отцом вишь, как совпало — уехал с инженером машину получать, уж третий день нету. Ты приструни его поостроже, Андрей, пострадай — не век же мне его караулить!

Что и говорить — трудно было Андрею работать. И возраст еще несолидный, и опыта совсем нет, и с людьми еще по-разному ладить не научился, а главное: чуть не все село — родня, друзья, все с детства его знают. И считают — раз свой, так уж должен иногда и поблажку сделать, в положение войти. А он не входит. Кое-кто, кого прижать пришлось, уж и не здоровается, отворачивается при встрече, никак не поймет, что не для себя старается, не для авторитета. Но когда вот так, про все позабыв, за помощью к нему, за советом или защитой бегут — сердце радуется и уверенность растет, что нет для него на свете лучшей работы, нужнее дела.

Маруся откинула от дверцы сарая полешко и запахнула ее. Вовка, одетый в школьную форму и поверх нее — в подпоясанный ватник, в лыжной шапочке, смиренно, но с упрямством во всей фигурке сидел на рюкзаке, решительно смотрел на них.

— Ну пойдем, — сказал Андрей по-дружески. — Я тебя до шоссе провожу, попутку тебе остановлю.

Маруся в голос заревела. Андрей обернулся, подмигнул — Марусю как выключили.

Вовка с удивлением, недоверчиво посмотрел на них.

— Пошли, пошли. Или испугался?

— А чего мне бояться? — Вскинул на плечо рюкзак,

вытянул за ремень откуда-то из угла ружье в чехле.

— Ружье оставь — вещь не твоя, да и рано тебе им пользоваться. А ты иди, Маруся, домой. Попрощайся с ним — и иди. Жди от него писем. Откуда? Ты в Сибирь наметился, на стройки? Или на зимовку?

Вовка предпочитал отмалчиваться. Он не понимал, почему его не ведут в милицию или в школу, он был полон недоверия и ждал какого-нибудь ловкого подвоха со стороны участкового. Андрей же был ровен и спокоен, говорил с ним по-дружески, будто ничего особенного не видел в том, что пацан бежит из дома, а он — милиционер — помогает ему в этом, провожает в дорогу.

Известной им тропкой — Вовка с рюкзаком за плечами впереди, Андрей следом — они вышли на проселок и дальше пошли рядом, согласно шурша листвой.

— И чего тебе, Владимир, дома не сидится?

Вовка опять промолчал, даже губы сжал поплотнее, бросил на Андрея чистый, откровенно встревоженный взгляд.

— Думаешь, я тебя отговаривать буду? Нет, Владимир, не буду. Я ведь тоже из дома бегал. Да и не таким мальцом, уже постарше был — школу кончал. Тогда война во Вьетнаме шла, слышал об этом?

Вовка кивнул:

— С американцами?

— Ну, да. И так мне вьетнамцев жалко стало: такие они маленькие — я в газете видел, — худенькие, как пацаны совсем...

— А американцы здоровые, мордастые, с вертолетами, — поддержал Вовка.

Они вышли к шоссе, сели рядом на скамеечку под грибком. Вовка поставил рюкзак на колени, уперся в него подбородком, ждал.

— Собрался я и пошел в военкомат, принес заявление — хочу помочь вьетнамскому народу в справедливой борьбе против жестоких интервентов. Военком — он у нас хороший был, фронтовик — руку мне пожал, говорит, спасибо, вьетнамский народ очень нуждается в твоей помощи. Мы, говорит, из таких юных добровольцев решили создать особый отряд десантников. Завтра собираем всех, и ты приходи.

— Значит, ты, дядя Андрей, и во Вьетнаме воевал? А я и не знал!

— Нет, Владимир, ты слушай дальше. Собрались мы, посадили нас в машину, военком с нами, всю дорогу

боевые песни пели, радовались — думали, оружие получать едем. И правда, приехали в воинскую часть. Построили нас и повели на полигон, где десантники тренируются. Смотрим — впереди чего только не настроено: и какие-то бревна на разной высоте, и лестницы всякие, и проволока колючая накручена, и, знаешь, такая стенка в виде дома с окошками. Военком говорит: «Это, ребята, полоса препятствий». И тут видим — выскакивает из окопа солдат в берете и с автоматом и на эту самую полосу. Как он начал по ней мелькать — преодолевать — ловко так, быстро: с бревна на бревно, под проволоку, на какие-то качели, а с них как даст очередь, а потом к дому — в одно окошко гранату, в другое и сам туда же, будто и себя в это окно бросил. Выскакивает, а рядом вражеские солдаты стоят — манекены, куклы такие, — он одного штыком, другого прикладом, третьего ногой в пузо и — дальше. Вдруг впереди как вспыхнет, и он прямо в огонь, проскочил, пламя с одежды сбил — и к машине. Завел и помчался, по канавам, по мосткам, разогнал ее и прямо в машине через окоп перепрыгнул — мы все ахнули. Смотрит на нас военком, улыбается. Кто, говорит, повторить может? Один из нас попробовал — с первого же бревна свалился. «Все понятно, ребята?» — говорит военком...

— Дядя Андрей, — отчаянно завопил Вовка. — Я ведь тоже все понимаю, я ведь и учебники с собой взял, даже за два класса! Батя мой на границе служил, два раза нарушителей задерживал и товарища, который поранился, спас! А я за всю жизнь еще ни одного подвига не совершил!

Андрей положил ему руку на плечо, сказал серьезно:

— Хороший ты человек, Вовка. Если останешься таким, обязательно подвиг совершишь.

Вовка опустил голову, с каким-то тихим отчаянием покачал ею:

— Не совершу. Боязливый я, темноты боюсь. И пьяниц. Я для того и уезжать собрался, чтобы закалить себя от страха...

— Постой, постой, — удивился Андрей. — Это ты-то боязливый? Ничего себе! А с Куманьком кто подрался? Он же насколько старше и сильнее, а?

— Подрались любой дурак сможет. Особенно за справедливость...

— Ах ты, Вовка, Вовка, — не удержался Андрей и,

обняв, притянул его к себе. — Пойдем-ка, Вовка, домой — мать-то волнуется.

Они встали. Вовка безропотно отдал Андрею тяжеленный рюкзак, а сам вызвался нести его планшетку.

— Тебе хорошо, дядя Андрей, у тебя работа вон какая. И не боишься ты никого — ни пьяных, ни хулиганов, ни бандитов.

— Не боюсь, — твердо ответил Андрей. — Не боюсь, потому что я тоже — за справедливость, потому что со мной рядом много таких, как ты, — они в беде не оставят, помогут, если надо.

Вовка не сдержал улыбки, потерпел — и все-таки засмеялся от радости.

— Хочешь нам помогать?

— А как? Меня ведь и в дружину не приняли. Богатырев говорит: мал еще, а сам, хоть и старый, а все еще с меня ростом.

— Не в росте дело, Вовка, а в характере. Будешь у меня помощником?

— Дядя Андрей, — Вовка остановился, поднял руку, будто хотел отдать пионерский салют. — Дядя Андрей, что ни попроси — все выполню, ничего не испугаюсь!

### *Глава 3*

Церковь в Синеречье была очень красивая. Стояла она, как и положено, на горюшке, в кольце речной излучины, отовсюду видная, радовала глаз свежим золотом сквозных крестов, легкостью затейливой, в два цвета кладки — белым и ярко-красным, чуть ли не алым кирпичом. Издалека, как смотришь на село, то будто плывет над ним, сверкая, белое облако, окрашенное солнечными лучами, и сбегаются поглядеть на это чудо маленькие домишки, толпятся под ним, с наивным каким-то восхищением задирая неказистые крыши.

Церковь на все Синеречье осталась одна, ходили в нее со всей округи, так что средств на содержание храма доставало, тем более что он был признан памятником старины, образцом какого-то зодчества какого-то века — толком никто не знал, и охранялся государством. Да и правление колхоза не отказывало отцу Леониду, если в чем была нужда: где-то подкрасить, где-то крышу залатать — материал и рабочие руки всегда находились.

Отец Леонид был молод, приветливо-улыбчив, хоро-

шо, добротнo образован. Ходил с красивой бородкой и кудрями до плеч, по утрам занимался во дворе полезной для тела гимнастикой и ловко колол дрова, что «церковным уставом не возбранялось». В сенокос он выходил вместе со всеми в луга, не избегал субботников и пел в самодеятельности старинные русские песни, которых знал множество, — к нему даже ездили из областного хора для консультации, а также «записать слова». Отец Леонид был уважаем верующими, но и не вызывал раздражения у атеистов; он правильно нашел свое место в селе, не держался в сторонке от общественной жизни, кичась духовным званием, не упускал случая внести посильный вклад в дело воспитания молодежи. Застав как-то Мишку Куманькова, когда тот царапал на церковной ограде гадкое слово, отец Леонид не стал призывать кару небесную на голову осквернителя храма божия, но, перекинув того через колено, по-простому, по-земному отделал его зад мощной дланью — благо был силен и молод и, само собой, — не пил, не курил.

Мишка сдуру побежал жаловаться «батяньке», да в недобрый час попал — батянька пребывал в очередном жестоком похмелье, жадно ища случая разрядиться. Мишка ему вовремя подвернулся. Куманьков-старший мрачно одобрил меру воспитания, избранную отцом Леонидом, но, посчитав ее недостаточной, со своей стороны добавил Мишке «до полного уровня». С той поры вспыхнула и посейчас не угасла тайная вражда между православной церковью и Мишкой Куманьковым, который отца Леонида теперь иначе, как мракобесом, не называл.

Прошлым летом Мишкина компания, дернув с фермы килограммовый брикет кормовых дрожжей, плюхнула его в сортир служителя культа. Дело было в самую жару, и пожарная команда, прибывшая ликвидировать последствия, только постояла с наветренной стороны, поморщилась и уехала.

Отец Леонид у себя во дворе смиренно улыбался в бороду, потому что Куманьковы были его соседями, и все забродившее, закипевшее дерьмо неудержимым зловонным половодьем поплыло на их усадьбу. Мишка два дня прятался где-то в лесу, подкармливаемый друзьями, батянька, намотав на руку ремень, рыскал по окрестностям в его поисках, а отец Леонид, смиренно улыбаясь в бороду, стал с той поры запирать свой сортир

на ключ, дабы не искушать перазумных отроков, не ведающих, что творят.

С утра нехотя, будто кто-то его силой заставил, побрызгал дождик — освежил желтеющую потихоньку травку, чуть смочил крыши — и спрятался.

Скользкой, петлявшей по горушке тропкой Андрей поднимался к церкви. Издалека увидел отца Леонида. Тот, помахав ему рукой в широком рукаве, стал, задрав подол рясы, вытаскивать из кармана брюк далеко и звонко бренчащую связку ключей. Рядом с ним стояла, вздыхая, опустив заплаканные глаза, бабуся Корзинкина. Отец Леонид что-то тихо говорил ей, отпирая двери. Временами до Андрея доносился его ласковый басок: «Его же бо любит господь, того и наказует... Не тот праведен, кто, начав хорошо, худо окончил, но тот, кто до конца совершит добродетель...» Бабуся согласно кивала, крестилась. Потом чмокнула отцову белую руку и пошла. Выйдя за ограду, обернулась и снова крестилась на купола, кланялась, что-то беззвучно повторяя губами.

— Ну, дал утешение, батюшка? С три короба наобещал? — спросил Андрей, подходя и садясь на самую верхнюю — сухую — ступеньку крыльца. — С чем приходила, если не секрет?

Отец Леонид улыбнулся — охотно показал ровные чистые зубы. Они с Андреем были почти одного возраста (Андрей даже чуть помладше), относились друг к другу с симпатией, правда, и с обоюдной усмешкой. Но если отец Леонид усмехался снисходительно, то Андрей — сердито. Андрей говорил ему «ты», отец Леонид вежливо «выкал». А вообще-то, вполне могли бы быть друзьями.

— На зятя сетовала. До сей поры поминает ей загубленное сатанинское зелье. Уста свои оскверняет непотребной бранью и рукоприкладство позволяет.

Андрей покачал головой, нахмурился. Ему очень не понравилось, даже огорчило, что именно с этой бедой бабуся Корзинкина пошла не к нему, а в церковь.

— Ну и какие меры ты принял, пресвятой отец? Восстановил справедливость?

Отец Леонид с шутливой строгостью погрозил пальцем:

— Не дразнитесь, Андрей Сергеевич, ибо всяк имеет



свои меры — кто действием, кто словом Божиим, но несет людям свет и добро.

— А как со злом? Подберешь цитатку?

— Подберу, — спокойно кивнул отец Леонид. — Не раз уже говорил и в том утвердился: кто же зло творит с умыслом и не ведая, да воздаст ему господь по делам его!

— А кто здесь терпит скорби и страдания, — в тон ему подхватил Андрей когда-то слышанное, — таковой там водворяется в радости. Или обретается, не помню? Вот я водворю этого зятяка суток на пятнадцать — пусть пообретается в радости!

— О чем дискуссия, молодые люди? — подошел Великий, помахивая тросточкой. Поклонился отцу Леониду, хлопнул привставшего Андрея по плечу: сиди, мол, сиди — не обижусь.

Он за эти дни стал уже совсем своим человеком в селе. Особенно тянулась к нему молодежь, ходила за ним, как выводок молодых волчат за смелым и опытным вожакom. Вот и сейчас за оградой осталась, видно, дожидаясь его, неразлучная троица — Челюкан, Куманьков и Кролик. Стояли, неумело потягивая папироски, сплевывая часто и небрежно, и тоже — с ореховыми палочками, вроде с тросточками. Челюкан даже шляпу на голову положил; при его драной и прожженной у костров телогрейке она особенно здорово смотрелась — как телевизор на телеге.

— Ну-ка, бросьте! — строго прикрикнул Андрей, вставая. — Уши надеру!

Переглянулись, усмехнулись, взглядами поспорили — кто первый, и, сделав вид, что уже докурили, щелчками послали окурки на дорогу, одновременно сплюнули — независимо и пренебрежительно.

— Это с ними у вас инцидент произошел на речке? — спросил Андрей Великого. — Я сразу не пойнересовался...

— Да что ты, шериф, какой там инцидент — не стоит твоего беспокойства. Я не в претензии. Как говорит мой знакомый слесарь-сантехник, не будем ломать копыя об эту тему. Ребята у вас хорошие, шустрые. Мы уже подружились. Люблю этот возраст — трудный, но благодатный и счастливый. Все мы через это прошли, и, к сожалению, безвозвратно. Кто из нас не вспоминает с теплой грустью свою первую сигарету, первую рюмку вина, первый романтический поцелуй? А, отче Леонид?

— Я некурящ, непьющ.

— Простите великодушно, — развел руки Великий, — немного зарвался по инерции. Не откажите в любезности — позвольте осмотреть ваш храм работнику искусств, специалисту по фрескам — живейший интерес питаю к подобного рода творчеству.

— Это не мой, это божий храм, — отвечивал несколько смягченный отец Леонид. — Осмотр его никаким образом гражданским лицам не возбраняется. Прощу! — Он посторонился, пропустил его в двери и, оставив их открытыми, спустился к Андрею, заговорил, понизив голос:

— Я в некотором недоумении, Андрей Сергеевич, относительно вашего прискорбного невнимания к церкви.

— Как это? — ошарашенно сморгнув, уставился на него Андрей. — Ко всенощной, что ли, не хожу?

— Я имею в виду ваше профессиональное, должностное внимание, — не принял шутки отец Леонид. — Да, да. Вы обязаны добиться организации постоянного милицейского поста у церкви. Или какого-то другого вида охраны. Для верующих — это храм, а для всех остальных — музей. Музей с бесценными, невосполнимыми при утрате произведениями искусства. Ведь у нас почти все иконы старинного письма, есть Дионисий, есть школы Феофана Грека. А книги? Евангелию в чеканном по меди футляре поистине нет цены, нет равного. Впрочем, в Дубровническом музее имеется подробная опись — вы бы ознакомились с ней при случае, если моя тревога вас не убеждает. Меня удручает, как быстро вы забыли печальную историю с иконами, которые чуть было не попали в чужие руки. Вы тогда вовремя вмешались — отдаю должное, но в следующий раз вы можете опоздать...

— А в чем дело? — обеспокоенно перебил его Андрей. — Есть тревожные сигналы?

— Да нет, какие там сигналы. Просто вполне естественное беспокойство о народном достоянии. Ведь все эти истинные сокровища принадлежат государству, церковь, если можно так выразиться, взяла их напрокат.

— Я понимаю... Ну, может быть, самое ценное — книги там, подсвечники и всякое такое — возьмешь домой? — неуверенно посоветовал Андрей.

— Что вы! Дом деревянный, решеток на окнах нет — я не могу позволить такой риск. Здесь все-таки безопаснее, запоры хорошие, окна забраны, по ночам в боко-

вушке сторож спит. Спит, Андрей Сергеевич! Сном праведника!

— Да не волнуйся ты так сильно. Кто у нас на такое решится?.

— Как знать... В ближайшие дни — я уточню, когда именно, — мне предстоит быть в отъезде. Направляюсь, по-мирскому говоря, на краткосрочные курсы повышения квалификации. Хотелось бы иметь спокойное сердце...

Андрей сдвинул фуражку на лоб, поскреб затылок:

— Да, задачка... Ну что — будем думать.

Из церкви вышел Великий. Щурясь после полумрака от солнца, оскаливая зубы, чем-то очень довольный, засовывал в нагрудный карман плаща записную книжку. Обратился к отцу Леониду:

— Благодарю за доставленное наслаждение. Имею честь и откланиваюсь с надеждой на повторный визит, — приподнял шляпу и спустился по ступенькам к ожидавшим его ребятам, пошел, окруженный ими, красиво покуривая длинную сигарету, похлопывая тросточкой по ноге.

На усадьбе колхозного пастуха Силантьева стояли двумя рядами громадные старые липы — видно, когда-то была аллея — и каждую осень щедро засыпали тяжелой листвой двор, огород и крышу дома. А летом из-за густой, не пробиваемой солнечными лучами тени ничего у Силантьева на огороде и в палисаднике не росло. Но липы он не трогал. Осенью терпеливо собирал подсохшую листву в громадные кучи, и, пока не сжег, со всего села сбегались покувыркаться в них ребятишки — не было для них лучшего удовольствия.

Андрей, прикрывая за собой косую — на одной петле — калитку, вспомнил, как совсем, кажется, недавно и он вот так же беззаботно барахтался и визжал в сухих палых листьях и с необъяснимой, какой-то тревожной грустью, будто зная, что скоро это кончится и никогда уже не повторится, вдыхал их незабываемый, горький и сильный запах.

Мальчишки (и Вовка-беглец среди них) сидели в этот раз спокойно на самой высокой куче, как грачи на копне, и, замерев, слушали бородатого Силантьева, который что-то рассказывал неторопливо, постукивая по земле старенькими деревянными граблями. Рядом на скамейке стоял самовар, и голубой дым из него пластами, похожими на лежащий туман, неподвижно держался в сыром и сумрачном от лип воздухе, висел на

голых ветках, цеплялся за крыльцо. Прямо, как у старого колдуна, подумалось Андрею.

Никто не заметил его, и он, подойдя ближе, услышал конец страшной сказки: «Теперь-то так не бывает, а в старину случалось... Этот самый упырь, он встает из могилы и ходит ночью по земле с закрытыми глазами и ищет ощупью детишек или кого помоложе, чтобы высосать кровь. И тогда, как насосется, он снова оживает и может жить среди людей, пока, значит, этой крови ему хватает. Ему, выходит, чтобы жить, нужна молодая кровь. Потом снова позеленеет, в могилу прячется, а по ночам опять встает, ищет. Вот в этот самый момент, как он ляжет, так надо до полночи вырыть его из могилы, отрезать голову, между ног ему положить да и вогнать в самое сердце кол, непременно осиновый. Тогда уж он — раз в сердце дыра, крови-то держаться негде — упырничать больше не сможет, сдохнет...»

Вовка тихонько повернулся и гаркнул соседу в ухо. Тот подскочил и бросился на него. Через минуту из кухни уже неслись вопли и торчали, дрыгаясь, одни руки да ноги, и уж не разобрать было, где чье.

— Здоров, Сергеич, — поднялся навстречу Андрею Силантьев. — Чайку попьешь? С сайкой. У меня и конфеты есть — для огольцов держу.

Андрей не отказался — когда он еще домой попадет — и сел рядом на скамью.

— Ты ведь по делу, конечно? Или навестить?

Андрей взял стакан, отломил кусок мягкой булки.

— Считаю, как тебе приятнее, — не стал врать Андрей, хоть и стыдно ему было.

— Да и то сказать, — согласился старик, — нынче навещать не принято. Все дела да случаи, всем некогда. Один я на все село в свободном времени нахожусь. Да еще этот, приезжий. Шибко интересный мужик. Он не из спортсменов будет?

— Да нет, по искусству...

— А... Я ведь почему так сказал — все по утрам вижу, как он бегают, тренируется. В костюме таком — красном, с лампасами, как у генерала, только белые они, а на спине не по-нашему написано. Красивый костюм. И сам он немолодой уже вроде, а здоровый такой.

Андрей как-то и сам его видел, когда рано утром — к первой дойке — ходил на ферму (поговаривали, что нет-нет да потечет молочко мимо колхозных фляг). Андрею-то теперь не до зарядки — и он с завистью

смотрел, как Великий — плотный, сильный, тяжелый — неумолимо летел сквозь орешник, как хорошо тренированный кулак. Хоть и пытел изо всей мочи, с натугой.

— Потому и здоровый, что бегают.

— Это верно. Меня вот ни за что не заставишь. А вот ребят уговорил — тоже за ним табуном носятся. Он им все фокусы разные для драки показывает — я подглядываю. Интересно. Бери еще сайку-то, не бойся — не обьешь. Ты чего спросить-то хотел? Или забота какая?

— Спасибо за чай, дедушка, хороший он у тебя, умеешь заварить. — Андрей поставил стакан, вздохнул, чтобы показать, как хорошо он напился. — А забота вот какая. Ты ведь церковь сторожишь?

— Ну. Работа нетрудная — и приварок к пенсии.

— И как у тебя поставлена... охрана объекта?

— Это церкви, что ли? А что — запираюсь на все замки — их много — и снутри и снаружи, на окнах прутья в палец, стены пушкой не прошибешь — и сплю до утра, давя мышей храпом. Или по-другому надо? Так ты скажи — исполню.

— По-другому пока не надо. Делай все, как раньше делал. А когда надо будет по-другому, я скажу, ладно? И каморку, где спишь, покажи мне завтра, хорошо?

— Ишь ты... Интересно...

— А может, и нет, — ответил Андрей на свои мысли и встал. — Ну будь здоровым, дедушка.

— Ладно, буду, — пообещал с готовностью Силантьев.

Вовка уже давно отделился от приятелей и терпеливо дожидался Андрея за калиткой.

— Дядя Андрей, задания мне еще нет?

— Нет, Вовка, пока нет. Но скоро будет. Готовься.

— Я всегда готов! А оружие мне дашь?

— Знаешь, где твое оружие?

— Где? — Вовка расширил глаза, готовый тут же сорваться и бежать за «своим» оружием.

— Вот здесь, — Андрей пальцем стукнул его в лоб. — Понял?

Вовка добросовестно подумал и на всякий случай сказал: «Да!»

## Глава 4

В правлении давно никого уже не было, один Андрей сидел у себя, заканчивал прием граждан. Через открытое окно он слышал чуть ли не все село, догады-

вался о том, что происходит почти в каждом дворе. — Зорька, Зорька, Зоренька! — Это ласково и истошно зовет зачем-то свою козу тетка Куманькова, сильно вздорная женщина. — Куды прешь, зараза! — Это она уже на мужа: значит, Куманьков-старший опять где-то хватил через меру.

Часто хлопали двери, стучали калитки, по селу слышались велосипедные звонки, смех и веселые разговоры, вспыхивали девичьи песни — народ тянулся в клуб.

Забегала по дороге домой почтальонша Люба, занесла участковому повестку в суд: вызывали по делу Тимофея Елкина.

Андрей, посмотрев на часы, закрыл окно и запер ящики стола и сейф; махнул щеткой по сапогам, надел перед зеркалом фуражку и вышел на улицу.

Было довольно тепло для этой поры. Время от времени только пробегал над селом ветер, неся охапку листьев, бросал ее где-нибудь на дороге, будто враз наскучило ему такое пустое занятие, и бежал дальше, высматривая что-нибудь поинтереснее, надеясь, что где-то ему подвезет: сорвать, например, с веревки высушенное белье (что помельче) и забросить на крышу сарая. Но силенок у него на это явно бы не хватило...

У калитки Чашкиных Андрея окликнул Великий. Он выглядывал из открытой дверцы машины, помахивал лениво опущенной рукой, в которой держал метелочку из цветных перьев.

— Что не заходишь, шериф? В этом доме для хорошего человека всегда найдется стакан доброго вина, набитая трубка и веселая девушка.

Великий с первого дня знакомства держался с участковым фамильярно-дружески, покровительственно, с чуть уловимым оттенком превосходства и даже легкого презрения. И хотя Андрею иногда казалось, что это неспроста, не случайно, не только привычная манера общения с людьми, что Великий пытается таким обращением как-то влиять на него, в чем-то подавлять его волю, — он почему-то не мог осадить его, не поворачивался язык твердо обрезать такого солидного и, главное, добродушного человека. Как-то он все-таки сказал Великому: «Не зовите меня шерифом, не надо». — «Обижаетесь? — искренне удивился тот. — Хорошо, буду звать сенатором». И весь разговор. «Ладно, пусть петрушничает, — подумал тогда Андрей, — если без этого не может. Переживу».

— Ты в клуб, шериф? — Великий выбрался из машины, с удовольствием потянулся, разминаясь. — Все бы ничего: и здоровье есть, и судьбой не обижен, и все зубы-волосы до сих пор на месте, а вот пузечко растет, сволочь. Пойдем, посмотришь, как я устроился.

Андрей будто бы подумал, будто бы прикинул, есть ли у него время, и согласился.

Стариков дома не было — в клуб умелись пораньше, места хорошие захватить, и Великий держал себя хозяином. Впрочем, он, наверное, и при них особо не скромничал.

Андрей остановился на пороге горницы, невольно покачал головой.

— Вот так надо жить, шериф, — хвастливо засмеялся Великий. — Как говорит мой друг Монтень, наслаждение настоящим есть единственно разумная забота о будущем. Мысль ясна?

Да, Великий имел талант к красивой жизни, к «наслаждению настоящим». Зброшенная комнатушка преобразилась, как бедная сирота, попавшая в богатый дом, к добрым родственникам. Старая печь, оклеенная винными этикетками, покрытыми свежим лаком, стала теперь прямо-таки изразцовой голландкой; в ее устье поблескивали бутылки — это был как будто бы домашний бар. На серых бревенчатых стенах висели вперемишку добытые откуда-то лапоточки, боксерские перчатки, эспандер и всякий другой спортивный набор и очень хорошее, сделанное под старинное, ружье. На кровати, собранная вверху узлом, шатром падала с потолка белая марля (от мух, что ли) вроде балдахина, скамья у другой стены была покрыта чем-то клетчатым и мягким, наверное, чехлом с заднего сиденья машины. В углу — прялочка (с чердака достал), на которую небрежно брошен красивый спортивный костюм.

Великий поставил на стол темную бутылку, две рюмки, достал затейливую пеструю баночку, набитую длинными ненашими сигаретами и фарфоровую пепельницу в виде трех карт — тройка, семерка, дама пик. Отодвинул мешавший ему начищенный подсвечник с оплывшими свечами, налил в рюмки коньяк.

— Ну как? То-то! И молодежи нравится. Прививаю ей вкус к духовным ценностям, бескорыстно, имей в виду, развиваю ее эстетически. Заметил, как ваши хлопцы ко мне тянутся? — Выпил, щелкнул настольной зажигалкой в виде девушки, которая отбивается от со-

бачонки, сдирающей с нее юбку. — Люблю молодежь. Особенно девушек. Это моя слабость, хобби, если знаешь такое модное слово. Прикасаясь к юности, я и сам молодею душой... и телом, — засмеялся как-то очень противно и на миг из цветущего мужчины превратился в мерзкого старичка, который долго шарил по полкам, нашел наконец сладкую конфету и будет теперь, мелко дрожа от жадности и удовольствия, слюнявить ее беззубым ртом.

Андрею будто сапогом в живот ударили. «Ему, значит, чтобы жить, все время молодая кровь нужна...» Таившаяся все эти дни где-то внутри глухая тревога вдруг забилась в нем, как птица, залетевшая в дом.

— Ты чего не пьешь? Закуски не жди, у меня — по-западному.

Андрей как-то вяло, неинтересно отшутился, сказав, что до семи не пьет, а после семи не имеет права, и встал. Чтобы хоть чем ответить на радушие хозяина, уже идя к двери, похвалил ружье.

— Штучное, заказное. Другого такого нет, — веско сообщил Великий. — Охотбилет в порядке.

— Жаль, одностволка.

Хозяин жестко улыбнулся:

— А мне обычно второго выстрела уже не надо, одного хватает. — Вышел вслед за Андреем на крыльцо, добавил, вроде поучая: — Вот так и надо жить, лейтенант — хоть и коротко, но ярко и сильно, как выстрел. Правда, чтобы так грянуть, порох добрый нужен. Но, как говорит мой друг слесарь-сантехник, в наше время только дураки без денег. Верно? Ты заходи, не стесняйся — вижу: тебе понравилось. На день ангела приглашаю — не пожалеешь...

Выйдя за калитку Андрей расстегнул воротник, зашагал торопливо, сбиваясь с ноги. Будь в это время кто на улице, непременно бы решил, что участковый принял хорошую дозу, глазам бы своим не поверил.

Андрей глубоко вздохнул...

Впереди него скакала в клуб Галка. Шуганула разлегшегося на дороге кота, поддала ногой выкатившийся за калитку мячик, подпрыгнула и сорвала задержавшийся на ветке листок. Наконец, повертев головой, заметила Андрея.

— Ой, Андрейка, ты тоже в клуб? Как здорово!



Проводи меня, пожалуйста, — так хочется с тобой под ручку пройтись!

— Как твои курочки? — улыбаясь, спросил Андрей.

— Целенькие, Андрюша, целенькие! Как ты и обещал. Все-то у тебя получается, все успеваешь, участковый. Женить бы тебя еще. Я б за тебя пошла. Ну так за милиционера хочется! А ты? Взял бы меня?

— Какой из меня муж? Дома почти не бываю.

— Вот и хорошо: я бы тебя ждала, беспокоилась. И любила бы! Ой, вон Милка идет, на нас смотрит — дай я тебе поцелую, — потянулась к нему своей славной мордашкой и поцеловала его в покрасневшую щеку. — Потанцуй сегодня со мной, ладно? Чтоб все видели.. Пусть думают, что у нас любовь...

— погоди, — удержал ее Андрей. — Ты у дачника тоже в гостях была?

— Ой, такой дядечка интересный! Чего только не врет! Наши мальчишки от него прямо балдеют, особенно Мишка с дружками. Он их мушкетерами прозвал, они и рады, дураки... Андрейка, — она прижала руки к щекам; на лице радостно заиграли ямочки, в которых спрятались уголки веселых губ, — Андрейка, ты меня ревнуешь! Вот здорово! Дождалась наконец! — и уже сорвалась было с места — бежать к подругам.

— Постой! — Андрей в сомнении покусал губу. — Скажи... Впрочем, ладно... не надо. Ерунда...

— Ты странный какой-то, — огорчилась Галка. — Случилось что? Не заболел? — И, не ожидая ответа, пошла, оглядываясь, надеясь, что он снова остановит ее и все-таки скажет что-то важное.

У клуба уже никого не было — танцы только что начались, и никто еще не выбегал подышать или покурить, а то и отношения выяснить. Андрей вспомнил, как вначале ему было неловко приходить сюда в форме. Казалось, все видят в нем чужого, незваного человека, который одним своим видом мешает людям веселиться. Но так было недолго и изменилось враз, после одного случая. Было так: Андрей стоял у окна, разговаривал с командиром дружины — маленьким Богатыревым. Вдруг завизжали, бросились по сторонам, прижались к стенкам девчонки, расступились ребята — и в середине зала остался стоять забуянивший проезжий шофер, с синяком под глазом, в разорванной рубаше и с ножом в руке. Он мутным, тупо-злым взглядом водил по сторонам, кого-то высматривая. Андрей — его будто

в спину толкнуло — смело подошел к нему, с какой-то машинальной ловкостью заломил поднятую уже для удара руку и вывел пьяного парня на улицу. Все получилось очень быстро, деловито — Андрей и сам не понял, откуда что взялось.

Вот тогда он впервые почувствовал себя настоящим милиционером, стражем порядка. Тогда-то и стал замечать, что его приход радует людей, им делается спокойнее в его присутствии, и девчонки становятся веселее, и ребята на глазах скромнеют. Уверялся Андрей в такие минуты, что правильную выбрал он себе работу...

Маленький Богатырев, в черном костюме, с красной повязкой на рукаве, чеканя шаг, подошел к Андрею, кинул руку к виску, доложил:

— Товарищ участковый инспектор, на вверенном под мою охрану объекте наблюдается нерушимый общественный порядок. Лиц в нетрезвом состоянии на настоящий момент в наличии не имеется ввиду отсутствия таковых. Командир Синереченской колхозной добровольной народной дружины старший сержант запаса Богатырев. — Стукнул каблуком и протянул руку для пожатия.

Андрей в ответ чуть было не рывкнул со зла, по армейской еще привычке: «Вольно! Разойдись!»

А танцы неслись своим бурным чередом. Музыки не было слышно, танцоров почти не было видно — были шум и топот, была пыль столбом и дым коромыслом. В самой гуще, с удовольствием и азартом, взметывая волосы, отплясывала Галка, визжа от восторга. Получалось у нее ловко, красиво, от души — ноги длинные, талия гибкая и рот до ушей.

Андрей отошел к кассе, где стояло несколько человек за билетами в кино. Кто-то кивнул ему: становись, мол, передо мной, кто-то незаметно ткнул в стену окурок, помахал рукой, разгоняя дым. Андрей же искал глазами «мушкетеров», которые только что крутились здесь, демонстративно не поздоровались с ним, пошептались и исчезли. Андрею казалось, что он безнадежно опаздывает, что ему надо прямо сейчас разыскать их и сказать что-то очень важное, и если он этого не сделает, не успеет, то уже ничего нельзя будет поправить.

Андрей вышел на улицу, где было уже по-осеннему темно и глухо, постоял на крыльце, подумал и пошел в правление.

У себя в кабинете он задернул на окнах шторы, сел

за стол и достал листок бумаги. Задумался, начал было что-то писать, да скомкал лист и мелко порвал его.

Впервые Андрей обратил на них внимание, когда пожаловались из школы. Тогда же он, приглядевшись, убедился, что компания эта, хоть и шкодливая, но пока сравнительно безобидная. Шастали порой ребята по лесам вместо уроков, не обходили, конечно, стороной чужих садов и огородов, дерзили старшим, воевали с отцом Леонидом, но в то же время хорошо работали летом в колхозе. Расположила к ним Андрея и их настоящая, не мальчишеская дружба — такая, вообще-то, редко бывает в их возрасте, когда и симпатии и неприязнь сменяются так же быстро, как и настроения. И тогда же с жалостью и тревогой понял участковый, на чем эта дружба держится: вся троица росла без отцов. Колька Челюкан своего вообще никогда не видел и не знал; отец Васьки Кролика, похожего на поросенка, был давно осужден за крупную кражу; ну а Мишкин «батянька» тоже как родитель в счет не шел, ограничивал роль воспитателя и наставника сугубо карательными акциями. И, значит, в своей дружбе, во взаимной заботе находили они то, что не давала и не могла дать им семья. Ни один из них при случае не мог обещающе пригрозить сильному и несправедливому обидчику: «Я вот отцу скажу, он тебе покажет!» — а вместе они были сильны, никого не боялись и, если что, сами могли постоять друг за друга, тем более ребята были не из робких и кулаков в карманах не прятали, кукиш за спиной не показывали.

Одно время тянулись они к Сеньке Ковбою, подражали ему и в хорошем и в дурном, не умея еще порой отличить одно от другого, многое успели перенять. Возраст их — Андрей это хорошо понимал: сам еще не так далеко ушел от него, чтобы забыть, — требовал старшего друга — сильного, бесстрашного, на которого надо походить, с которого хочется лепить и свой характер, свою судьбу и которого все нет и нет...

Андрей твердо знал, что именно в этом возрасте выбирает себя человек, переходя незримый рубеж, тут решается, каким он будет, какой дорогой пойдет. Все, что было учено раньше, подвергалось сомнениям, проверке и осуждению, пересматривалось и нередко без сожаления отбрасывалось. Имено в эти годы окончательно решалось для себя: что благороднее и мужественнее —

безжалостно, не дрогнув сердцем, обидеть и унижить слабого или бесстрашно стать на его защиту. В этом возрасте выбирался герой, и нередко на всю жизнь.

Но главное, что уже было ими приобретено, что никак и никому нельзя было тронуть неосторожной рукой, задеть необдуманным или грубым словом, — это болезненно острое чувство личного достоинства. И у таких, обделенных, оно требовало уважения беспрекословного...

С чего начать, думал тогда Андрей, как с ними быть, — ругать, пугать и принимать меры?

Один случай вдруг поставил все на свои места, каждому отвел свою роль, хотя вначале Андрей и сомневался, правильно ли он поступает. Как-то в клубе, который троица посещала исправно, Андрей увидел, что Колька Челюкан, сидя на краю сцены, грызет семечки и нахально сплевывает шелуху прямо в зал, под ноги танцующим. Андрей подошел к нему и вежливо, как взрослому, сделал замечание. Кольке это понравилось, рад был, что привлек внимание, и он великодушно сказал: «Ладно уж, не буду», посчитав инцидент исчерпанным.

— Конечно, не будешь, — согласился Андрей, — тем более что возьмешь сейчас у Нюры совок с веником и уберешь за собой.

Колька покраснел, набычился растерянно, уперся: — Не стану подметать.

На них смотрели, к ним проталкивался, торопился Богатырев. Колька попытался было улизнуть от позора — Андрей несильно взял его за руку, придержал.

— Нюра старая уже, она и так два раза в день здесь убирает, — тихо сказал он.

— Третий раз подметет! — осмелел Колька, поняв, что силой его все равно убирать не заставят.

— Третий раз твоя мать подметет, если тебе зазорно за собой же убрать. Богатырев, иди за его матерью — она как раз сейчас с вечерней дойки пришла, делать ей все равно нечего.

Удар был точен.

— Не зови мать, дядя Андрей, — завял Колька, хватая веник и на глазах превращаясь из хулигана в испуганного, расстроенного пацана, который всеми силами готов исправить то, что натворил.

И что очень понравилось Андрею — Мишка и Кролик, мужественно приняв поражение товарища, не оста-

вили Кольку в беде, бросились помогать, руками в горстку собирали шелуху, чтобы скорее извлечь его от позора.

С этого случая, как ни странно, установились между ребятами и участковым добрые отношения. Андрей старался их укрепить ненавязчиво, тактично держался на расстоянии (но глаз с них не спускал) и хотя в друзья не напрашивался, за советом и помощью ребята уже пойти к нему не стеснялись, выделяли его своим доверием среди остальных взрослых. И вот совсем недавно он по-настоящему выручил их. Случилось вот что: как-то в начале учебного года Мишкина компания исчезла после уроков и наутро ни домой, ни в школу не явилась. Матери волновались, конечно, и злились, учителя разводили руками, один, пожалуй, участковый понял, в чем дело. Понял и, как говорится, простил, потому что в который раз ему больно за них стало.

Дело-то просто объяснялось. В тот день в их классе сочинение должны были писать на тему: «Почему я горжусь своим отцом?» А что Мишкина компания могла написать, чем похвалиться?

Вот и разыскал их участковый в лесу, где они обосновались на жительство и втайне друг от друга уже размышляли, как бы домой, себя не уронив, вернуться. Андрей похвалил их дырявый шалашик, выпил у костра чая, сдержанно позавидовал их вольному житию и убедительно, без нотаций подсказал, что надо бы матерей успокоить и за учебу браться. Вместе они и придумали, что вроде бы Андрей их поймал и в село доставил. Вернулись героями. А наутро школьный директор зачитал на линейке приказ председателя о хорошей, ударной работе на колхозных полях учеников Синереченской средней школы таких-то, поставил их в пример и про побег ни словом не обмолвился...

Андрей долго сидел в раздумье, прикидывал так и сяк, почему вдруг враз все переменялось, порвалась налаженная дружба, почему мушкетеры снова стали с ним насмешливыми и дерзкими, всячески показывали, что он им теперь «не указ», не авторитет и не старший товарищ, что они дураки были, когда его слушали, а теперь вот поумнели.

Андрей не понимал причины, но чувствовал с тревогой, что вмешалась какая-то чужая сила, что чья-то твердая рука взяла их за шкирки и тычет носом:

вот так надо делать, так надо жить, меня слушай, меня уважай и бойся...

Наконец, когда за окном слышались голоса расходящихся по домам синереченцев, он решительно заполнил листок бумаги какими-то записями, запечатал его в конверт и убрал в сейф.

В это время в дверь поскреблись, она приоткрылась, и в щель опасливо просунула нос Афродита Евменовна. Андрей вздохнул.

— Считаю, должна сообщить тебе, участковый, что ночью сильно животом маялась...

Андрей скрипнул зубами:

— К доктору идите с этим вопросом. Я от поноса средства не знаю, кроме хорошей порки.

— Не перебивай, пожалеешь. Схватило меня в самую полночь, вышла на крыльцо — кругом темень и мрак. — Она протиснулась в комнату, прижалась спиной к двери. — Гляжу и вижу: по кладбищу, что у церкви, огоньки мигают, яркие такие. Пригляделась, а там — три мужчины между могил бродят, словно потеряли что и ищут. А уж чего ищут, глядеть не стала — в избу умелась и дверь снутри приперла. Хотела было постояльца своего побудить, да его дома не было, под утро уж пришел, котоватый. Ну вот, сигнал тебе есть — реагируй. Или письменное заявление подать?

## Глава 5

Андрей завел мотоцикл, подъехал к дому отца Леонида и трижды сильно, заставив мотор взрывать, газанул вхолостую. Отец Леонид, одетый цивильно — в скромненький черный костюмчик с непривычно короткими рукавами, заслышав этот сигнал, вышел на крыльцо и приподнял над головой шляпу, отчего старательно забранные под нее волосы снова рассыпались по плечам. Он опять терпеливо заправил их под шляпу, запер дверь и, взяв с перильца какой-то сиротский узелок, спустился с крыльца.

— Что это ты, батюшка, так налегке? — поинтересовался Андрей, усмехаясь.

Отец Леонид охотно улыбнулся, наставительно поднял палец:

— «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд».

— Ладно, садись, командированный по делам божим. Где тебе способнее: сзади или в коляске?

— В колясочке пристойнее будет, и беседу можно в дороге вести.

Андрей перегнулся с сиденья, откинул фартук и достал второй шлем:

— Меняй головной убор. Не продует тебя? Больно легко оделся-то?

Отец Леонид забрался в коляску, устроился поудобнее, безропотно нахлобучил шлем и ровненько сложил руки на узелочке.

Объезжая клуб, Андрей обогнал Великого, который прохаживался под липками в обычном сопровождении своих мушкетеров. Великий преувеличенно, с заметной долей насмешки раскланялся, а Мишка, подражая Остапу Бендеру, коротко свистнул и крикнул им вслед:

— Эй, мракобес, почем опиум продаешь?

Андрей, не останавливаясь, погрозил ему кулаком и успел увидеть в зеркальце, как Великий стал что-то выговаривать Мишке и тот, что было вовсе на него не похоже, смущенно оправдывался.

Разговор их участковый, естественно, не слышал. А жаль...

— Не докучают они тебе? — спросил немного погодя Андрей отца Леонида, имея в виду ребят.

Отец Леонид покачал головой:

— Нет, какая тут докука, они ведь без злобы. Молодость, выправятся. Если, конечно, в хорошие руки попадут. Петр Алексеевич на них благотворное влияние имеет. Сие заметно и неоспоримо.

Андрей зло хмыкнул:

— Такое влияние при случае как угодно использовать можно. В своих целях.

— Ну что вы, Андрей Сергеевич. В вас милиционер говорит, прискорбная привычка к недоверию. Петр Алексеевич очень достойный и образованный человек, он художнику не научит.

Андрей промолчал, неопределенно покачал головой.

Когда они въехали в лес, голый, без единого листка на ветках, весь видный насквозь, Андрей остановился по просьбе отца Леонида и спросил его:

— Когда мы мальчишками были, дед Пидя нам говорил, что от церкви за реку подземный ход идет. Мы его тогда все лето искали. Не нашли, конечно. Как ты думаешь, плохо искали или напрасно время тратили?

Отец Леонид почему-то заметно смутился.

— Отрокам такое увлечение в укор не поставишь. Однако когда зрелый человек...

— Ладно, ладно, ты без нотаций!

— Я не о вас, Андрей Сергеевич. К прискорбию своему, должен признаться, что и сам проявил недостойный интерес к подземелью. Приняв приход, допустил соблазн до любопытного сердца, тоже много дорогого времени потратил на поиски оно́го, однако без результата. За рекой, ясно, не бродил, под камни не заглядывал, а в храме, прости меня, господи, каждый уголок осмотрел и ощупал собственными перстами, памятуя в надежде: ищай обретает, и толкущему отвернется. Слух, правда, потом уловил, что на погосте искать надо, из старого склепа начало он берет. Но уж на это не решился.

Вскоре лес незаметно сменился дубовыми рощами, и появились первые домишки Дубровников.

— Где тебя посадить?

— Если необременительно для вас, то у гостиницы, где музей.

Выбираясь из коляски и прощаясь, отец Леонид еще раз попросил Андрея приглядывать за церковью в его отсутствие, пожаловался, что чувствует беспокойство в сердце.

До начала судебного заседания Андрей успел зайти в райотдел к следователю Платонову, о чем-то пошептался с ним и оставил свой запечатанный конверт.

Когда он вошел в зал заседаний, где, кроме судьи с заседателями, секретаря и конвоира, никого не было (такие дела публику не привлекают), Дружок обрадованно привстал и замахал ему рукой из-за деревянного барьерчика — соскучился. Выглядел он хорошо, и настроение, судя по всему, было хорошее — видно, всерьез нацелился на добрый поворот в своей непутевой судьбе.

Андрей дождался результата — шесть месяцев ЛТП\*, с улыбкой кивнул обернувшемуся в дверях, совсем повеселевшему Дружку и пошел в музей.

Было солнечно и холодно. Андрею очень хотелось поднять воротник плаща и поглубже засунуть руки в карманы.

---

\* Лечебно-трудовой профилакторий.



Музей — старинное здание с колоннами — он увидел издалека: потому что опали листья и потому что сверкал под солнцем его недавно покрашенный фасад. Решетки ворот, крыльца, окон и фонари перед домом тоже блестели свежей краской.

Андрей спросил, где ему найти директора, поднялся на второй этаж по широкой лестнице, покрытой новым, пристегнутым медными прутьями ковром, и постучал в дубовую дверь.

Староверцев — директор музея — привстал ему навстречу, удивленно, обеспокоенно рассматривая его фуражку и форменный плащ. Вздохнул, предложил сесть.

— Я из Синеречья. Участковый инспектор Ратников.

— Очень приятно, — машинально отреагировал на представление Афанасий Иванович. — Чем могу быть полезен?

Андрей попросил рассказать ему о Синереченской церкви и показать, если можно, опись ее имущества. Староверцев разыскал нужную папку, предупредил, что опись неполная, и, пока Андрей просматривал по всем разделам длиннющий — в шестнадцать страниц — список и изучал пометки и примечания, охотно рассказывал о церкви.

— С точки зрения архитектуры, оформления, внутреннего убранства, — говорил он ровным, монотонным голосом лектора или экскурсовода, — Спасна-Плесне действительно уникален. Недавно мы организовывали в нашем музее выставку его икон. Вот посмотрите — есть очень любопытные замечания знатоков и специалистов.

Андрей взял книгу посетителей — фолиант в коже и бархате — и стал листать, прочитывая восторженные отзывы... Стоп! Под многословной, высокопарной записью стояла крупная разборчивая подпись: «Петр Великий, искусствовед, искатель приключений». Причем «Петр» был написан с твердым знаком, а «Великий» — через «и» с точкой...

Андрей положил книгу на колени.

— Что вас заинтересовало? — склонился над страницами Староверцев. Усмехнулся с легким, чуть уловимым презрением. — А... Был, был такой посетитель. Представьте, так и рекомендовался: Петр Великий — никак не меньше. Ну мнение этого ценителя не берите во внимание. Это оценщик, я бы сказал, а не ценитель!

— А что его интересовало? Не помните?

— Представьте — то же, что и вас. И кроме всего прочего — подземелье. А ведь производит на первый взгляд впечатление вполне солидного человека, даже неглупого.

— Я тоже слышал о подземном ходе. Мальчишкой даже пытался отыскать его, — признался Андрей.

— Вот, вот! История церкви богатейшая. В древности, в грозную пору, в ней прятались и оборонялись от врага и даже при необходимости уходили этим подземным ходом в леса, в непроходимые болота, где можно было временно укрыться от противника, собраться с силами...

— Он не сохранился, не знаете? — перебил Андрей.

— Да вряд ли. Может, лишь частично. Со стороны церкви он еще в прошлом веке был капитально заложен, да и обвалился. Его ведь не крепили. Он, видимо, образовался полустественным, так сказать, образом, когда брали камень для построек. Его теперь и не найдешь. К тому же он дважды проходил под руслом реки, значит, наверняка уже затоплен.

«Выходит, Евменовна не наплела: ищут...» — подумал Андрей.

Он еще раз просмотрел опись и вернул ее Староверцеву.

— Это ведь все очень ценные вещи, верно?

— Бесценные, — подчеркнуто отрезал Староверцев. — Бесценные. Меня, признаться, беспокоят ваши вопросы. С ними что-то случилось? Им ничто не угрожает?

— Нет, не случилось. Просто мне надо быть в курсе дела — церковь ведь на моем участке.

Вернувшись в село, Андрей первым делом зашел к председателю. Иван Макарыч — видно, выдалась свободная минутка — занимался своим любимым делом: топтался перед книжными полками, переставлял на них книги, по размерам выравнивал аккуратно корешки. Книги все были по интенсификации сельского хозяйства и научно-техническому прогрессу — новенькие, чистые и незамятые — председатель их никому не давал, а самому читать все равно было некогда.

— Ты чего? — повернулся он к участковому. — Случилось что?

Андрей сказал, что ездил в Дубровники, что Тимофея Елкина направили на шесть месяцев в профилакто-

рий и что к его возвращению надо сделать у него дома ремонт.

— Это он тебе наказ такой дал? А оркестр не надо заказать к этой встрече? — серьезно спросил Иван Макарович. — Ну хлеб-соль на развилку вынесем, пионеров построим. Чего там еще? Космонавта, может, пригласить?

— Ты, Иван Макарыч, чем шутить, зашел бы в его дом, посмотрел, как живет твой бывший специалист, — разозлился Андрей. — Давно ведь не заглядывал? Он заботу должен почувствовать, от одиночества уйти, чтобы снова не запить, человеком стать. Неужели, чтобы живую душу спасти, ты кубометр теса или ящик гвоздей пожалеешь?

— А чего ты так за него переживаешь? Тебе-то что за печаль? Упек его — и правильно!

— Я вину свою поправить хочу.

— Извини — сдурел, что ли? — Иван Макарович треснул книгой по столу. — Ты года еще не работаешь, а он уже десять лет пьет. Нашел виноватого!

— А ты сколько лет в председателях ходишь? Не у тебя ли на глазах он...

— Можно? — В раскрытых дверях стоял партийный секретарь Виктор Алексеевич.

— Входи, входи! — обрадовался председатель. — Ты послушай, что наш участковый придумал: Елкину дом требует отремонтировать за счет колхозных средств, пока тот в тюрьме отдыхает...

— Не в тюрьме он, а на лечении, — перебил, поправляя, Андрей.

— Ну да — производственные травмы залечивает! Только вот где он их получил, на каком производстве? Я года два уже его ни в поле, ни на ферме не видел!

— А что? — сказал секретарь, трогая усы и покашливая. — Андрей правильно советует. Вернется человек к новой жизни — в новый дом. Это фактор. Ты материал отпусти, а на работу мы комсомол привлечем, верно?

— Ну как хотите...

— Я бы не комсомол — я бы несоюзных привлек, — тихо, как-то неуверенно сказал Андрей. — Пока их кто другой к рукам не прибрал.

Иван Макарович плюхнулся в кресло, повертел головой возмущенно, но промолчал сдерживаясь.

— Верно, — опять поддержал Андрея Виктор Алек-

сеевич. — Мало мы с ними работаем. Ведь все шалости и безобразия от безделья идут. Я вот как-то в спортивно-трудовом лагере был — для «трудных», — там какой основной метод профилактики? Простой: загружают их мероприятиями до пупка, вздохнуть не дают. Так некоторые даже курить бросают без всякой агитации, забывают про это дело — некогда. Только если ты, Андрей, на Великого косишься, то это зря. Смотри, как ребята переменялись, даже постриглись, спортом занимаются...

— Форму школьную не снимают, — подхватил Иван Макарыч, — а раньше все на самое рванье мода у них была, хиппи какие-то, а не молодежь.

— Эх, Иван Макарыч, передовой ты человек, вдаль глядишь, а что под носом — не видишь, — горько сказал Андрей. — У этих ребят из приличной одежды — только форма и была. Они ведь нарочно самую рвань носили, правильно ты заметил, — будто мода такая чудная, а на самом деле им просто похвалиться нечем. И про волосы вы не радуйтесь: сам в парикмахерской слышал, Куманьков какому-то пацану объяснял, почему стрижется, — в драке, говорит, слабых мест не должно быть, мешают. А каким спортом они занимаются? Боксом и приемами! Бандитов он из них готовит! Поняли?

— Ну что ты кричишь? Не волнуйся. Ты уж слишком сыщиком стал — все тебе враги мерещатся, — остановил его секретарь.

Андрей вздохнул. Что он мог сказать? Ничего. Да и сделать пока — тоже.

— Ну вот что, — председатель полистал календарь, — мы тебе советчики-то не больно сильные. Давай-ка сообща решать. Вот числа пятнадцатого правление соберем, школьный актив пригласим...

— Комсомольский комитет, — подсказал секретарь.

— Точно. Ты, Андрей, свои соображения подготовь, обсудим — вместе и придумаем, как нам на молодежь влиять. Верно я говорю?

— Пораньше бы, — попросил Андрей.

— Не выйдет пораньше. Пока!

Когда за Андреем закрылась дверь, председатель сказал партийному секретарю:

— Алексеич, а повезло нам с участковым! Сам пацан еще, а за все у него душа болит.

— У него и отец такой был. Ты-то его не помнишь. Сам погибай, а товарища выручай — по такому правилу жил.

Утром — ни свет ни заря — Андрей еще плащ не успел повесить — Галка ворвалась. Похвалилась маникюром и прической (пойми же наконец, что я уже взрослая), сообщила, что была у Великого на именинах (видишь, другие-то обращают на меня внимание), спохватилась — вспомнила, зачем пришла: мальчишки что-то нехорошее затевают, по углам шепчутся, Великому донесения носят. Молодец я?

А было тем вечером вот как. Великий давал бал. При свечах, при полном антураже отмечал свой юбилей.

Галка, естественно, в королевы попала. Но вела себя несерьезно, неподобающим королеве образом: фольговую корону набекрень сдвинула и на комплименты короля отвечала насмешками — это она умела. Великий снисходительно не замечал ее выходок — только прищуривался да — нет-нет — дергал обещающе уголок рта.

Колька и Васька Кролик, которые по праву чувствовали себя здесь первыми персонами, «особами, приближенными к императору», ревниво, хмуро и неодобрительно косились на Галку, морщились и перешептывались. Остальные приглашенные были только фоном, скромничали, чувствуя это; девчонки хихикали по углам, с жадным любопытством озирались, не скрывая интереса, мальчишки терялись — больно непривычно.

Мишка пока таинственно отсутствовал, его ждали — он обещал принести гитару, но все не шел и не шел. Галка стала скучать, она жалела уже, что согласилась прийти, тем более что знала — Андрею это не понравится. Но какое-то безотчетное желание толкнуло ее — смутно почувствовала скрываемый Андреем интерес, его беспокойство, да и, что врать-то, подразнить его хотелось.

Великий заметил Галкину хмурость и послал Ваську к Куманьковым. Тот вернулся быстро, принес гитару и, передавая ее Великому, что-то быстро шепнул ему. Великий сказал: «Хоп!» — и, красиво взяв гитару, откинулся назад и «сделал мутные глаза», как выразилась Галка.

Сначала он спел какой-то полублатной романс, но скоро понял, что этим репертуаром никого не проймешь, и застучал по струнам на манер игры на банджо. Зазвенела какая-то веселая, просторная мелодия, будто в ней было синее небо и яркое солнце и слышался топот копыт:

Эта песня для сердца отрада,  
Это песня лазурных долин.  
Колорадо мое, Колорадо  
И мой друг — старина карабин...

Ребят разобрало: сразу повеселели, стали притопывать ногами, подмигивать в такт, прищелкивать пальцами — такая заводная была песня, и слова хоть и не очень понятные, но такие притягательные. Даже королева Галка стала подпрыгивать на стуле. Ну ей, известное дело, лишь бы поплясать, все равно подо что, хоть под «Колыбельную».

...Если враг — встретим недруга боем  
И в обиду себя не дадим.  
Мы — ковбой с тобой, мы — ковбой!  
Верный друг — старина карабин...

— Эх, жалко Сенька не слышит! Ему бы эта песня во как подошла! Про прерию!

— Да, — презрительно протянул Великий и резко прижал струны. — Укатал участковый друга.

Стало тихо.

— А что... — осторожно вставил Кролик. — Он же человека убил. Хоть и не нарочно.

— «Нарочно — не нарочно», — передразнил с заметной злостью Великий. — Знаешь ты, что такое мужская дружба? Это святой закон. Выше его ничего нет на свете: ни родства, ни любви, ни долга. Понял?

— Понял, — проворчал Васька. — Только не совсем. — Отсел на всякий случай подальше.

— Сейчас совсем поймешь. Вот пришел к тебе друг поздней ночью, усталый и раненый, и говорит: «Я, Васька, человека убил, меня милиция ищет». — «За что?» — спрашиваешь. «Он девушку мою оскорбил». А ты: «Правильно ты, Колька, сделал!»

— Это почему вдруг — Колька? — запротестовал Челюкан.

— Это к примеру, не дрожи. Как должен поступить настоящий друг? Ваши действия, братец Кролик?

И ребята и девчонки с напряженным интересом прислушивались к разговору, как заводные переводили глаза с Великого на Ваську и обратно.

— Ну это... Я б его убедил, что надо сознаться, чистосердечно раскаяться, что ли?

— Васька сам бы в милицию побежал сообщить, — вставил, смеясь, кто-то из мальчишек. — Он у нас честный.

— Так, — отчеркнул Великий. — Ваш вариант, Челюканчик?

— Мой такой, — брякнул Колька. — Иди ты, откуда пришел, чтоб я тебя не видел больше.

Великий дернул щекой, встал, задев Галкину коленку, прошелся по комнате.

— Мушкетеры? Нет, братцы, еще одно такое выступление, и я вас разжалую. Сопляки! Слушай сюда: есть единственный вариант, мужской, честный. «Мой дом, Колька, теперь твоя крепость. А придут за тобой мусора, вместе будем отстреливаться». Ясно? Вот так, гвардейцы, поступают настоящие мужчины. А этот ваш Ратников сам выследил друга, сам поймал, сам за решетку привел. А все из-за чего? Добро бы — честь мундира, престиж, а то из-за девки, не поделили...

Вот тут и влетел в горницу Мишка Куманьков: глаза блестят, дышит тяжело — бежал, видно, торопился; весь перемазанный какой-то, вроде кирпичной пылью, голова в паутине. Шепнул что-то горячо Великому. Тот повернулся к собравшимся, бесцеремонно объявил:

— Кончен бал. Погасли свечи. Мушкетерам — остаться при дворе. Галочка, я вас провожу. Или нет — в другой раз, ладно?

(Что на это сказала или сделала Галка — неизвестно, но представить можно. Сама бы она ушла с удовольствием, но терпеть, чтобы ее по-хамски выставляли... нет, это не для Галки. Рассказ свой Андрею она заканчивала спокойно — значит, сумела на оскорбление ответить по-королевски...)

Великий посмотрел ей вслед, скрипнул зубами (мол, доберусь еще!).

— Ладно, не до баб теперь... Подробности на стол, господин Атос!

— Нашел! Из крайнего склепа идет, но вроде за реку, а в сторону церкви хода нет...

— Вроде, вроде! Проверить не мог!

— Батарейка совсем села, а в темноте я побоялся...

— Побоялся! Как говорил мой друг Хемингуэй, никогда не надо бояться — несостоящее это дело! Что украшает настоящего мужчину? Усы, сила, ум, деньги? Отчасти. Главное — смелость. Смелый — он и сильный, и умный, и богатый, и — с усами. А трусу — слезы и стоны и пинки под зад!

— Я не трус!

— Нет? — усмехнулся Великий. — Проверить?

Мишка кивнул, сжав губы.

Великий, все усмехаясь, достал колоду карт, умело, как фокусник, перепустил ее длинной лентой из ладони в ладонь, выбрал щелчком даму пик и отдал Кольке.

— Ну-ка, приколи ее на дверь. Нет, нет — повыше. Вот так.

Великий снял со стены тяжелый охотничий нож, вынул его из чехла, взял за конец лезвия — и резко взмахнул рукой. Нож глухо ударился в дверь, пробив карту в самой серединке, и задрожал, дребезжа, часто-часто мелькая рукояткой. Ребята переглянулись. Великий с усилием выдернул нож из доски.

— Становись к двери, — скомандовал Великий.

Мишка, еще не понимая зачем, послушно прижался спиной к двери. Нижний край карты едва ли на два пальца был выше его макушки. Великий снова взмахнул рукой — Мишка зажмурился и присел. Великий неприятно засмеялся, подбрасывая нож на ладони. Мишка выпрямился, вытаращил глаза и закусил губу. Нож снова пробил карту, но на этот раз чуть выше.

— Молодец! — похвалил Великий и приказал: — Следующий! Экзамен на мушкетера.

Кролик с готовностью стал к двери, но глаза все-таки закрыл. А Колька неожиданно отказался.

— Молодец! — и его похвалил Великий. — Тоже на это смелость нужна. Дурной риск нам ни к чему. Но я бы на твоем месте все-таки прошел испытание: надо знать, на что годен. Ну все — к делу. Значит, так: завтра разведка боем, обследовать подземелье и доложить о результатах. Теперь, что там у вас с попом?

Ребята в три голоса рассказывали историю этой уже ржавой, нудной вражды, которая тянулась только по инерции. Великий, выслушав их, возмущился:

— И вы прощаете ему? Не ожидал! Запомните на всю жизнь: никогда не прощать обид. Одному спустись, другие всю жизнь плевать в тебя будут. Мсть, только мсть! Я вам помогу. Мы устроим ему праздник!

— Точно, — подхватил Мишка. — Нужно ему что-нибудь такое сотворить...

— Дом мы ему поджигать не будем и окна бить — тоже. Нужно придумать что-то интересное, загадочное. Припугнуть его, чтобы хорошо запомнил мушкетеров.

Кролик вскочил:



— Точно! Попугать его вечером или ночью. Он идет, а тут выскочить: «Руки вверх!» — и как заорать! Он и...

Великий посмотрел на него, прервал взглядом, усмехнулся: что с дурака взять!

— Одна мыслишка возникает. Он все за свои церковные сокровища дрожит, ночи не спит, ахает. Вот мы ему шило и вставим: вынесем что поценнее — я вам подскажу, и спрячем на недельку — пусть побеждает. А потом вы все это будто разыщете и шерифу доставите. Вам — почет и слава, попу — шило, Андриюшке — гвоздь от начальства. Каждому свое.

— Точно! — опять врезался Кролик. — А в церкви черную маску оставим и записку: «Мстители!»

Мишка и Колька переглянулись и ничего не сказали.

## Глава 6

Андрей перехватил Вовку еще до школы. Они отошли в сторону от дороги, присели на краю старой канавы, свесив ноги.

— Что, дядя Андрей, задание?

— Задание, Владимир. Очень важное и опасное. Не побоишься?

Вовка помотал головой, поправил сбившуюся от этого фуражку.

— Ты про подземный ход знаешь?

— Ага. Только не знаю, где он.

— Искал?

— Всем классом. А сейчас его Мишка Куманьков ищет.

— Вот такое и будет задание: снова, Вовка, надо искать. И поскорее. Раньше, чем Мишка. Он начинается где-то на кладбище, из какого-то крайнего склепа — больше я ничего не знаю. Выручай, Вовка. Одна надежда на тебя.

— Найду, дядя Андрей. Не сомневайся. — Вовка вскочил, сбросил ранец и, положив под куст, забросал его листвой. — Я готов.

— Э, нет, так не пойдет. После школы, Вовка, как уроки сделаешь, понял? Или я кого-нибудь другого буду просить.

— Ладно, — вздохнул покорно Вовка. — Не поручай больше никому. Сделаю после школы.

Андрей помог ему надеть ранец, легонько подшлепнул, чтобы быстрее бежал, и долго смотрел вслед...

...Едва Андрей вошел в свой кабинет, зазвонил телефон.

— Ратников, ты? Платонов говорит. Привет тебе. Ты про запрос свой не забыл? Или не нужно уже? Так вот, ответ я тебе официальный выслал. Похоже, твой Великий и впрямь велик в определенном смысле. По двум делам о хищении соцсобственности проходил свидетелем — зацепить его никак не удалось, умеет чужими руками управляться. Заметь особо: подозревается в спекуляции художественными ценностями и предметами старины. Платит алименты, лишился водительских прав за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В 1978 году посетил по турпутевке ряд капиталистических стран. Это основное, остальное прочтешь. Желаю успеха и... осторожности. Ты понял меня, Ратников?

Теперь подозрения Андрея обрели почти реальную почву. Оставалось — ждать. Терпеливо, на пределе. Сейчас Андрей ничего не мог сделать. Что ему предъявить Великому? Какие обвинения? Вовлечение несовершеннолетних в пьянство, в азартные игры? В преступную деятельность? Пока что сложно. Но это «пока что» вот-вот может кончиться.

Андрей встал, в раздумье прошелся по комнате, остановился у окна.

По небу быстро бежали одно за одним пока еще серые облака. В «гнилом углу» — так старики называли тот край неба, где собиравшиеся тучи грозили, как правило, недельными дождями и разливами рек — они словно натыкались на стену, расползались, пытались обойти ее, по сторонам, поднимались вверх сколько могли, опускались все ниже и ниже. И вся эта беспокойная масса набухала громадным мешком, который все раздувался, рос, пыхтя; белое, синее и серое смешивалось, чернело на глазах. Деревья в панике суетливо и бесполезно стали размахивать голыми ветвями, будто хотели разогнать низкие, густые тучи. И вроде бы там, где доставали, им это удавалось — клубились, кипели белые барашки. А выше все уже было черно до самой середины неба...

«Так, — подумал Андрей, — если зарядят дожди, то самое позднее через день-два ему придется уди-

рать, иначе не проедет. Значит, ждать надо завтра в ночь. И в церковь, конечно, сам не пойдет, с ребятами он не зря возился».

Уже под утро, еще темно было, но потихоньку светало, Андрея разбудил лихорадочный стук в окно и рыдания тети Маруси. «Началось?» — подумал он, быстро одеваясь.

— Вовка пропал! Всю ночь прождала!

— Иди домой. Я сейчас.

Андрей побежал к Куманьковым, толкнул дверь сарая и взобрался по приставной, дрожащей под ногами лестнице на сеновал, где обычно до снега спал Мишка. Маруся домой не пошла — стояла в дверях сарая, хлюпала, сморкалась, но не шумела.

Андрей растолкал Мишку — по всему было видно, что заснул он совсем недавно, — что-то коротко спросил его. Мишка испуганно ответил и остался сидеть, кутаясь в ватное одеяло. Андрей прыгнул вниз.

— Мужик твой дома?

— Дома.

— Пошли.

Петро ждал их на крыльце, завидев, выскочил за калитку и, спотыкаясь, побежал навстречу.

— Петро, у тебя фонарь был хороший, с аккумулятором, работает? — быстро спросил Андрей. — Дай мне на пару дней.

Маруся опять заревела в голос, решила, что Андрей собирается Вовку так долго искать.

— Идите домой! Сейчас приведу Вовку, не бойтесь! — И побежал к церковному кладбищу, брызгая по лужам. И как ни волновался, как ни торопился — успел краем глаза заметить, что Мишка Куманьков шмыгнул в калитку Чашкиных, у которых квартировал Великий.

Андрей интуитивно выбежал именно к нужному склепу и из-за его ржавой решетки, запертой болтом, услышал Вовкин голос:

— Нашел, дядя Андрей! Нашел!

Андрей, срывая ногти, отвернул гайку, выдернул болт и подхватил на руки бросившегося к нему пацана.

— Что с тобой?

Волосы, карманы, манжеты, все складки Вовкиной формы были забиты, облеплены куриным пухом. Его, встретив неожиданно, можно было испугаться.

Андрей отряхнул, обдул его, поставил на ноги.

— Я не испугался, дядя Андрей, всю ночь проспал. Знаешь, как здорово было! Меня кто-то запер и ушел. Я затаился, а никто не идет, я и заснул.

— Ну, молодец, — улыбнулся Андрей, — а говорил — трусишка!

— Так я ведь задание выполнял, как же я мог бояться?

— Не замерз ночью?

— Не, там перина есть. А ноги только что промочил — туда-то я аккуратно прошел.

— Перину с собой, что ли, брал? — облегченно засмеялся Андрей. — Предусмотрительный!

— Не, она уже там была. Это не моя.

— Вот что: подожди меня здесь минутку, ладно? Задвинь за мной болт, гайку наверни и спрячься. А как выйду — откроешь и сразу домой, мать с отцом с ума сходят.

Андрей спустился в склеп, увидел сдвинутый в сторону каменный саркофаг и дыру в полу рядом с ним. Он включил фонарь и пошел. Ход был местами почти завален, кое-где приходилось пробираться чуть не ползком, огибать ветхие подпорки. Скоро стало сыро, закапало, почти по колена стояла черная холодная вода. «Речка наверху» — понял Андрей.

Потом стало посуше, просторнее, можно было идти не сгибаясь. Андрей внимательно смотрел под ноги, осматривал своды, постукивал иногда легонько фонарем по стенам.

Вскоре ход кончился тупиком — глухим, заваленным камнями и гнилыми досками. Слева Андрей увидел вместительную нишу и в ней — два мешка, набитых перьями и пухом. На полу было много окурков, лежал пустая бутылка.

Он встал на камень, протянул руку вверх, пошарил там и отодвинул что-то вроде люка. Стало светло без фонаря, и прямо над головой раздался пронзительный петушинный крик. Андрей усмехнулся: «Ясно. Отсюда Дружок делал свои налеты на ферму. Молодец, ловко устроился. И ощипывал прямо здесь».

Больше ничего интересного Андрей не нашел и вернулся к дыре. В сторону церкви ход продолжался с десятков шагов и кончался кирпичной стеной.

Выбравшись, Андрей повел Вовку домой.

— Тебя там не видели?

— Кто, дядя Андрей?  
— Кто запер.  
— Не. Я затаился.  
— А кто это был, не заметил?  
— Не. Я зажмурился и рот зажал. Их трое было.  
— Ну, спасибо тебе, Вовка. Я потом расскажу, как ты мне помог, и в школу сообщу, какой ты герой вырос.

Вечером Андрей зашел к партийному секретарю Виктору Алексеевичу, поговорил о чем-то с Богатыревым и направился к церкви.

Силантьев только что отпер двери, но входить не торопился — стоял на паперти, дышал свежим воздухом.

— Покажи мне свой объект, дедушка. Каморку свою тоже покажи.

Они вошли внутрь, осмотрелись. Андрей подошел к двери в каморку, подергал наружный засов, зашел внутрь, прикрыл за собой дверь, вышел.

— А зачем здесь засов?

— Да кто ж его знает? Всегда был.

— Вот что, дедушка. Ты сегодня спи покрепче, ладно? И храпи погромче. Храпи, что бы ни услышал.

— Как же так? Ну ладно, коли надо.

— Где тут еще дверь наружу есть, поменьше?

— А вона — в приделе. Пойдем, покажу.

— Оставь ее на ночь открытой, хорошо? Не забудешь?

Силантьев покивал головой, задумался, что все это значит, но спросить не решился.

Настала ночь. Андрей терпеливо сидел в уголке, ждал, положив фонарь на колено, прислушиваясь к добротному, гулкому в тишине храпу Силантьева. Думал, правильно ли поступил, оставив открытой дверь — ему не хотелось, чтобы ребята попали в церковь «со взломом». Он и дежурил здесь, чтобы не допустить их до преступления.

Они пришли ближе к утру, все трое, как потом увидел Андрей, в масках. Вошли через дверь — догадались поискать вход попроще, чем решетки пилить или замки ломать.

Андрей подождал, пока они задвинули засов каморки, включил свой сильный фонарь и сказал спокойно:

— Здорово, ворюги.

Сначала они замерли. Потом Колька рванулся было назад, к выходу, но Андрей рывкнул каким-то железным голосом:

— Стоять! Руки! Лицом к стене!

Он нарочно так кричал, чтобы припугнуть их как следует, чтобы на всю жизнь запомнили этот окрик: «Стоять!»

Ребята послушно стали лицами к стене. Андрей грубо обыскал их, сорвал маски, разрешил повернуться.

— Дядя Андрей, — заныл Кролик, — ты нас не пугай. Мы...

— Я вам не дядя Андрей, — оборвал участковый. — Я для вас участковый инспектор, задержавший вас с поличным при попытке совершить кражу.

— Все равно ты нас не пугай, — проворчал Мишка. — Все равно нам ничего не будет. Мы просто шкodu хотели устроить Леньке. И несовершеннолетние еще.

— Это кто же вам удружил, кто вам такое вранье подготовил? Влепят вам по три годика, вот и выйдете оттуда совершеннолетними. — Андрей светил прямо в их испуганные лица, не жалел ребят для их же пользы. — Только тебя, Челюкан, мать — по своему здоровью — навряд ли дождется, и ты, Мишка, в плавание никогда уже не пойдешь — не примут тебя с судимостью в мореходку...

— Не грози, шериф, — перебил, отвечая за всех Колька. — Ничего нам не будет.

— Я тебе покажу — «шериф»! Нахватайся! Дурачье, вас, как деток, обвели. Вы знаете, сколько стоит то, что вы красть собрались, — для себя или для вашего друга?

— Да ничего мы не хотели красть! Мы спрятать хотели, чтоб Ленька побегал. А потом — отдать...

— Где он вас ждет? — нетерпеливо оборвал его Андрей.

— Кто? Ленька?

— Не придуривайся! Где он вас ждет, ваш великий друг? Что ж сам-то сюда не полез? Может, знал — отсюда одна дорога: сперва на скамью, а потом на нары, а? Хороший у вас друг — верный, заботливый.

Андрей понимал, что говорит не очень убедительно,

что надо бы собрать мысли и успокоиться, что криком ему многого не добиться, да времени совсем не было. Для себя он решил: все остальное потом, сейчас главное — Великого взять.

Но и ребята почувствовали его тревогу — дошло, видно, что опять участковый за них старается, а не против. И хотя еще по-мальчишески упрямылись, но уже понимать начали, что большую беду он от них отводит.

— Мы, честное слово, не знали, — прошептал Мишка. — Только ты, дядя Андрей, не ищи его, не ходи к нему — он дерется здорово.

— И нож в стенку кидает, — добавил Кролик, шмыгая носом, готовый расплакаться. — И ружье у него.

— А что? — усмехнулся участковый, опуская фонарь. — Может, и правда, не ходить, а? Что он мне сделал? Что у меня украл? Вам, конечно, чуть жизни не покалечил. Ну и что? Зато себе красивую жизнь мог обеспечить. Где он?

— На развилке ждет.

— Идите по домам. И до утра носа не высовывать. А в девять ноль-ноль — ко мне. Ясно?

Ребята переглянулись. Не понравились Андрею эти переглядки...

Он вышел, хотел было вернуться, вспомнив, что не отпер Силантьева, но побоялся задержаться, махнул рукой и побежал напрямую, полем, через кустарник.

Великий нервничал, психовал. И не мог понять отчего. Все вроде проделано чисто, осторожно, с умом. И разведка была красивая, без следов обошлось. И каналы — будь здоров! — подготовлены, и нужные люди найдены — не зря ведь за рубеж катался, такие денежки потратил. И пацанов, хоть времени мало было, хорошо сумел подобрать и обработать. Отсидят — совсем готовенькими будут. Да и дело, что говорить, того стоит. Ох, стоит! Довольно по краешку, озираясь, ходить, мелочовкой перебиваться. Брать так брать. Мусорок бы этот сопливый не вылез. Если что — добра не ждать. Два раза срывался, повезло — неглубоко копали. Теперь уж если ниточку потянут — не отвертеться и от старого...

Великий снова подошел к машине, повернулся, опять зашагал к селу. И увидел бегущего к нему уча-

сткового. Рванулся к машине, мгновенно выхватил и вскинул ружье.

— Не подходи, шериф! — А в голове запрыгали, задергались лихорадочные мысли: «Что? Как? Пронюхал? Ребят зашухарил? Ну и что? Шутка. Липа! Пацианы, если прижмет, расколются. Зелены — мало с ними работал. Ах, черт! Списочек. Шпаргалочка у них — что в первую очередь брать. Липа, липа! Оторваться? Далеко не уйти. Все, Великий, последний шанс сгорел! Ах, какое дело мусорок сорвал! Какой куш из-под носа, сволочь, вырвал! Все в сортир, в дерьмо! Сволочь! Сопляк! Свидетелей нет — несчастный случай. Поделом тебе, деревня неумытая. Умным жить не даешь — дураком подыхай!» — Стой, шериф!

Андрей бежал прямо, все быстрее и быстрее. На глазах росла черная дырка ствола. А свернуть нельзя, и нельзя метаться, пригнуться нельзя, а тем более остановиться — видел он: смотрят во все глаза вылетевшие из кустов ребята, замерли. Не должен Великий уйти героем, победителем. Не должен сильнее закона быть.

Андрей на бегу расстегнул кобуру, вырвал пистолет, толкнул пальцем флажок предохранителя.

— Стой! — крикнул он. — Бросай оружие!

Андрей бежал и смотрел не на ружье, а в глаза Великому: уловил, как они, прищуриваясь, стали сужаться, как остановился тупой беспощадный взгляд... Андрей чуть качнулся в сторону, замер на миг в этом положении — спровоцировал выстрел, внутренне приказал: «Огонь!» — и упал на землю. Дернулось плечо Великого, рванулось из ствола длинное злое пламя. Андрей, еще падая, выбросил вперед руку с пистолетом и тоже выстрелил — не целясь, вверх, — вскочил и в два прыжка достал Великого. Тот успел перехватить ружье, взмахнул им как дубиной. Андрей нырнул под удар, обхватил Великого за ноги, под коленками, и, резко выпрямившись, бросил его через себя, назад. Тяжел был Великий — рухнул грузным мешком. Полежал, встал на четвереньки и медленно, очумело как-то полез в машину, смешно оттопыривая зад. Андрей дернул его за ворот, повернул и, взглянув в мутные злые глаза, с удовольствием защелкнул наручники.

С пригорка посыпались ребята. А из-за поворота бежали дружинники. Впереди всех скакал Вовка, держа из кармана зацепившуюся рогатку, за ним соглас-



но топали сапогами партийный секретарь и председатель Иван Макарович. Несколько парней даже колы осиновы по давно забытому обычаю прихватили и размахивали ими и почему-то кричали: «Ура!» «Как на упыря поднялись», — подумал Андрей, подбирая ружье.

Великий окончательно очухался и, увидев бегущих к ним колхозников, шмыгнул за спину Андрея и завизжал:

— Не смеее меня бить! Нельзя!

Сразу стало шумно и уже совсем светло. Подбежала и Маруся, схватила Вовку за руку, подшлепнула. Маленький Богатырев заглянул в машину, закричал:

— Иван Макарыч! Тут сейф ваш голубенький лежит! Во ловкач!

Иван Макарович немножко покраснел, потому что в крохотном стальном ящичке, кроме колхозной печати и чистых почетных грамот, были еще и пятнадцать рублей, заначенных им от супруги.

Андрей усадил Великого на заднее сиденье, между двумя дружинниками, отобрал у Вовки рогатку и сел за руль. Остальные пошли сзади, чуть ли не строем и не с песнями, положив колья на плечи, как винтовки. Богатырев шагал по обочине, высоко взмахивая руками, и в своей фуражке, которую подарил ему прежний участковый, был очень похож на бравого командира — росточком только не вышел.

Андрей вывел машину на дорогу, ведущую к селу. Было ощущение какой-то приятной пустоты и усталости, как после трудного, но хорошо сделанного дела. Но сильнее всего было то сложное чувство, которое он испытал (и уже никогда не забудет), видя, как дружно бежали на помощь ему люди. Было в этом чувстве и тепло, и благодарность, и даже немного гордости... Андрей притормозил, дождался, когда поравнялся с ним председатель, и приоткрыл дверцу — хотелось сказать что-то доброе, хорошее и значительное...

— Иван Макарыч, ты пошли кого-нибудь Силантьева отомкнуть. И пусть он дверь в приделе запрет, ладно?

— Ага, — сказал председатель и, ежась, поднял воротник. Потому что кончились чудесные дни золотой осени, пошли дожди, близилась зима. И новые заботы.

---

— ТАКИЕ НА ВСЕ СТОСОБНЫ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ОТВЕ-  
ЧАТЬ ЕМУ ВСЕ РАВНО ПО ВЫСШЕЙ ОЦЕНКЕ  
ПРИДЕТСЯ. КАК ЖЕ ЕГО УПУСТИЛИ!

## ВЫСТРЕЛЫ В НОЧИ



ПОХОЖЕ, ВСЕ СЕЛО ЗДЕСЬ БЫЛО. ВСЕ  
СТОПНИЛИСЬ НА КРАЕШКЕ И, ЗАСТОНУСЬ ЛАЧОЧКИ,  
ОТ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА, СМОТРЕЛИ В НЕБО.  
ТАМ, РАСКИНУВ КРЫЛЬЯ, ЛЕТАЛИ СИНЕРЖИ-  
СКИЕ МАХОВИШКИ.

— КРАСОТА У НАС, ВЕРНО? НИГДЕ ТАКИХ ОБЛАКОВ  
НЕ БЫВАЕТ, ТЫ ГЛАВЬ — КАКИЕ БЕЛЫЕ ЛА ВЫСО-  
КИЕ, КАКИМИ БАРАШКАМИ ЗАВИВАЮТСЯ.

А МЕТРАХ В Сорока Анришо еше упала сверкнула — слетел сапога на мят-  
кой черной землени, а в нени — раздувавшийся акурок, самокруточный!

И вдут в этом прекрасном разумном мире раздулись два раз-  
киса, почти слившихся высиравла... дулит. дулит. Кто? Кто?

Он пошел  
тошнее пр  
ку на заоб, снова прислушались, поворачивая острое, нараста  
е веры - какой-то нежной, чуждой и потому - страшной, как в кошмарном сне.

Андрей отпустил ветку, за которую будто держался, и шагнул на полянку.



-Ну? - жестко спросил сидящий рядом с водителем. - Угнетал, задр  
хался, хрипло, прерывисто ответил ему тот, кто прыгнул в машину.

Андрей настороженно смотрел, как он это лезет в карман, достает бу -  
мажник, как подрагивает его чуть разво -  
енный подбородок, подергивается бритая щека.

*Только что со мной произошла совершенно дикая, невообразимая история. Не разрешите ли с вами посоветоваться?..*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*30 мая, суббота*

После зимы в Синеречье сразу началась весна. Она пришла день в день, час в час, будто терпеливо дожидалась своего времени, расчетливо накапливая силы, и в ночь с февраля на март отчаянно ворвалась в село короткой, яростной, хорошо подготовленной атакой: грозно зазвенела очередями капли, шумно обрушила с крыш твердо слежавшиеся снежные пласты, неудержимо, стремительно разбежалась повсюду бурными ручьями. К утру она бросила в бой свои главные резервы — сначала ветер и жадный дождь, а затем — горячий свет с чисто-синего неба. И дальше все быстро и ладно пошло своим извечным чередом. Сбежали снега, загремел на реках лед, разрушаемый беспощадной силой, шумно тронулся и навсегда уплыл куда-то далеко вниз, ярко зеленея и сверкая холодными искрами на острых, граненых изломах.

Отовсюду — с теплых полей, из хмурых еще лесов — потянуло волнующим запахом проснувшейся земли и прелой соломы, оттаявших стволов и прошлогодней листвы. Торопливо проклюнулась травка, вылупились первые листочки, посвежела хвоя. Чище и звонче стали орать по деревне петухи. Веселее зазвенели в колодцах ведра. Зашумели на полях застоявшиеся трактора.

Синереченцы, соскучившись за зиму по настоящей крестьянской работе, отселись ровно, уложились в нужные сроки и по району вышли на первое место. Радуюсь хорошей весне, они дружно уверились и в хорошее, совсем уже недалекое, лето, и в добрый урожай...

Андрей Ратников, хоть и своих забот хватало, но в посевную сумел и на сеялке постоять, и даже, подменяя приболевшего некстати тракториста Ванюшку Кочкина, вспахал малую толику за Косым бугром. Все еще тянуло его к привычному сельскому труду, нрави-

лось и хотелось делать с людьми одно — общее и важное — дело. Да к тому же хорошо понял он за свою недолгую еще милицейскую службу, что нельзя ему на особку держаться, надо со всеми вместе общими заботами жить — польза от этого обоюдная и заметная...

Но сегодня что-то не ладилось у него. Весь день Ратников как-то неуютно себя чувствовал. И понять никак не мог почему. Уж, вроде бы в должности освоился, привык на людях их внимание ощущать: и доброе, да и недоброе тоже, надо сказать. А тут будто что-то нехорошее у него за спиной делалось, а он и не знал об этом, только казалось, словно кто глаз настороженных и злых с него не спускал, ровно на мушку взял и водил следом стволом, выбирая нужный момент, чтобы курок спустить. Черт знает что такое, злился на себя Андрей, на небывалое с ним состояние.

Домой он пришел поздно: дождался, пока в клубе танцы закончатся, развел двух петушков — Серегу и Митьку, которые уже было и куртки поскидали, и рукава рубаш подтянули, проводил до калитки разомлевшего в тепле старика Корзинкина, терпеливо послушал, как он клялся, что «в последний раз, да и то с устатку», проверил магазин и с Галкой на крылечке постоял. За всеми этими делами (день вообще трудный был, хлопотливый — суббота) Андрей как-то поуспокоился, однако тревога совсем не прошла, где-то внутри затаилась.

Среди ночи, поближе к утру, Андрей проснулся от какого-то странного стука в наружную дверь. Спросонок ему показалось, будто ветер забрасывает на крыльцо тяжелые редкие капли дождя и они барабанят в старый перевернутый тазик. Он привык уже, что его иногда поднимают по ночам, но в таких случаях стучат в окно — громко, требовательно, настойчиво — и зовут в полный голос. А сейчас это непонятное, даже жуткое постукивание настораживало, в нем таилась тревога и опасность.

Андрей приподнял с подушки голову, прислушался, стараясь успокоить гулко забившееся сердце. Потом тихонько встал, не зажигая света, нашел спортивные брюки, сунул ноги в тапки и, взяв пистолет, бесшумно вышел в сени, все время слыша этот необъяснимый, дробный стук, словно кто-то горстью кидал в дверь камешки.

Он положил руку на засов, снова прислушался, по-

давяля острое, нарастающее предчувствие беды — какой-то неясной, нереальной и потому страшной, как в кошмарном сне. Сопротивляясь этому страху, не позволяя ему одолеть себя, а значит — и потерять голову, Андрей лихорадочно соображал, прикидывал: что делать? По-хорошему бы — ударить ногой в дверь, упасть на крыльцо камнем или кошкой и руку с пистолетом вскинуть... А если это пацаны балуются? Или чья-нибудь бедняга жена пришла потихоньку, соседей стыдясь, просить, чтобы утихомирил разгулявшегося мужика? Хорош будет участковый — пузом на полу!

Он осторожно двинул затвор пистолета и, чуть помедлив, быстро шагнул на крыльцо и сразу — в сторону. Тут же заблестело в кустах напротив дома длинное прерывистое пламя, гулко затрещало, с глухим звоном защелкали, застучали в бревна пули, взвизгнула одна из них, попав в какую-то железку, и вцепилась куда-то под крышу.

Андрей, словно его толкнуло в спину, упал. Еще падая, не раздумывая, дважды выстрелил вверх. В мгновенно навалившейся тишине булькнула в ведре с водой выброшенная пистолетом гильза, звякнула обо что-то другая и поскакала вниз по ступенькам крыльца. Он вскочил на ноги, перемахнул через перила и бросился туда, где только что блестели вспышки выстрелов и слышалось, как затрещали под ногами сухие ветки, зашелестела листва по одежде убегающего человека.

Андрей бежал следом, кричал: «Стой!» — и все старался разглядеть, узнать — кто это, кто ночью воровски выманил его на крыльцо, чтобы стрелять в него — подумать только! — из автомата, но ему никак не удавалось уцепиться взглядом за что-нибудь знакомое в пригнувшейся фигуре, за какую-то характерную деталь в облике. Здесь, в кустах, было совсем темно, по глазам били, хлестали ветки, и он видел только подпрыгивающую спину, бугорок головы над ней и откинутую, мотающуюся руку с оружием в ней. «Глупо делаю, — мелькнуло в голове, — если он меня на другого выведет, тот запросто срежет», но остановиться Андрей уже не мог.

Они почти одновременно вырвались наискось к проселку, и один за другим перемахнули канаву. Стрелявший тяжело побежал к чему-то массивно темневшему впереди на дороге, и Андрей опять подумал, что там могут быть сообщники и тогда уж все вместе они на-

верняка сделают то, за чем приходил этот, с автоматом.

Темное пятно впереди оказалось легкой машиной, стоящей у обочины с потушенными огнями, с распахнутой левой задней дверцей. Неизвестный подбежал к ней, швырнул внутрь автомат и сам бросился, как нырнул, следом. Машина рванулась, взвыв, буксуя, бешено набрала скорость, и где-то уже далеко ярко зажглись ее красные габаритки, заметались над дорогой длинные лучи света и громко, как выстрел, хлопнула дверца.

Андрей сгоряча пробежал еще по дороге и остановился, слыша надрывный шум мотора, свое тяжелое частое дыхание и возбужденную брехню перепуганных собак. Стало холодно ногам, особенно правой, с которой еще у крыльца свалился тапок. Андрей постоял, чертыхнулся в сердцах и пошел обратно.

— Ну? — жестко спросил сидящий рядом с водителем.

— Уделал, — задыхаясь, хрипло, прерывисто ответил ему тот, кто прыгнул в машину.

— Уделал, говоришь, дешево? — И резко обернулся. — А кто бежал за тобой? Кто из пушки садил? Покойник?

— Где мне... знать?.. Ночевал... у него кто-то... Следом за ним... из избы выскочил... Дай глотнуть... задохнулся шибко.

— Слыхал, глотнуть ему? Не подавишься? Такую подлянку нам кинул, а ему — глотнуть! Что же ты и второго не уделал? А если он засек тебя, падло?

— Не засек... Где там... В такой-то темени. Я б его... лупанул... Да это... керосинка заела... Дай глотнуть.

Водитель посмотрел на сидящего рядом, пошарил под сиденьем и протянул назад бутылку водки.

— Останови. Глотнул? Давай мотай в село. Посмотри — как там? На глаза попадись, понял? Утром жду. А ты подбрось меня поближе к стойлу...

Когда Андрей вернулся, у дома уже собрался встревоженный народ.

— Что за происшествие, товарищ лейтенант? — деловито выступил вперед крошечный Богатырев —

командир колхозной дружины. — Мы готовы к действию!

— Тапок потерял, — ответил участковый.

— Была бы голова цела, — сказал председатель колхоза Иван Макарович, протягивая Андрею ключи от правления. — А уж тапки мы тебе новые купим. Звонить прямо сейчас пойдешь?

— Оденусь только. Расходись, мужики, не топчитесь здесь. И по кустам не лазайте. Богатырев, присмотри тут. — Андрей так и стоял с пистолетом в руке, потому что деть его было некуда — не за резинку же «треников» засовывать.

Гордый доверием Богатырев, солидно поправив форменную фуражку, доставшуюся ему от прежнего участкового и которую он, похоже, даже на ночь не снимал, стал шустро теснить людей к калитке, приговаривая: «Освободите, граждане, место происшествия для осмотра и охраны».

Андрей, одевшись, вышел на улицу с фонариком, подобрал свои гильзы и нырнул в кусты. Он быстро отыскал место, откуда стреляли, разглядел россыпь тусклых старых гильз и нашел хорошо вдавленные во влажную землю следы кирзовых, видимо, сапог.

— Богатырев! — крикнул он. — Поставь своих ребят, чтобы сюда никто не подходил. И сами пусть подалее держатся.

Андрей позвонил в район, дежурный по отделу связал его с начальником, и тот хриплым со сна голосом, выслушав участкового, сказал:

— Ну ты даешь, Ратников! Мы тебя хвалим, в пример ставим, а на твоём участке такие происшествия. Не приснилось тебе, часом?

— Если бы...

— Вот что, лейтенант. Людей я сейчас высылаю. А ты пока думай: зачем в тебя стреляли? Что ты за фигура такая, что такое наделал, чтоб из автомата тебя бить? И второе: автомат и машина. Понял? Давай действуй.

У Андреева дома толпа гудела — все село, конечно, сбежалось, как на пожар. Светать уже стало, и все глаз не отрывали от свежих, с торчащими острыми белыми щепками сколов на бревнах сруба, от перилины крыльца, вовсе перебитой, повисшей на гвозде. И страшно как-то людям, и тревожно было, что это в их участкового, совсем пацана еще — Андрюшку Рат-



никова, которого многие вообще мальцом помнили, стреляли так по-настоящему, беспощадно, нагло, без всякой опаски. Стреляли, чтобы убить. Потому люди и смотрели по-разному: кто со страхом и жалостью, кто с крайним удивлением, словно бы и не веря глазам своим, а кто и с тихим бешенством, гневно, скрипя зубами, сжимая кулаки.

Андрею даже как-то неловко было подходить к ним, особенно когда все обернулось к нему и молча, сочувственно расступились.

— А ты, дядя Федор, чего прибежал? На кого магазин оставил?

— Как же теперь без меня — ведь я при ружье и вполне способный тебе помощь оказать. Потому и прибежал.

— Где ему бегать? — засмеялся Степка Моховых. — Он с вечера тут прятался, поближе к милиции.

Кто-то (кто именно, Андрей не разобрал в сером свете наступающего утра), постучав о землю черенком зачем-то прихваченных вил, сказал негромко: «Ты, Андрейка, нынче ко мне ночевать иди, не сомневайся». Участковому аж горло перехватило. Он сказать-то ничего не мог, только кивнул и покачал головою — мол, спасибо, не надо. А тут еще Галка вывернулась, бросилась к нему, в руку вцепилась, молчит, а глазищи — вот такие.

Андрей ее легонько отстранил, сел на ступеньку, ладонью устало по лицу провел — все-таки такого страха натерпелся — и тихо сказал:

— Расходитесь, граждане.

Граждане послушно разошлись. Только Галка, безуспешно поискав предлога остаться («Может, тебе чаю поставить или за молоком сходить?»), попыталась задержаться, но Андрей и ее спровадил безжалостно. Ему нужно было побыть одному, собраться с мыслями и приступить к работе.

В дом почему-то идти не хотелось, он остался на крыльце, взяв только из планшетки свой рабочий блокнот.

Начинался день. Быстро, торопясь по своим важным делам, поднималось солнце. Оно, словно подброшенное, выскочило из-за леса и круто полезло в небо, заливая все вокруг ярким светом. И хотя в селе уже никто не спал и было так же, как всегда: кричали пе-

тухи и мычали коровы, скрипели и хлопали калитки, гремели в колодцах ведра, звенели по железкам молотки (хозяева загодя готовились к сенокосу), — утро все-таки казалось не таким, как обычно, не веселым, что ли, пасмурным.

Андрей сидел на крыльце, листал блокнот, поминая при этом добрым словом участкового Иванцова, у которого принял эту трудную, беспокойную и, выходит, опасную должность. Тот ему сразу сказал, сдавая свой пост: «Каждый день, Андрей, записывай. Подробно пиши, не стесняйся бумагу марать. Все пиши, где был, что видел и сделал, с кем и о чем говорил, у кого кто родился и кто вчера выпил лишнего — все-все пиши. Неизвестно, что пригодится. Может, тебе из всего только одна строчка и понадобится, но ей цены не будет, золотой окажется».

Тихонько, исподтишка, ни с того ни с сего стал накрапывать дождик. Андрей вынес из дома коробку от ботинок, накрыл ею след сапога в кустах и положил сверху кусок пленки. Потом снова сел на ступеньку, раскрыл блокнот, задумался.

Вернемся и мы вместе с участковым к тому дню, когда, вероятнее всего, начались какие-то события, развитие которых едва не стоило ему жизни; постараемся вместе с ним разобраться в них, понять, что в обычных, рабочих буднях сельского милиционера могло привести к столь загадочным, необычным последствиям...

*Вот другой конец запутанной нити.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*13 мая, среда*

С утра Андрей ездил в район. С делами управился к обеду и только подошел к мотоциклу, как кто-то небритый — царапнул по щеке как наждаком — набросился сзади, сильно обхватил, сдвинул и заорал радостно, счастливо, не стесняясь прохожих:

— Сергеич, участковый, отец родной! Здорово, милиция!

Андрей, который от неожиданности чуть было не бросил его через себя, смущенно вырвался из цепких дружеских рук Тимофея Елкина (по прозвищу Дру-

жок) и поправил фуражку. Полгода назад участковый направил его на принудительное лечение, выступал в суде свидетелем и, конечно, не ожидал от Тимофея такой бурной радости при встрече. Но, видно, тот многое понял и обиды на него не держал, а был искренне рад ему и благодарен.

— Ну как ты? — спросил Андрей.

— Хорош, Андрей Сергеич! По всем статьям выправился и человеком стал: и умный опять, и здоровый, и трезвый навсегда. Дай твою добрую руку пожму! Спасибо тебе. Ты со мной как с другом обошелся. Спас, можно сказать, в трудную минуту. Теперь за мной должок. Придет пора — и я тебя выручу!

Был он оживлен, доволен, будто возвращался с курорта, а не из лечебно-трудового профилактория.

— Трогай! — закричал он, садясь в коляску Андреева мотоцикла, и свистнул так звонко и заливисто, что с куполов церкви сорвались голуби, а дремавшая неподалеку на лавочке бабуля вздрогнула и испуганно закричалась, сердито бормоча.

— Тихо, тихо, — улыбнулся Андрей, — а то я вместо села в отделение тебя доставлю.

Дорогой, пока ехали Дубровниками, Тимофей, как бойкий птенчик в гнездышке, вертелся в коляске, все время смеялся и что-то говорил, поворачиваясь к Андрею, но тот почти ничего, кроме отдельных слов («вино... жизнь... со стороны... Зойка... вино... доченьки... жуть... вино»), не слышал и только время от времени согласно кивал головой, чтобы не обидеть Тимофея, не омрачить его радости.

Уже на окраине, у переезда, участковый вдруг остановился, мотоцикл заглушил и, бросив Елкину: «Посиди», — пошел к пивному ларьку, около которого — он заметил — назревал беспорядок.

Тепленькие мужики, горланя, размахивая кружками и кулаками, угрожающе теснили какого-то прилично одетого гражданина. Тот не пугался, стоял, лениво прижавшись спиной к обитой железом полочке ларька, и, опираясь на нее локтями, развязно держал в руках кружки с пивом, спокойно улыбался, как скалился.

Андрей видел: так же опасно улыбаясь, он, не торопясь особо, выплеснул пиво под ноги окруживших его мужиков, ахнул кружки о полочку — зазвенело, брызнули осколки, — и в руках его оказались, как ка-

стеты, крепкие ручки со сверкающими острыми обломками... Мужики примолкли, переглянулись.

— В чем дело, граждане? — Андрей уверенно протолкался сквозь толпу, остановился перед отважным гражданином. — Бросьте в урну ваше «оружие», подберите осколки и уплатите за разбитые кружки. В чем дело, граждане?

Продавщица, получив деньги, испуганно хлопнула окошком, спряталась от греха. Мужики загалдели — враз, все вместе:

— Без очереди лезет! Обзывается всяко! Урка тюремный! Он — человек, а мы что — не люди? Прибери его, милиция!

Андрей оглядел толпу, послушал и повернулся к «урке». Тот уже не был так спокоен, но вида не показывал. Что-то насторожило Андрея, что-то в нем не нравилось, не так было. И главное — не то, что он умело, опытно превратил кружки в страшное оружие, а другое — пока еще неясное.

— Спасибо, лейтенант, выручил. Может, и я когда тебе пригожусь. Совсем оборзели — хулиганье! Как собаки бросаются! — Он почти заискивал, но не явно, в меру, соблюдая достоинство.

— Пройдемте. — Андрей взял его за рукав, отвел в сторону.

Мужики расступились, ворча, пропустили их, сдерживаясь, чтобы не дать задержанному хорошего пинка напоследок.

— Документы прошу предъявить, — сказал участковый.

— Да ты что, лейтенант? Меня чуть не пришили, и я же отвечать должен! Ты даешь!

— Документы! — спокойно, но уже настойчиво повторил Андрей и настороженно смотрел, как он зло лезет в карман, достает бумажник, как подрагивает его чуть раздвоенный подбородок, подергивается бритая щека. Вот оно что! Выбрит, но в волосах сухие травинки, костюм новый, а уже помятый. Ну и что? Загулял мужик, ночевал где-то в прошлогоднем стогу, подумаешь. И брился тоже там? К тому же по виду городской, а лицо обветренное, и дымком от него пахнет — не уютным, печным, а костерным, бродяжьим.

Задержанный стал шарить по кармашкам бумажника — искать паспорт.

— Забыл, куда сунул, — пояснил он, отвечая на во-

прошающий взгляд милиционера. — Давно никто не спрашивал.

«Не его бумажник», — уверился Андрей, наблюдая, как неуверенно и нервно, словно спотыкаясь, бегают его грязные худые пальцы.

— Дайте-ка я сам посмотрю.

Неизвестный быстро, незаметно оглянулся по сторонам. На лоб его упала чуть выющаяся челка с заметной седой прядкой.

Андрей достал паспорт, посмотрел.

— Ваша фамилия?

— Там написано, — буркнул он. — Ты грамотный? Федорин — моя фамилия. Верно? Алексей Кузьмич. Пятьдесят третьего года.

— Где получили паспорт?

Неизвестный ответил.

— Когда?

— В семьдесят восьмом. В декабре. Точнее не помню.

Все было правильно. И что-то не то. Андрей осмотрел бумажник — немного денег, лотерейный билет и блок фотографий. Сравнил с фотографией на паспорте. Одинаковые... Стоп! А почему они одинаковые? Фотографии новые, вот на обороте дата карандашом представлена и номер квитанции, а паспорт выдан в семьдесят восьмом году!

— Задерживаю вас, гражданин Федорин, — сказал Андрей, — для выяснения некоторых обстоятельств.

— Да ладно тебе, начальник! Давай по стакану — и разойдемся друзьями. Нет за мной вины, ты уж поверь.

Андрей не ответил, вложил паспорт в бумажник, открыл планшечку...

Федорин вдруг прыгнул в сторону, вцепился в задний борт сползавшего с переезда грузовика, подтянулся и перевалился в кузов. Мужики заорали, кто-то засвистел, но водитель не обратил внимания, прибавил скорость, и машина свернула за угол.

Андрей бросился к мотоциклу, рванул с места так, что Дружок едва не вылетел из коляски.

Машину они догнали почти сразу.

— Давай поближе к борту, — прокричал Тимофей, привставая, — я его возьму!

— Я тебе возьму!

Андрей обогнал машину, просигналил, чтобы оста-

новила, и подбежал к ней. В кузове уже никого не было...

Андрей забежал в один двор, в другой, выскочил на параллельную улицу, вернулся...

— Как же ты так оплошал? — посетовал дежурный, когда Ратников написал и сдал ему рапорт вместе с бумажником. — А если он в розыск объявлен?

Андрей поморщился, промолчал. Да и что ему было сказать? Что все получилось слишком неожиданно? На то он и милиционер, чтобы любую неожиданность предусмотреть, всякую беду предвидеть и предупредить. Да, плохо дело...

Знал бы Андрей — как оно плохо!

До самого села почти ехали молча. Дружок сочувственно поглядывал на Андрея, кряхтел, плевал на дорожку и все хотел показать, что часть вины за промашку готов взять на себя.

Когда поднялись на Савельевку, он дернул Андрея за рукав — попросил остановиться — и выбрался из коляски.

Все кругом было залито солнечным светом — таким ярким и сильным, что казалось, так будет всегда: не придет ночь, не грянет зима, не набежит издалека серая мокрая туча. И повсюду в этом горячем свете звенели птицы.

Тимофей подошел к самому краю обрыва, обернулся к Андрею, блестя влажными глазами:

— Красота у нас, верно? Нигде таких облаков не бывает, ты глянь — какие белые да высокие, какими барашками завиваются. И жаворонок у нас особый — звонкий и переливчатый. Я его одним ухом узнаю, не ошибусь... — Он присел, достал мятые папиросы. — Лучшие в мире наши края. Я хоть и нигде кроме не бывал, а знаю. Живи и радуйся! Еще бы Зойка с девчонками вернулась...

— От тебя зависит, — сказал Андрей.

— Думаешь? Ладно, поживем — поглядим.

Так и сидели они рядышком — участковый инспектор милиции и бывший злостный пьяница и тунеядец, и будто не было важнее дела, любовались бескрайним раздольем, нежно-зелеными полями, синими реками, в которых блестело солнце.

— Слышь, Андрюша, а верно старики говорят про

кузнеца Савелия, что он в стародавнюю пору сделал себе крылья и летал на них выше леса, а? И края наши, сверху оглядев, Синеречьем прозвал?

— Наверное, правда. — Андрей помолчал. — Теперь уж не узнаешь, про какие крылья они рассказывают, может, что другое под этим понимают...

— Ага, — подхватил Тимофей, — у меня тоже вроде как крылья появились, и легкость в душе как у птицы... Ты гляди, гляди, что выделяет, окаянный! — Он, смеясь, показал на выскочившего на волю, ошалевшего от тепла и света теленка, который, припадая и взбрыкивая, прыгал вокруг трактора. — Ну чисто кобель перед лошадью, только что не гавчет! Ай, молодец! Так его, так, куси его, Бобик!

Ванюшка Кочкин, сидевший за рулем, тоже, видно, был в хорошем настроении: недолго думая, вылез из кабины и стал на четвереньки, замотал кудлатой головой, тяжело и очень похоже замычал. Теленок, задрав хвост, в ужасе дернул от него по борозде.

— Господи, всегда бы так хорошо было! — от сердца пожелал Тимофей.

— Ладно, едем, — сказал участковый. — Дела ждут.

Тимофей, став серьезным, уселся в коляске поважнее и строго сказал:

— В правление. Буду просить председателя доверить мне прежний ответственный пост — поголовье Козелихинской фермы. Так и скажу, мол, рядовой сельский труженик Тимофей Елкин из вынужденного увольнения прибыл, готов приступить к добросовестному исполнению своих обязанностей. Трогай помалу!

У правления только пионеров с горнами не было, а так почти все село собралось — событие! Впрочем, один пионер был — гипсовый. Он стоял напротив фонтана, и на его высоко поднятой трубе сидела ворона и каркала.

Тимофей выбрался из коляски, постоял, глядя на знакомые лица, поклонился до земли.

— За пьянку, сердешный, сидел, — прикрывая рот платком, злорадно вздохнула худая и вредная Клавдия.

— За пьянку не содят, — авторитетно поправил первый на селе пьяница и сплетник хуже бабы, небри-

тый, с синяком под глазом Паршутин. — Вот ежели чего по пьянке — это другое, за это содят.

— Лечился он, — сердито сказала тетя Маруся. — Теперь лечут от этого.

— Дружок! — заорал Паршутин. — Тебя тоже небось вином лечили? Мы в телевизоре видали. Так и я могу, заходи вечером — вместе полечимся!

Тимофей обернулся на крыльце, усмехнулся снисходительно, как на глупого ребенка.

— Я теперь не Шарик и не Дружок, а тебе и подавно. Ты эту собачью кличку забудь навсегда. Я теперь Тимофей Петрович Елкин — полноправный и сознательный член нашего общества. И потому требую к себе уважения, а кто не захочет — заставляю!

Паршутин закатил глаза, делая вид, что ах как испугался, и показал ему кукиш в спину.

*...Я прихожу к заключению, что  
дело это гораздо серьезнее, чем  
может показаться с первого взгляда.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*15 мая, пятница*

Этот день Андрей начал с того, что зашел на машинный двор как раз к тому времени, когда механизаторы готовились выезжать в поле. Поговорил, машины осмотрел («Своя ГАИ у нас теперь», — добродушно шутили трактористы, они привыкли уже к этому), отстранил от работы Василия Блинкова, от которого сильно пахло еще «вчерашними дрожжами» и который при нем дважды уронил разводной ключ и споткнулся на ровном месте, помог студенту-практиканту Алешке завести мотор и пошел дальше.

В личном деле участкового инспектора милиции Андрея Сергеевича Ратникова и в приказе, которым ему объявлялась благодарность, записано, в частности: «...настойчиво и повседневно ведет большую профилактическую работу среди населения, и особенно с подростками и молодежью. Добивается в этом важном деле заметных успехов. На его участке самое низкое число правонарушений вообще, а среди несовершеннолетних они практически отсутствуют». И в областной газете, в очерке «Надежный парень», подчеркивалось, что



лейтенант А. Ратников обеспечивает высокие показатели в своей важной работе благодаря творческому подходу к делу и широкой связи с общественностью».

Сказано, конечно, коряво, отштамповано грубо, но по существу верно.

Вступив в должность, освоившись в ней, Андрей, как только позволило время, поднял старые дела и проанализировал все случаи правонарушений среди подростков. Завел даже специальную тетрадку, разграфил ее и заполнил самыми разными показателями.

Выводов он сделал много — неожиданных и интересных, но не о них сейчас речь. Главное, что он понял, — нормальные ребята и пацаны совершают преступления не со зла, не из корысти, а чаще всего «от нечего делать», со скуки. Андрей даже картинку нарисовать не поленился — из нее ясно как день было, что «кривая правонарушений среди подростков, например, хотя и лезет вверх в каникулы (в частности, в летние), но снижается в период уборочных работ, то есть когда ребята заняты в поле, помогают старшим».

С этой убедительной картинкой молодой инспектор пришел на правление и в партбюро, встретил там поддержку и понимание, наладил работу комиссии по делам несовершеннолетних, в которую вошли председатель колхоза, секретарь парторганизации, директор школы и школьный физкультурик.

На первом ее заседании Андрей так сказал:

— Нам не такая комиссия нужна: «Вася, зачем ты выпил вина и ударил Колю по головке напильником? Это очень плохо, Вася. Ты бы лучше порисовал у окошка птичек или построил для них скворечник. Тебя бы похвалили, а теперь ругают». Нам нужна, товарищи, такая работа комиссии, чтобы Васе и в голову не пришло выпить вина и хвататься за железки. Давайте думать.

Подумали, прикинули, наметили. И работа пошла. Пошла потому, во-первых, что важность ее все хорошо понимали, а во-вторых — самим интересно было.

Правда, поначалу такое наворотили в планах, что и в пятилетку бы не уложились, но Андрей укоротил, остановил на самом главном сейчас — занять ребят тем, что для них интереснее, что помогло бы им смелость свою испытать, силу показать и риск попробовать, разумный, конечно.

Комсомольцы своими руками пристройку к клубу

сделали — спортзал получился (там Андрей и дружинников тренировал), потом подземный ход, что от церкви за реку шел, в порядок привели — тир устроили. Председатель Иван Макарович пневматические винтовки купил, мишени ребята сами придумали — и до того веселые и забавные, со смыслом и назиданием, что и взрослые побаловаться приходили, а леший Бугров (лесничий) свой класс по выходным показывал — спички ставил и головки им с одной руки навывтяжку снимал. Ему Андрей и поручил стрелковую секцию, зная, что Бугров — человек серьезный и баловства с оружием не допустит.

Скоро и конная секция образовалась — зоотехник предложил. Он и лошадей отобрал из колхозных, не бог весть каких скакунов и мустангов, конечно, но вполне еще крепких и на вид ладных коняшек. И тренер нашелся свой — конюх, бывший кавалерист; он про лошадей знал много, рассказывал интересно и любил их как близких родных. И вот как-то двенадцать мальчишек и девчонок сели на своих коней и в строгом строю по селу проскакали — серьезные такие и красивые. В тот же день в секции вдвое больше их стало.

А потом и другой стороной, еще лучшей, это дело обернулось. В соседнем хозяйстве пацаны табун угнали — случай, к сожалению, теперь нередкий: покатаются ребята, жестоко загонят усталых животных и без жалости бросят где-нибудь в глухом месте, оставят до конца погибать. Андрей об этом случае только еще сообщение получил, а уж его конники поводья разбирали — сами вдогон бросились. И нашли, догнали и лошадей пригнали, и выходили, а потом соседям в лучшем виде передали. Правда, сгоряча угонщиков поучили — кому фонарей наставили, а кого и плетью разок огрели в назидание. Андрей, конечно, строгость показал, необходимое внушение сделал и наказание определил, а в душе счастлив остался.

Сейчас новое дело назревало. Затеялись ребята дельтапланы строить. Запала им в сердце история кузнеца Савелия, который сделал себе крылья из птичьих перьев и поднялся на них в синее небо. Иван Макарович помог с материалами, а школьный физкультурник-универсал достал журналы с чертежами, и вечерами в мастерских творились крылья.

Ну какие уж тут драки, огородные набеги и выпивки? Скучно этим заниматься, да и некогда.

Со взрослыми участковому тоже забот немало было. Мужик синереченский испокон немножко шалый был — шустрый, на все руки умелец — мог и крылья построить, но мог и душу пропить. Хоть сам-то по габаритам мелковатый, но шибко до вина охочий, приверженный к этому делу. Баба же синереченская, напротив, собой дородная, статная, характером крутая и умом трезвая. Раньше каждый выходной и в праздник можно было видеть, как супруги из гостей идут: сама идет ровно, крупно шагает, песню ревет, а в правой руке шиворот законного мужа держит. И висит он, как старое пальто на вешалке, болтается по всем сторонам, лениво, для вида, почти что в воздухе перебирая отказавшими ногами.

Участковый на пьянство зло нацелился, знал, что это такое, каких бед оно наделать может. И борьбу повел беспощадную. Но пьяница здесь был стойкий, упорный, веками закаленный забулдыга и без боя не сдавался.

Кое-что и здесь Андрею уже удалось сделать. Результаты уже заметные, но до победы еще далеко шагать...

Кроме того, было на его участке несколько человек, отбывших наказание. За ними Андрей особо смотрел. Но не обидно, с подозрением, а по-доброму, чтобы вовремя остановить или поддержку оказать. Разные ведь все. Имелись, конечно, и такие, что вот-вот опять загреметь могли, только случая ждали. Этих Андрей не жалел, смотрел только, чтобы они сами кому обиды не нанесли...

В Оглядкине участковый первым делом хулигана Игоряшку Петелина навестил. Его он на особом учете держал, был с ним строгим, даже грубоватым и, войдя в его двор, где Игоряшка с машиной возился, без церемоний сразу официально заметил, чтобы больше этого не было — гаражей в колхозе много и нечего по дворам машинам ночевать.

— Ты вчера в клубе чуть до драки не дошел. Делаю тебе предупреждение, при повторном нарушении приму другие меры, более строгие. Тебе это, сам знаешь, ни к чему.

Игоряшка, полноватый, сильный и крупный парень, от которого почему-то всегда хорошо пахло семечками, доливал воду в радиатор своего «уазика» (он возил главного инженера), и то кивал, соглашаясь, то, возра-

жая, мотал нечесаной головой. При этом под грязной белой тенниской колыхалась его жирная грудь.

— Товарищ участковый, дозволю слово сказать. Меня вчера ваши побить хотели. Я сам не надирался, я только морду свою сберечь желал.

— А мне дружинники не так докладывали, и я им больше верю, чем тебе.

— Да уж конечно, — с деланной обидой сказал Игоряшка. — Какая мне вера, раз пятно на мне. Теперь что случись, все одно мне отвечать, меня потянут. — Он захлопнул капот, бросил ведро в машину. — А я и так уж — тише воды, мышкой живу.

— Заплачь еще, — рассердился Андрей. — Я пожалею.

— Кабы сам не заплакал, — тихонько буркнул Игоряшка и завел мотор. — Некогда мне, работать пора.

Судили Игоряшку за злостное хулиганство, год ему строгого режима определили, а тогдашний участковый сказал, что он бы и больше для него не пожалел. Может, и верно. За Игоряшкой кое-что еще водилось. Шкодливым он по натуре парень был. И не ради смеха шкодил — ради зла, ради того, чтобы человеку больно сделать. Но теперь намного тише стал, не жаловались особо на него.

Петелин переоделся, сказал что-то матери, которая вышла на крыльцо и с тревогой поглядывала на участкового, похлопал себя по карманам, проверяя, не забыл ли чего, не придется ли за чем возвращаться, и, не обращая больше внимания на милиционера, будто тот и не стоял рядом, сильно хлопнул дверцей.

Вроде бы ничего необычного в его поведении не было, но показалось Андрею, что Петелин крепко не в духе либо сильно волнуется. Водитель он был неплохой, а вот сейчас поехал как-то не по-своему, не в своей манере — передачи менял рывками, со скрежетом, заворачивал резко, тормознул жестко, на ухабе скорость не сбросил.

Андрей, пока видно было машину, провожал ее взглядом, потом усмехнулся про себя и подумал: «Подозрительный вы стали, Андрей Сергеевич, всюду вам кошки черные мерещатся».

В магазин участковый взял себе за правило всякое утро заходить — тут глаз постоянно был нужен. Правда, в последнее время все меньше хлопот с этим делом получалось, потому что и сам много сил положил, и об-

шественность хорошо помогала, а главное — Евдокия, продавщица, крепко его сторону держала. Работала в этом смысле творчески: ограничивала продажу алкоголя не только по времени, но руководствовалась и другими причинами, соображениями и признаками, а прежде всего — личностью покупателя и даже его семейным положением. Спорить тут с ней было бесполезно, да и кто из своих с продавщицей спорить станет — с ней все дружить старались.

Поговаривали, однако, что неспроста Евдокия такую гражданскую активность проявляет, что сильно приглянулся ей молоденький участковый, и потому она, имея далекие на него виды, и в магазине строгий порядок завела, и даже в дружину просилась. Но это злые языки трепали. Евдокия особой красотой не отличалась, сама про то знала (носик — кнопочкой, ротик — дырочкой, глазки — крохотные — и все рядом посажено, близко-близко собрано, а вокруг много места для щек и веснушек остается) и Андрею скорее всего помогала бескорыстно — кто-кто, а уж она-то знала — что есть водка для слабого мужика да для его семьи.

Андрей вошел в магазин, поздоровался. Ему дружно, охотно ответили. В очереди были одни пожилые женщины, да спрятался за старой печкой, где рулон оберточной бумаги стоял, сплетник Паршутин. Участковый ему головой на дверь кивнул, и тот сразу вышел, спорить не стал.

— Андрей Сергеич, — прошептала ему Евдокия, когда очередь разошлась и только одна Клавдия осталась — платочек выбирала, — слышал небось, Егор-то Зайченков опять до нас вернулся? Вот с кем хлопот тебе прибудет. Вчера опять авоську бутылками набил, консервов набрал — все гуляет с приезда. Ты поглядывай за ним — скользкий мужик, от него добра ни щепотки не жди...

Егор Зайченков никогда не был путным мужиком: школу так и не кончил, на механизатора не выучился и специальность никакую себе не приобрел, работу по душе не выбрал. А все потому, что жадным был, с детства мечтал ничего не делать и большие деньги иметь. В колхозе чего только не перепробовал, за какую работу не брался, да все не по душе: которая полегче — так за нее мало платят, а где заработать хорошо можно — там руки набьешь и горб намозолишь. Стал Егор на сторону поглядывать, в город его потянуло.

Прикинул, что да как, да и сорвался. Теперь, значит, вернулся. С чем, с какими мыслями и планами? Права Евдокия, вряд ли Егор образумился...

Потом участковый к правлению пошел — машину встречать, за деньгами сегодня ездили: зарплата. Машина скоро подошла. Из нее трое вылезли — кассир да два дружинника (один из них — шофер) — этот порядок Андрей сразу завел и строго следил, чтобы он соблюдался, — дело нешуточное, многие тысячи трудной дорогой приходилось везти, тут риску никакого оправдания нет.

— Привет, — сказал Андрей. — Что-то вы долго сегодня. Очередь была? Как доехали?

— С приключениями, — покрутил головой Пашка, председателев шофер. — У Соловьиного болота дерево упало, прямо поперек дороги, будто кто его нарочно положил. Я даже сначала, как ты учил, задний ход дал и в машине остался, а Гришку вперед послал — он и возился с ним.

— Дерево само упало? — забеспокоился Андрей. — Не подрублено?

— Кто его знает? Я не глядел: как Гришка убрал его, так по газам и вперед. Спроси Гришку, сейчас он выйдет, деньги сдаст и выйдет.

— Ладно, сам съезжу, посмотрю. В каком месте-то?

Сваленное дерево Андрей быстро нашел — оно так на обочине и осталось. Лес тут к дороге близко подходил — с одной стороны взгорок поросший, с другой — болото. И дерево, хоть и небольшое было, всю дорогу, видно, перегораживало. Андрей комель осмотрел — и холодно ему стало: подрубленный. Причем в два приема: загодя, так, чтобы стояло дерево до поры, а потом его можно было бы двумя ударами положить, и свежие следы топора ясно видны были, будто только что рубили.

«Плохо дело, — подумал Андрей. — Может, и случайность: приглядел кто-то себе осинку, свалил, а тут — машина председателя... А может, и не так... В следующий раз сам с кассиром поеду — спокойней будет».

*Холмс поднял с пола громадное духовое ружье и стал рассматривать его механизм.*

*— Превосходное... оружие! — сказал он. — Стреляет бесшумно и действует с сокрушительной силой.*

*А. Конан Дойл. Записки о Шерлоке Холмсе*

*17 мая, воскресенье*

С утра маленький дождик порезвился. Хотя до этого он грозным притворялся — тучи бродили кругом, вдали гремело и сверкало, похолодало сильно, но ничего серьезного так и не случилось. Поганенький получился дождик — какой-то порывистый, неровный, будто его, как росу с деревьев, ветром с туч срывало — посыплется немного, пошуршит как взаправдашний, и снова нет его, опять свалится, и вновь — тишина. Так и не собрался, только настроение испортил да грязи поверху наделал, самой противной — скользкой, липучей.

Андрей после завтрака во дворе гирькой помахал, постучал в грушу, попрыгал со скакалкой и решил даже в тир сходить — гулять так гулять!

Вход в тир пока не переделывали, так все и осталось, как раньше было, — решетка вокруг склепа, а за ней — двери, кованые, мрачные, тяжелые. Сейчас все они — враспашку, и уже на улице слышны звонкие щелчки духовушек, смех, а то и крепкое словцо. Старики на эту затею ворчали — кладбище все-таки, пусть и давно заброшенное, но, как говорится, последний приют страждущим, да и непростое — при церкви оно. Но молодежь это мало трогало, однако надо сказать, что хотя и провели сюда электричество, — вечером, как стемнеет, народу в подвале всегда поменьше было — мальчишки в основном резвились, из самых отчаянных.

Сегодня в тире сам председатель командовал: очередь установил и пульки раздавал. Андрей сквозь мальчишек еле к нему протолкался.

— Здорово, Андрюха! — сказал Иван Макарович. — Ну-ка, огольцы, пустите милицию пострелять, пусть первый класс покажет.

Андрей выбрал фигуру «несуна» — маленького человечка с громадными лапами, в которых он тащил ящик с надписью «гвозди», — вскинул легонькое ружье и выстрелил: перед воришкой опустилась тюремная решетка, ящик с гвоздями исчез, и стало очень похоже,

что человек обескураженно разводит опустевшими руками. Кто-то засмеялся и сказал: «На Паршутина похож!»

Иван Макарович сдал свой пост кому-то из дружинников, взял Андрея под руку и повел его наверх.

— Хочу посоветоваться с тобой. Косить скоро начнем...

— А я тут при чем? — удивился Андрей.

— Дело мы одно в правлении задумали, секретное. Сейчас расскажу — надо, чтобы без свидетелей.

Они вышли из тира, прошли немного по улице и сели на лавочку под ветелкой Петрухиных — она во всем селе самой развесистой была и вроде даже общественной считалась.

Иван Макарович свои длинные ноги чуть не до дороги вытянул, закурил с удовольствием и вот что сказал:

— У нас самые лучшие травы где? Правильно — на островах. А добираемся мы до них в последнюю очередь, когда перестоят и нахохлятся, если вообще до них руки доходят, верно? Педсовет тут интересное дело предлагает: вроде как боевой десант высадить туда, из пионеров и комсомольцев. Конно-шлюпочный сеноуборочный отряд, во! — Иван Макарович когда-то служил во флоте, и с той поры осталась в его характере некоторая бесшабашность и склонность к авантюрам. Правда, в отношении сугубо хозяйственной деятельности это не проявлялось, напротив, тут он был расчетливо-скуп и по-крестьянски осторожен. Цену труду и копейке хорошо понимал.

Затея тем не менее Андрею понравилась. Если все обдумать и подготовить, большая польза могла получиться.

— Бугрову я уже поручил шалаши наладить, а всадники наши на своих лошадях и косилки потаскают, и грабли конные у нас где-то еще есть. Скажи — здорово?

Тут из тира быстрой стайкой мальчишки по своим делам пронеслись. Среди них Вовка — старый приятель и помощник Андрея. Но сейчас он его даже не заметил — так был спором увлечен. Андрей только край их разговора ухватил.

— ...А я стрелял из автомата, — горячо хвалился парнишка городского вида. — У отца, на полигоне.

— Подумаешь, — отрезал Вовка. — Если захочу — тоже постреляю.



— Палкой по забору, — презрительно уточнил городской парнишка. — Кто тебе автомат даст?

— Захочу — свой буду иметь, спорим?

— В вашем селюпо купишь?

— Знаю, где достать...

Андрей проводил их взглядом, посмеялся вместе с председателем. С этим фантазером и путешественником Вовкой не только родителям, всему селу нескучно было. Парень он был хороший, но уж больно его в дальние края тянуло, на подвиги звало: то в Сибирь, на стройки, нацелится, то на зимовку в Арктику, то восвать за какую-нибудь маленькую страну — Андрей не раз его уже с транспорта снимал, не раз с ним беседовал, но никак Вовка свой характер уговорить не мог. Во все секции и кружки записался, исправно их посещал и говорил, что путешественнику все надо уметь: и верхом проскакать, и из ружья метко бить, и машину водить — знать, упорно готовился в новые бега.

Нынешней весной Андрей его со льдины снял. Пока главный лед шел, Вовка где-то свою льдину до поры заботливо прятал и в удобный момент на широкий простор вывел. На льдине палатка стояла, прорубь была сделана, колдунчик из полосатой штанины на мачте и флажок с буквами СП (то ли Северный полюс, то ли синереченский пароход, понимай, как знаешь), словом, все как положено. Сам Вовка у входа в палатку сидел и над примусом, нахохлившись, руки грел.

Все село тем временем на крутой берег сбежалось, все молча стояли и смотрели, как Вовка мимо медленно проплывал и как, поравнявшись с ними, встал и шапкой начал махать: прощайте, мол, люди добрые, зовет меня нелегкая и опасная судьба исследователя.

Хорошо, у Степки Моховых моторка уже отлажена была. Они с Андреем ее в воду бросили и догнали «исследователя». Вовкин отец тут уж не выдержал — за вожжи схватился, и Вовка поклялся, что до шестнадцати лет из дома ни ногой. Никто, правда, этой клятвой не успокоился, да и сам Вовка в первую очередь. Не такая была натура, чтобы спокойно жить.

Вечером Андрей с Галкой на свадьбу пошли — Галкина подруга замуж вышла, а они у них свидетелями были.

Вышли задолго до нужного часа и не спеша прошли все село. Андрей его сильно любил — и людей, что здесь жили, и дома, что здесь стояли, — не бог весть

какие затейливые, да свои, родные, и колодцы, и сады — тоже непышные, но все-таки и с яблоками, и с цветами. А больше всего он любил деревенские старые ветлы. Такая у каждого дома стояла — развешистая, уютная, похожая на добрую бабушку, а под ветлой обязательно лавочка, до лакового блеска отполированная портками и юбками. Сколько важных семейных дел обговаривалось под их ласковой листвой, сколько обсуждалось новостей и принималось важных решений, каких только сплетен не рождалось и приговоров не выносилось...

Самая приметная ветла была у Петрухиных — старше всех, пожалуй, и скамейка под ней особая, кругом ствола сделана из четырех досок. Говорили старики, что под этой ветлой первые колхозные собрания проводились, говорили также, что в ее стволе пять или шесть кулацких пуль сидело...

Одну только ветелку Андрей не то что не любил, ненавидел лютой ненавистью. Стояла она за околицей, в укромном местечке, и под ней издавна повадились собираться синереченские мужики после получки. В ее дуплистом стволе всегда хранились стаканы и даже можно было небезуспешно поискать нехитрую закуску, а густая широкая крона дерева гарантировала необходимый комфорт для «душевных бесед» в любую погоду — и в жару, и в проливной дождь.

Андрей что было сил боролся с этой стихийной «точкой». Нельзя сказать, чтобы вовсе уж безуспешно. Остались ей верны немногие — Куманьков-старший, Паршутин, Гуськов и Шмага. Но это были стойкие «бойцы», из них ядро состояло, а уже вокруг него попеременно группировались те и другие.

Не было бы жаль, срубил бы Андрей вековое дерево, да понимал — не в дереве дело. Это не пожалеешь — срубишь, другое найдут. Не ходить же за ними с топором.

Галка его заботы давно уже как свои к сердцу принимала. И тут, когда к Калинкиным на свадьбу шли, сама предложила: «Заглянем, Андрюш, под ветелку?» Андрей согласился, тем более что день был воскресный и лишняя проверка не помешала бы. Правда, догадался он еще, что Галке наедине с ним немного хотелось побыть и повод она нашла самый для него удобный. Догадался и оценил. Он давно уже на Галку другими глазами глядел, все понять старался, отку-

да у этой болтливой и веселой девчонки столько такта душевного и ума женского, взрослого, твердого. Совсем другая Галка стала.

Они почти до ветелки дошли, а все еще непривычно и подозрительно тихо кругом было. Хотя, конечно, какой смысл под ветелкой мужикам собираться, если свадьба в селе — лишний стакан всегда найдется и закуской доброй не обнесут.

Андрей уже обратно хотел завернуть, и вдруг шорох какой-то послышался.

Надо сказать, что здесь еще потому удобное место было, что ветелка на чистой полянке стояла и кругом нее, кроме травы, ничего не росло, а подальше теснился густой и высокий кустарник. Так что незамеченным близко никто подойти не мог, и в то же время при тревоге легко было в кустах рассредоточиться, опасность переждать, а когда она минует, вновь под деревом сгруппироваться. Андрей все эти хитрости давно изучил и потому приложил палец к губам, сделал несколько осторожных шагов и отодвинул чуть в сторону одну ветку.

Темнеть уже начинало, но на полянке еще светло было. И вышел осторожно из кустов человек с большим свертком под мышкой, огляделся и, пока Андрей соображал, кто это и куда его несет на ночь глядя, пересек открытое место быстрым шагом и опять скрылся в кустах. Узнал в нем участковый Егора Зайченкова, недавно вернувшегося в родные края, посмотрел ему вслед, проводил глазами вспугнутую им птаху, которая уже было спокойно устроилась на ночлег, а теперь спросонок потерянно металась между деревьями и не сердито, а жалобно попискивала, отыскивая себе новый укромный уголок...

Пока Андрей с Галкой на свадьбу идут, пока Галка трещит без умолку, а Андрей, занятый неприятной мыслью, успешно делает вид, что внимательно ее слушает, расскажем, что нам известно о Егоре Зайченкове — может, и сумеем тогда понять, куда это и с чем направился он на ночь глядя.

Поначалу устроился в городе Зайченков вроде неплохо — общежитие дали, спецодежду, оклад положили и премиальные обещали. Да вот беда! — и тут

надо было «горбатиться» на дядю, а самому малая толика шла, как Егор считал. Снова забегал Егор, наконец, на стройку подался. Тут ему способнее оказалось: кому мешок цемента продаст, кому ведро краски, а то и пачку паркета — гладко пошло, в кармане зазвенело, а потом и зашуршало. Взбодрился было Егор. Но как-то вечером зашли к нему двое из бригады, и после короткого разговора с ними Егор понял, что и здесь ему «не светит».

Тем же вечером он снял с бульдозера пускач и продал какому-то судоводителю-любителю (тот давно к нему подбирался — катеришко построил, а движка нет) — на дорогу подъемные себе обеспечил. В общем, когда Егор на родину двинуть намылился, след за ним тянулся не такой уж богатый, но года на четыре строгой изоляции набралось бы. Но Зайченкова это не беспокоило, под сердцем не пекло — он уже на новую жизнь настроился, старые грехи легко позабыл.

На вокзале, когда билет выправил, пошел меж людей потолкаться — посмотреть и послушать, чтобы время убить.

И тут Егору наконец повезло как в сказке, как во сне. Какой-то дальний командированный (выпивши был, конечное дело) гужевался у буфета и бумажник сунул мимо кармана. Егор, глазом не моргнув, на бумажник словно невзначай наступил, и хоть сердце от радости за чужую беду колотилось, наклоняться сразу не стал — оглядывался, смотрел поверх голов, благо с каланчу вымахал, будто знакомцев искал, да нет никого. Потом нагнулся и стал порточину поправлять — выбилась из сапога — и вместе с ней за голенище бумажник-то и заложил. Вот и все — разбогател Егор. Не так чтобы уж очень-то, но дурная деньга, какая бы ни была, все ж таки благодать.

Правда, разбогател ненадолго. Заперся Егор в кабинке вокзального туалета, стал теревить бумажник: денжата, главное дело, есть, документ (его надо будет из поезда в окошко пустить), письмецо (это туда же после знакомства — забавные попадают). Егор в общепитии пристрастился чужие письма читать, в библиотеку — лень, да и зевота от книг ему челюсти ломала, а письма — ничего, интересно и завлекательно, особенно про любовные чувства)...

И тут снаружи кто-то дверь рванул — аж шурупы посыпались, — и парень, молодой еще, приличный, из

городских, сказал ему, руки в карманы себе засунув и сигаретой дымя:

— Покажи-ка, что взял, — и так сказал, что Егор, за многие годы не раз битый, сразу все понял и бумажник угодливо отдал.

Парень бумажник взял, деньги небрежно в карман переложил, стал документ внимательно, голову набок склонив — на лоб седая прядка упала, — изучать, остался доволен и Егору кивнул:

— Пойдем, дурацкий твой фарт отметим, проголодался я в чужой стороне.

— На мой-то деньги? — осмелился уточнить Егор.

— Ты, лягушка сырая! Какие деньги? Это деньги?

Егор мигнул двумя глазами и, как пристегнутый, за парнем в ресторан потопал, в затылок ему глядя.

Сели хорошо, у окошка, под пальмой. И официант быстро прибежал, книжечку принес. Егор поначалу смущался — сроду в ресторанах не гостил, а парень командовал как дома, и официанту, немолодому уже, пожившему и повидавшему на своей работе, это, судя по всему, нравилось: стол так заставил — окурочек некуда ткнуть.

Парень водку сам открыл и разлил самостоятельно. Пальцы его, хоть и дрожали чуть-чуть, из чего Егор заключил, что незнакомец — парень бывалый, с вином давно воюет, действовали коротко и точно, будто в бутылке мерка была: бульк — рюмка до края точь-в-точь, бульк — и другая полна. По второй уже недрогнувшей рукой разлил и спросил:

— Звать-то небось Егором? Или Георгием? Жорой буду звать, понял?

Егор кивнул, глотая.

— А тебя?

Парень промокнул губы салфеткой, потрогал ее легонько пальцами, достал из бумажника паспорт, заглянул:

— Алексеем зови, можешь Ленькой, понял?

— Как не понять? — усмехнулся робко Егор-Жора.

Новонареченный Алексей держался легко, видать по всему — проходной личностью был. Егор-то ножики и солонки тронуть боялся, тем более что и ножей, и вилоч по паре положили и за какие надо братья, не догадаешься.

— Без гувернера воспитывался? — усмехнулся парень. — Крайние бери, не ошибешься.

Сам он на загляденье играл приборами, ел быстро, но не жадно — аккуратно и красиво. Только пил до жути много. Но не пьянел. Курил лишь все чаще и больше скалился. И рука у него уже вовсе не дрожала — точной была и ловкой.

— Куда собрался, Жора?

Егор ответил.

— Это где же будет такое место и чем привлекательно?

Егор рассказал.

— Сколько туда езды? Понятно. Возьмешь и мне билет туда же — отдохнуть мечтаю. Мне на время приют и ласка нужны. Хочу тебе довериться, не подведешь? — И опять тот же взгляд: если бить, то как — надолго или насовсем?

Заказал кофе, попросил минеральной воды, снова закурил.

— Гляди. клиент твой ходит.

Они долго хихикали, глядя, как командированный, протрезвев, растерянно что-то выспрашивал у официанта, а потом вышел из ресторана с милиционером.

— Не жалей его, Жора. Таких учить надо. Ну пошли.

Когда проходили через зал ожидания, шепнул:

— Видишь мужика с корзиной и чемоданом? Перед звонком чемодан возьмешь и принесешь к моему вагону, понял? Перед самым звонком.

Егор покивал усердно, будто всю жизнь только тем и занимался, что крал чемоданы на вокзалах. Впрочем, он для этого давно был готов. Переступить последнюю черту только трусость держала. А с этим парнем не страшно воровать — все гладко сойдет. Страшно его ослушаться.

Егор сделал все как надо: и билет взял, и чемодан принес.

В Дубровниках они снова встретились на платформе. Парень был уже переодет и с двумя другими чемоданами. В скверике он их посмотрел, в один сложил нужное, а другой швырнул в кузов грузовика, что стоял неподалеку, за низким штакетником.

— Ну так где же коляска, которая доставит нас на ранчо «Долина синих рек»? Проспал твой управляющий, Жора? Ты попеняй ему. Скажи — так дорогого гостя не встречают, он не привык, чтобы им манкировали — может обидеться.

Андрей на свадьбу в штатском костюме пошел, чтобы гостей не смущать, и сперва непривычно себя чувствовал, настолько уже с формой и должностью своей сжился. Даже вначале про себя все машинально отмечал: дядя Федор слишком большими стаканами пьет, Василию вроде бы уже хватит — остановить его пора, приятели жениха что-то уж подозрительно перешептываются и поглядывают на приглашенных из Козелихина парней.

Потом это прошло, Андрей почувствовал себя таким же гостем, как и все, и они с Галкой даже сплясали так, что им хлопали громче, чем молодым, которые вместо того, чтобы покружиться в положенном традиционном вальсе, попрыгали друг против друга на современный козлиный манер, и молодая жена даже сломала каблук.

Глухой дед Пидя, муж Евменовны, почему-то сказал, что это к счастью, и трахнул об край стола новую тарелку. Похоже, дед вообще в дыме и коромысле веселого застолья совсем запутался и не понимал, по какому поводу оно собралось. Когда дошла до него очередь поздравить молодых, он понес такую околесицу, что просторная изба подпрыгнула от дружно грохнувшего хохота.

Вроде бы все поначалу перепутал дед Пидя — так всем показалось, решил, что это на их с Евменовной свадьбе гуляют, и стал благодарить народ за поздравление. И тут смеяться перестали, а устыдились — ведь верно, пятьдесят лет старики вместе прожили. А дед, который под шумок еще одну рюмочку «портвейного вина» хлопнул, совсем разошелся и осмелел, пожелал молодым столько же лет в любви и верности прожить и напомнил про давнюю местную традицию, когда невеста накануне свадьбы купалась в обильных синереченских росах.

Молодые на своей свадьбе вообще не чинились, вели себя по-новому: сидели за столом в обнимку, целовались под «горько!» без смущения и с явным удовольствием и веселились от души и больше всех. И первыми начали в адрес своих свидетелей разные шуточки с намеками пускать. И шуточки эти остальные гости с охотой подхватывали.

Оно и верно — на селе от соседей ничего не утаишь, как ни старайся. Да, собственно, Галка и не старалась, не скрывала, что любит Андрея и хочет за него пойти.

С год, наверное, назад он в шутку на ее слова: «Возьми меня в жены, Андрюша, не пожалеешь» — ответил: «Не доросла еще!» И с тех пор Галка дни считала до своего восемнадцатилетия. Совсем уж немного ей ждать осталось.

Что до Андрея, то он этот год о женитьбе вначале не помышлял. Как должность получил, столько забот свалилось, дохнуть некогда, не то что жениться. А вот в последнее время, особенно когда домой возвращался, одиноким себя чувствовал. Да и то сказать — весь день на людях, а вечером один, в пустом доме. Поневоле загрустишь. Родители-то, как сорвались дочку выручать — она в районе замуж после учебы вышла и двух девчонок одним разом родила, — так и застряли у нее, уже второй год пошел.

Но главное не в этом. Сказать правду — сильно стала ему Галка нравиться. За ее беззаботным и легким, на взгляд, характером видел Андрей безграничную верность и житейскую отвагу. Такие женщины есть еще на Руси (да и не будет им перевода): в счастье поет, а если беда, смеется и приговаривает: «Не было бы большей, эта не беда еще». За такой женой спокойно, тылы надежные, можно дальше воевать. Да и красавица настоящая к тому же. Редко кто не заглянется в ее блестящие глаза и ямочки в уголках губ, будто все время готовых смеяться.

Застолье между тем шумело своим чередом. Тимофей Елкин, который тоже на свадьбу поспел, лучше всех держался. Были, конечно, охотники с толку его сбить: и красного наливали, и белого подносили, но Тимофей без заметного сожаления отвергал соблазны и только приговаривал: «Кому, конечно, нравится поп, кому — попадья, ну а мне лично — молодая поповская дочка», — и с демонстративным удовольствием пил большими стаканами сидро. А когда Паршутин (его на свадьбу не позвали, и он все в окошко заглядывал) закричал ему: «Пей, дурак! Что ж ты свадьбу людям портишь?» — Тимофей, не оборачиваясь, плеснул в него наугад из кружки, полной хорошего кваса. Паршутин сгинул и больше не показывался.

Наконец, от столов отвалившись, перебрались в свободную горницу, которую хозяева от мебели освободили и для танцев приспособили.

Плясали всяко — все мастера были. А потом, когда подустали малость да утомонились, дружно взялись за



песни. Ну и пели! Так звонко, так дружно и в лад, что иной и слезу удержать не мог.

Андрей и Галка задержались после гостей, убраться помогли, посуду на кухню снесли.

— Женись, Андрюша, — сказала Евменовна, разбирая для мытья тарелки. — Женись скорей, покуда я жива еще — я и на твоей свадьбе спою!

— Не надо! — испугался Андрей. — Не пой!

— Женись, — поддразнила и Галка, когда молодые стали подарками хвалиться. — Видишь, как хорошо!

Потом вышли на крыльцо, посмотрели в звездное небо. Вздуродженное свадьбой село затихало понемногу. Кой-где еще звякнет ведро, калитка стукнет, собака взбrehнет, а уж тишина подкралась, все вокруг собой залила. И сколько вдаль было видно, уже синим сонным туманом подернулось.

Галка поежилась, прижалась к Андрею плечом и зевнула — сладко, искренне, по-детски.

Спокойная была ночь, тихая. Как перед бурей.

*— Не бог весть что, но все же любопытно... Кое-какие данные здесь безусловно есть, и они послужат нам основой для некоторых умозаключений.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*18 мая, понедельник*

Приемные часы Андрей на вечер установил, чтобы люди от дела не отвлекались. Но так только у него на дверях было написано, а фактически прием участковый круглосуточно вел. Даже, бывало, по самым обычным вопросам по ночам стучались — каждый справедливо свое дело самым важным считал и не всегда своей очереди дожидаться мог.

По понедельникам же народ к нему больше обычного шел: и в положенное, и в любое другое время. Это понятно — выходные позади, было время что-то обдумать и решить, поскандалить и посоветоваться, кто-то жену спьяну обидел, кому-то теща слово поперек сказала, у кого-то накипело, наболело, набродило и терпение лопнуло, а в понедельник участковому заявление на стол: разбирайся, власть, принимай меры.

Вот и сегодняшний день так начался. Не успел Андрей на ферму съездить, проверить, как там по его указанию противопожарное состояние объекта улучшают, не успел фуражку повесить и за стол сесть, без стука ввалился Дачник — так его все на селе звали. Был он то ли военный в отставке, то ли просто пенсионер, крепко осевший в селе — купил старый дом у Овечкиных, перебрал его и развел мощное хозяйство, не чета местным. Урожай согревал под пленкой и потому брал их ранние и отменные, цветами тоже вовсю промышлял, на рынке не то что свой — главный человек стал.

Дачник пошарил сзади себя за дверью и швырнул в комнату, как нашкодившего котенка, Марусиново Вовку. Тот вылетел прямо к столу, едва не упал, но не заплакал, только глазами сердито сверкнул.

— Ворюга! — сказал ему вслед Дачник, обошел брезгливо и с тяжелой злостью плюхнулся на стул.

— Что у вас произошло?

— На месте преступления застал! Пошел за водой, вернулся, а в сарайчике, слышу, шебаршит что-то. Я осторожность проявил — мало ли кто там шарит, — дверцу снаружи колом подпер и к окошку, гляжу, а они, голубчики, пол уже разбирают топором...

— Дальше что было?

— Я на них, они мимо меня в дверь и по грядкам к забору. Этот вот, главный ворюга, запнулся, я его и взял, повязать хотел, да он говорит — сам пойду. Вы как хотите, а я ихним родителям иск вчиню: и за пол, и за потоптанные грядки, и за нарушение неприкосновенности жилища.

И предупреждаю: если вы, как обычно, проявите свойственные вам мягкость и либерализм, я не пожалею времени — буду соответственно информировать ваше прямое начальство и соответствующие инстанции! — Он хлопнул тяжелой ладонью по столу и вышел.

Андрей молча проводил его взглядом и посмотрел на Вовку.

— Дядя Андрей, мы ничего красть не собирались — врет он все! Мы там одну вещь искали. Но она не его. Ничья.

— Клад, что ли? — усмехнулся Андрей.

— Вроде, — уклонился Вовка. — Не спрашивай, дядя Андрей, все равно не скажу. Эта тайна не моя, и я не предатель.

— Вовка, да разве можно в чужом доме клады искать? Соображаешь?

— Соображаю. Мы ему грядки поправим. И пол заколотим, всего-то одну доску и успели поднять.

— И извинишься как следует, да?

— Ладно, постараюсь.

— Что-то ты больно легко согласился, — сказал участковый. — Мне это подозрительно. Смотри, Владимир, не подведи меня.

Вовка покивал головой и исчез.

Дверь за ним не успела закрыться, супруги Кошелкины пришли — разводиться наконец решили. Они давно уже не ладили, то сходились с песнями, то расходились с руганью и слезами, а в чем дело, никто понять не мог. Да, они и сами, видно, не знали.

— Вы, милые граждане, совсем уж одурели, — сказал им участковый. — Они ему соседями были, сам Кошелкин не раз у Андрея ночевал после семейных объяснений, и он мог с ними так разговаривать. — По таким делам в милицию не ходят, подавайте заявление в загс, в сельсовет или в суд, если надо.

Супруги — молодые еще, высокие и сильные — переглянулись, потоптались.

— Ты хоть рассуди нас, посоветуй, — попросила Зинаида. — Невозможно так дальше жить. Что ни день, то ругань.

— Точно, — подтвердил Кошелкин. — Лаемся как собаки, а из-за чего, не спрашивай. Сами не знаем. С жиру ты, Зинка, бесишься, счастья своего не понимаешь: не пью, не гуляю, зарплату — вовремя и до копейки, по дому тебе помогаю...

— Помогает он! — завизжала Зинаида. — Лучше бы не помогал! Андрюш, он мне даже посуду моет, правда. Только в кухне перед тем занавеску задерживает, чтоб соседи его за этим бабьим делом не видали. Мне от такой помощи плакать хочется!

— А как же! Буду я на все село позору набирать!..

И пошло дальше, как обычно, под крутую горку. Андрей еле разнял их, сказал, что нашел нужным сказать, а Кошелкину уже в спину добавил:

— Ты, если жену любишь, не стыдись этого перед людьми. Позору тут нет, и любви исподтишка не бывает...

Потом Зайченкова явилась и тоже кричать начала: — Свалился на мою голову, черт незванный! Отдохнуть от него не успела! Только хозяйство в порядок привела, а он — нате! — явился. Трех курей уже пропил, телогрейку новую где-то задевал и отцовы сапоги загнал. Сажай его, участковый, поскорее, до большой беды!

Паршутин пришел с бумажкой, в разорванной по вороту рубаше.

— Вот, гражданин участковый, прими по всей форме заявление потерпевшего от хулиганских действий бывшего алкоголика Тимофея Петровича Елкина.

Андрей заявление взял (сердце упало — неужели сорвался Тимофей), прочитал, посмотрел на Паршутину и возмутился:

— Ты зачем к нему пошел? Он звал тебя?

— Принципиально хотел высказать личное мнение об его двухличном поведении, выразить словесный протест против его публичного оскорбления.

— И сильно он тебя оскорбил?

— При народе пьяницей и треплом обозвал. И когда я ему протест высказал, он меня форменно за рубашку стащил с крыльца и нанес таким образом трамву, а также материальный и моральный ущерб.

Паршутин встал, повернулся и показал свою «трамву» — след сзади на штанах от сапога, — а потом оттянул ворот порванной рубашки.

— Прошу принять меры и достойно наказать хулигана Елкина (кличка Дружок) за оскорбление моей личности.

Каждая грязная морщинка на лице Паршутина словно светилась, мутные маленькие глазки плавали в довольстве как в масле.

— Вот что, личность... — Андрей перевел дыхание. — Если ты еще раз сунешься к Елкину, я тебя направлю на две недели вагоны разгружать. Все! Кругом! Шагом марш!

— Вот как? — удивился Паршутин. — Вот, значит, как? Ну, погоди, участковый, погоди! Плохо ты меня знаешь, чтоб я не отомстил...

Андрей встал — Паршутин выскочил за дверь.

Участковый уж было вздохнул, но тут забарабанили в окно, и Паршутин, расплющив о стекло нос, прокри-

чал: «Нянькайся с ним, нянькайся, он тебе за добро и заботу найдет чем отплатить!»

Вредный по-глупому Паршутин все старался Тимофея разозлить, до гнева довести и морду свою немытую под его кулак подставить, а потом шум поднять, жалобу устроить. Андрей, чтобы этого не случилось — последствия-то могли весьма чреватými для Тимофея оказаться, — особо его предупредил, чтобы не соблазнился Паршутина проучить. Елкин его успокоил:

— Не бойсь, Сергеич, пусть себе лаает, верблюд все равно идет и ноль внимания на него оказывает. Это он от зависти все.

Но Андрей все-таки тревожился (он Паршутина хорошо знал) и потому так грубо с ним обошелся. Нехорошо, конечно, но надо.

За всеми этими и другими обычными делами незаметно день прошел.

Андрей посмотрел на часы — пора в клуб: сегодня танцы — школьный оркестр, наверняка со всех деревень молодежь соберется. За своих-то он был спокоен, а вот козелихинские парни на танцы как в бой ходили. А все потому, что своих девчонок мало, да и чужие всегда лучше кажутся. Надо приглядеть...

На сцене серьезные музыканты еще свои инструменты расставляли, уборщица мокрым веником полы брызгала, а уж по стеночкам самые нетерпеливые топтались — девчонки завитые и подкрашенные, парни приодетые, с влажными волосами.

Андрей прошел в игровые комнаты, посмотрел на окаменевших шахматистов, послушал, как стучат шары в бильярдной и прыгает над зеленым столом белый теннисный мячик, предупредил Куманькова-старшего, чтобы убрал карты, которые тот уже ловко раскидывал на широкой скамейке.

В спортивном зале дельтапланеристы свои крылья разложили, что-то с ними ладили и чему-то смеялись. Посторонних здесь не было — не пускали, только в углу пыхтел над штангой Василий Кочкин.

В зале грохнуло, завизжало, затопало — танцы понеслись. Андрей зашел еще в курилку — глянуть, не звенят ли там стаканы, а уж потом вернулся в зал. Наметанным взглядом окинул бушующую толпу. Сразу и не поймешь, что творится, кто с кем и как танцует.

К нему подошли дружинники, доложили, кого при-

шлось вывести и домой проводить, кто в опорном пункте объясняется с командиром Богатыревым и за кем надо присмотреть.

Андрей вышел на улицу, постоял на крыльце. Народ все еще шел в клуб, и все с ним здоровались, многие издали уже руку тянули.

*— Джон Клей убийца, вор, взломщик и мошенник, — сказал Джонс. — Он еще молод... но это искуснейший вор в стране: ни на кого другого я не надел бы наручников с такой охотой, как на него.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*19 мая, вторник*

Андрей, можно сказать, еще не ложился, а его уже поднял многодетный Петрухин, про которого на селе шутили, что у него детей больше, чем зубов. Это в самом деле было так: зубов у него осталось всего два, и то в глубине, не видно, а детей было — шестеро девочек.

— Андрюша, выручай, — чуть не плакал он. — Младшенькая сильно заболела, а Федя говорит, что сам помочь не может — надо в район везти, да не на чем. Ихняя машина Дашку Парменову рожать повезла. Когда она вернется? Выручай, Андрюша! Век не забуду твоего добра, — лихорадочно говорил он, пока Андрей быстро собирался и закрывал дом. — Уж такая она славная девочка получилась, такая славненькая — вся в меня, и зубов даже столько же...

— А пить бросишь? — спросил Андрей, заводя мотоцикл, чтобы как-то его успокоить.

— Курить брошу — только подмогни. В дружину запишусь, молиться стану.

Пока заехали за девочкой, пока мать собирала ее и давала наказы Петрухину, далеко за полночь перешло. В район приехали — уже светало.

— Ты иди, — сказал Андрей, — а я тебя подожду.

Вернулся Петрухин не скоро, часа через два — Андрей даже подремать сумел.

— Ну что? — спросил он, выбираясь из коляски.

— Порядок! Говорят, езжай, отец, домой смело, нет теперь опасности. Спасибо тебе, участковый.

— Ладно, теперь ты меня жди, надо в райотдел заскочить. А уж потом — домой.

— Привет, Ратников, садись. Как ты? — Следователь Платонов отложил дело, которое смотрел, и взял другую папку, вынул из нее листок. — В дежурке был? Нет еще? Тогда смотри, знакомься. Хотя тебя это вряд ли коснется, но все-таки... Ты что? — Платонов едва успел подхватить в горсть прыгнувшие из стакана карандаши — так Андрей в досаде трахнул по столу.

— Коснулось уже. — Андрей лихорадочно просматривал ориентировку. — Она у вас что, за шкафом валялась?

— Сам виноват, — обиделся Платонов. — У нас ты гость редкий, и на месте тебя не застанешь, впрочем, маленечко и наш грех есть. А что?

Андрей ответил не сразу, не мог оторваться от нескольких строк: «...среднего телосложения... пальцы тонкие, беспокойные, слегка дрожат... волосы темные, спереди в волосах заметна ровная седая прядь...»

— Это он был. Федорин. Я рапорт составлял.

Андрей коротко рассказал о случае на переезде.

— Ах ты черт! — вырвалось у Платонова. Он схватил телефонную трубку. — Алеша? Платонов говорит. Посмотри, у тебя рапорт должен быть синереченского участкового, — посмотрел на Андрея. — Когда? От тринадцатого числа... Жду, жду... Читай... Понятно, спасибо.

— Дай-ка мне сводки за последние две недели, — попросил Андрей. — И карты областей — смежной и нашей.

Андрей разложил карты, наклонился над столом, сделал выписки.

— Вот смотри: побег — первого числа; кража в продовольственном ларьке в Бирюкове, со взломом, — второго; в Сабуровке на вокзале кража чемодана с носильными вещами — четвертого...

— Шестого, — перебил Платонов, — заявление гражданина Федорина об утере документов, в том числе паспорта.

— ...Это уже у нас, в Званске. Там же, в тот же день кража чемодана на вокзале, кража двух чемоданов в поезде. Тринадцатого — встреча на переезде. Вот его дорожка.

— Точно, — сказал Платонов. — Во времени и в пространстве. И прямо в наш дом. Молодец, Ратников!

— Смеешься?

— Какой смех! Пойдем начальству докладывать.

— Так, Ратников, — сказал следователь Платонов, когда они вернулись. — Посмотрим, что за фигура такая — Антон Агарышев, в настоящее время — гражданин Федорин... Год рождения... Молодой совсем, твой ровесник. Судимости... Статья такая-то, такая и такая. И еще две... Набрал — ничего не скажешь. Больше, чем у тебя благодарностей. Признан по решению такого-то суда особо опасным рецидивистом. Патологически жесток, в местах лишения свободы терроризировал заключенных, ставших на путь исправления. Отец — бывший ответственный работник торговли. Осужден, отбывает наказание. Статья... Так, образование гражданина Агарышева — чуть выше среднего. Это ясно — как папашу посадили, сынок за систематическую неупеваемость из института вылетел — заступиться-то некому. Трудового стажа практически нет. Вместо него — другой стаж, очень солидный для его возраста. Ты знаешь, как он побег совершил? С оружием в руках! Он в колонии ухитрился пистолет изготовить — из аптечной резинки, алюминиевой ложки, гвоздя и стержня от авторучки. Кто-то ему патрон от мелкашки подарил. И этим единственным патроном из своего фантастического пистолета он тяжело ранил охранника. Попытался забрать его автомат — не удалось. Тогда он без автомата ушел и уже почти двадцать дней на свободе. Где он может быть? И чего нам от него ждать?

— Чего угодно, — вздохнул Андрей. — Такие на все способны. Тем более что отвечать ему все равно по высшей отметке придется. Как же я его упустил!..

— Ты и поймать должен, — по-доброму улыбнулся Платонов, хорошо понимая, как сильно казнится молодой участковый, и желая шуткой поддержать его. — Только вот где он сейчас? Ты у себя ничего... такого не замечал?

— Особенного ничего, — пожал Андрей плечами. — Все как обычно, одни и те же проблемы.

— А не особенного?

— Телогрейка у одного мужика пропала.

— Ну?

— И сапоги.

— Так...



— И топор.

— Все?

— Дерево на дорогу упало...

— Кот взобрался на чердак, — в тон ему протянул Платонов.

— ...Дерево упало перед машиной, где деньги везли. Зарплату.

Платонов привстал:

— Само, что ли, упало?

— Подрублено.

— Здорово.

— А что — здорово? Я сам сначала напугался, бог знает что подумал. А если все проще? Облюбовал му-  
жичок осинку, повалил, а тут председатель едет.

— Так пришел бы потом и забрал.

— Приходил, забрал; кто, не знаю. Исчезло дерево.

— Ратников, ты сейчас должен как отделение милиции работать. Как Шерлок Холмс!

— У меня и доктор Ватсон свой есть, — улыбнулся Андрей. — Богатырев, командир дружины. Он уже в газету очерк послал о том, как я похитителя собственного кабанчика нашел.

— Ты не смейся, — тоже улыбнулся Платонов. — Мне, например, эта личность — Шерлок Холмс — крайне симпатична. И знаешь чем? Универсализмом. Целый правовой институт в одном человеке — и следовательно, и розыскной работник, а эксперт какой многосторонний: и баллист, и трассолог, токсиколог, в серологии прекрасно для того времени разбирался. Иногда сам приговор выносил и сам его приводил в исполнение.

— Ты научишь! — засмеялся Андрей.

— Нет, серьезно, у нас сейчас узкая специализация — это необходимо, а в идеале мы должны бы все смежное знать как свое собственное. А уж для участкового это главный хлеб.

— Я знаю...

— И вообще, по дружбе тебе скажу: смелее работай, побольше творчества, импровизации. Я бы даже сказал — предвидения. Самое лучшее, когда ты на месте преступления оказываешься раньше, чем оно совершается. Ведь если мы будем работать только по схеме: «совершил — поймали — доказали — наказали», нам век с преступностью бороться. И без никакого результата.

— Знаю. Главное — не наказать, а чтобы наказывать не за что было.

«Данных о том, что беглый Агарышев может скрываться на моем участке, — размышлял Андрей, — вроде нет, но и полностью исключать такую возможность нельзя. А если все-таки предположить?.. Тогда ему надо иметь где-то убежище. У кого-нибудь в доме, в сарае? Нереально. Сразу бы заметили, и слухи бы пошли. Пока же ни слухов, ни фактов на этот счет нет. Значит, не в селе. В лесу? Тоже маловероятно. Наверняка на него уже бы натолкнулись.

В любом случае Агарышев должен быть непременно связан с кем-нибудь из местных, кто бы взял на себя заботу о нем, хотя бы о его пропитании. Кто?»

Андрей перебирал в уме самых ненадежных своих односельчан, искал возможного помощника Агарышева, пока не остановился на Генке Шпингалете.

Кличку свою дурацкую Генка издавела привез. Видно, как окрестили его там, за проволокой, так она и здесь каким-то чудом проявилась. Был он собой мелкий, но жилистый и на вид — шпана шпаной: срисовал с кого-то себе облик, а может, в кино подсмотрел: липкая челочка до глаз, сапоги гармошкой, кепочка в обтяжку и зуб золотой. А главное, чуть не по нем — визжал, матерился и за нож хватался, который заправски в сапоге носил.

С участковым-то они старые и непримиримые враги были. Это ведь Андрей (он только что из армии пришел) Генку тогда задержал и в милицию доставил. И в суде свидетелем выступал.

Освободили Генку сравнительно недавно, но отбытое наказание, судя по всему, ничуть ему ума не прибавило: так все и ходил по краешку, пока в конце прошлого лета опять под следствием не оказался.

Дело так получилось. Подкараулила как-то участкового старая Евменовна, дома его ухитрилась застать:

— Андрюша, а ведь я заявление тебе несу. Для принятия мер. К лешему, охотничьему егерю, ходила — не берет, ругается, ногами топает. Ты б, говорит, не шлялась по лесам, а на печке б сидела. А если у меня характер беспокойный, если...

— Я твой характер знаю, — улыбнулся, перебивая, Андрей. — Говори, пожалуйста, о деле.

Евменовна осторожно, как на гвоздики, присела на стул, перебрала, уложила складочки юбки, перевязала платочек.

Смолоду она была красавица редкая — не зря ее

тогда Афродитой землемер прозвал. И если случается, что и на склоне лет остается что-то в человеке от бывлой красоты — стать ли, упругая ли поступь, а то и свежий голос и ясная мудрость во взгляде, то Евменовна к старости все потеряла, живая Баба Яга стала: нос крючком, подбородок тянется к нему волосатой бородавкой, щеки ввалились, да и голос обрела другой — противный, как у пантюхинской козы. Даже в характере черты преобразились, будто и душа старела вместе с телом: была бойкая на язык — стала сварливая, девичью живость поменяла на суетливую пронырливость, вместо общительности стала надоедливой и суетливой. Никто и не заметил, как веселая фантазерка и безобидная болтушка превратилась в ярую сплетницу и выдумщицу, как сменила природный ум на упорную хитрость. И это бы еще ничего, но, смолоду привыкнув быть на виду, до сей поры любила Евменовна, чтобы о ней поговорили, вечно изобретала себе приключения, лишь бы внимание привлечь. Андрею доставало с ней хлопот. И сейчас он то-скливо ждал длинного вздорного рассказа.

— Помнишь, Андрюша, как ты мне быстро корову разыскал, — польстила для начала бабка, — теперь снова выручай, беда пришла: от мишки избавь — чуть в лес не утащил.

— Какой Мишка? — не сразу понял Андрей. — Курьянов, что ли? Нужна ты ему, как же!

Евменовна законфузилась, игриво отмахнулась конопатой лапой, собрала сухие губы в ладонь:

— Андрюша, не смейся над старой — грех ведь. Какой Курьянов? Он уж до завалинки доползти не сумеет. То медведь за мной ходит. Вчера всю дорогу из Оглядкина следом перся, паразит, и мычал как корова недоеная, — зашептала, приблизившись. — Знаешь, в народе говорят, если медведь вдовый, так он еще с лета бабенку себе присматривает, чтобы в берлоге теплее зиму коротать. А как бабенки нынче все крашенные, в пудре-помаде да духами обрызганные, так он ими брезгает, а я, видать, ему в аккурат прищлась. Да и немолодой уже, верно, в годах — морда и загривок седые, по себе, значит, подбирает, охальник.

«Совсем спятила», — сердито подумал Андрей, отодвигаясь.

— А чего тебя в Оглядкино занесло?

— Ну а как же? Бабы говорят, туристы там остановились, в Хмуром бору, так поговорить с ними хоте-

ла... пообщаться, — с удовольствием выговорила бабка новое слово, — новости узнать, рассказать чего.

— Правильно леший тебе посоветовал — на печке сиди, а по лесам не шляйся!

— Помоги, Андрюша, не дай бог, припрется ночью, утащит в лес — совсем ведь пропаду. Какая ему из меня сожительница!

Еще до армии — Андрей помнил — побрызгали Синереченские леса с самолета, чтоб извести какого-то вредного жучка, да так крепко побрызгали — не то что ежика, комара в лесу не осталось. В последние годы ожил старый лес, помолодел, зазвенел птицами, боровая дичь откуда-то взялась, лоси осмелели, волк за ними с севера потянулся. Вот и медведь объявился. Если, конечно, не врет Евменовна, горадая придумывать что-то уж вовсе несуразное.

— Сходи, Андрей Сергеич, — ныла бабка, — и туристов погляди — вроде уважительные ребята, чайком с конфеткой меня напоили, да уж больно костры шибкие жгут и водки в кустах цельный мешок прячут. Да и маты такие загибают — деревья дрожат. Вот пойдешь поглядеть — и медведя застрели, ладно?

— Нельзя его стрелять, — теряя терпение, отрезал Андрей и встал. — Он на весь край небось один. На развод оставим. И ты от него не бегай, не бойся — не польстится он на такое сокровище.

— Смейся, смейся, внучок, — со злостью зашамкала Баба Яга, — кабы не заплакать тебе, злорадному! — и хлопнула дверью.

В лес Андрей все-таки пошел: туристов посмотреть следовало. Нашел он их легко, поздоровался, осмотрелся. Ни «шибкого» костра, ни водочных бутылок не обнаружил. Ребята оказались аккуратные, из настоящих путешественников. Стоянку держали в порядке: палатки туго натянуты, костерок обложен камнями — не поленились с речки натаскать, топоры торчали в старом пеньке, а не в живом дереве, как иногда бывает, даже ямка для мусора отрыта и прикрыта от мух лапником.

Медведя они, оказывается, тоже видели — приходил под утро, чисто вылизал немытую с вечера посуду, погромел пустыми банками в помойке и ушел, «ничего не сказав».

Ребята предложили Андрею дожидаться ухи — вот-вот должны были вернуться рыболовы, но он отказался — некогда...

Хмурый бор только зимой был хмурым, а вообще-то, в Синеречье не сыскать места приветливее и солнечнее. Андрей давно уже не бывал здесь, и радостно ему дышалось, весело было хрустеть валежником, поддавать носком сапога крепкие шишки, снимать ладонью с влажного лица невесомую упрямую паутинку. Он, не удержавшись, срезал зачем-то два крепких грибочка, понюхал, улыбаясь, и наколот их на сухую ветку, высыпал в рот горсть горячей земляники. У большой, туго натянутой между землей и небом сосны Андрей остановился, прислонился к звенящему стволу, чувствуя, как он дрожит, шевелится, толкает в плечо, запрокинул голову. Над ним, высоко-высоко, размашисто качались далекие кроны, гнали по синему небу белые, пронизанные солнцем облака, толстым сердитым шмелем гудел в ветвях упругий ветер.

И вдруг в этом прекрасном разумном мире раздалась два резких, почти слившихся выстрела. «Дуплет. Пулями. Кто?» — мелькнуло в голове Андрея, уже быстро шагавшего на еще разбегающийся, мечущийся по лесу грохот. Он шел бесшумно, не раздвигая ветви, а скользя между ними, чтобы не шуршала листва по одежде, ставил ноги легко, чтобы не трещали под сапогами сухие сучки.

На краю небольшой, зарастающей молодняком вырубki Андрей остановился, осмотрелся — увидел недалеко задержанное густой листвой жиденькое, прозрачное облачко дыма, и ему показалось, что в воздухе еще стоит нерастаявший, тревожный запах пороха. Какой-то человек, стоя на коленях, возился с чем-то большим, темным, что-то быстро делал с ним.

Андрей терпеливо дождался порыва ветра, тихо подошел сзади, сжал зубы, непроизвольно закачал головой. Медведь лежал на спине, раскинув лапы, как убитый человек, запрокинув большую голову с открытыми, будто еще видящими глазами. Земля вокруг него была изрыта когтями, забросана клочьями выдранный травы. В воздухе густо стоял тяжелый дух сырого горячего мяса, жадно жужжа, кружились большие зеленые мухи.

Генка Шпингалет, мотая головой, сдувая с лица комаров, сноровисто, воровато свеживал тушу. Левая рука его, голая по локоть, в ошметках красного мяса, в клочьях мокрой шерсти, задирала, оттягивала взрезанный край шкуры; в правой, окровавленной, безошибочно, точно сверкал тусклым лезвием длинный нож.

— Здорово, браконьер, — негромко сказал Андрей. — С полем тебя.

Тот вздрогнул, выронил нож, мокрая красная лапа метнулась было к ружью, но Андрей успел отбросить его носком сапога.

Генка был в растерянности недолго, нахальства ему не занимать.

— Он сам на меня бросился. Необходимая оборона была, — ухмыльнулся он.

— И ты на этот случай в лес с ружьем пошел, а в стволы «жаканы» забил, — добавил Андрей.

— Ага, он мне давно грозил. Ладно, шеф, давай по совести: мясо пополам, а шкура вся тебе. Галке на свадьбу подарок сделаешь. — Генка поглубже натянул кепочку и снова нагнулся над тушей. — И разойдемся друзьями.

— Что ты, как можно мне с таким человеком дружить? — усмехнулся Андрей. — Загоржусь тогда совсем.

Генка поднял голову, посмотрел кругом, потом снова в глаза милиционеру.

— Жить не хочешь? Мы одни здесь...

— Что? — так спокойно и вежливо, будто действительно не понимал, переспросил Андрей, что Генка сразу понял — не напугать ему участкового, не уговорить его и не совладать с ним.

— Ладно. — Он скрипнул зубами и грязно выругался. — Сейчас твоя сила, но я своего часа дождусь, за оба раза посчитаюсь. Ты жди, оглядывайся!...

После суда (Генку оштрафовали сильно и ружье конфисковали) он при всех сказал и не раз потом повторял, что околоточному (так он Андрея за спиной называл) все равно «пасть порвет». Андрею эти слова передали, и он хотя особенно об этом не думал — других забот хватало, но все-таки понимал: злопамятный, истеричный Генка долго ждать не будет и, как удобный случай выпадет, может на крайность пойти...

Вполне возможно, что с Агарышевым он уже давно знаком был. Надо бы уточнить, где отбывал наказание Генка и не имелось ли у них контактов раньше.

В селе Андрей обогнал телегу, в которую были сложены разобранные разноцветные крылья и мотоциклетные шлемы и которую сопровождал конный эскорт во главе с физкультурником. Андрей остановился на обочине, и к нему подбежала веселая орава.

— Андрей Сергенч, а мы уже тренироваться сегодня

начали! У Лешки Куманькова лучше всех получается, а Челюканов боится! Тридцать первого, в воскресенье, летать будем, приходите посмотреть.

— Спасибо за приглашение, обязательно приду.

*...Я никого не увидел возле него, и я не могу себе представить, кто мог его убить. Его мало кто знал, потому что нрава он был несколько замкнутого и неприветливого. Но все же, насколько мне известно, настоящих врагов у него не было.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*22 мая, пятница*

В этот черный день только погода была хорошей (ей до наших проблем дела нет, она лишь своими занимается), а все остальное уже с утра не задалось, не ладилось, как говорится, через пень колоду валилось. Андрей с каким-то непонятным нетерпением ждал, когда же вечер наконец придет, будто чувствовал, что эта пятница взаправду черной станет, большие неприятности сулит. Он все на часы суеверно поглядывал, время торопил. Казалось ему: дотянется день до вечера без происшествий, так все и обойдется — или совсем беды не будет, или она надолго в сторону уйдет.

Но не вышло, не получилось. Стукнул в дверь тяжелым кулаком леший Бугров и, не дожидаясь ответа, шагнул в дом...

Бугрова лешим справедливо звали. По облику своему (бородачи до пупка, брови седые, волосы чуть не до плеч, трудная хромота) и повадкам (из леса почти не вылезал, ночевать у костра предпочитал, людей сурово сторонился) он прямой леший был.

К браконьерам, невзирая на чины и личности, беспощадность проявлял завидную. Одному большому начальнику из области, отщелкивая цевье от дорогого новенького ружья, он в ответ на бешеные угрозы прямо сказал — со спокойной уверенностью в своей правоте и силе: «Это мой лес. Мне доверено соблюдать в нем все живое. И здесь, пока я сам жив, порядок будет. Никому — ни свату, ни брату, ни тебе, бессовестному, — не допущу его нарушить».

Лешего и свои боялись. Самые отпетые и отчаянные

бегали от него, как мальчишки из чужого сада. Какой-то козелихинский парень даже, говорят, прятался от него на болоте, всю ночь просидел по горло в грязной жиже, лишь бы лешему на глаза не попасться.

Но зла на него не держал никто, видно, хорошо понимали, в чем корень его беспощадности, и уважали за это.

Всегда угрюмо-спокойный, он был сейчас встревоженным, почти растерялся. Участковый, правда, не сразу это заметил.

— Как дела, Федор Михайлович? — приветливо поздоровался Андрей. Они часто помогали друг другу, бывали уже в переделках, испытали взаимную помощь и прониклись взаимным уважением. Если не любовью.

Бугров оперся на ружье, бросил на стул шапку, он и летом ее не снимал.

— Дела-то, говоришь? Было бы хорошо, кабы не было так худо. Собирайся, Сергеич. И дружинников возьми. Двоих. Не особо трепливых.

— Что случилось? — Андрей спросил, уже на подробности рассчитывая. Что именно случилось, ему уже ясно было.

— Мертвое тело Веста нашла.

— Где?

— На Соловьиных болотах. В самой воде. Всплыло, она и учуяла. Правда, дух такой, что и собаки не надо. Любой насморк прошибет. С неделю, не меньше, пролежал.

— Мужчина?

— Мужик по первому виду. Однако я особо не приглядывался, не трогал. А так не видать — лицо в воде. Пошли, что ли?

— А что тебя на болото занесло? — спросил Андрей, собираясь.

— Там, в самой глубине, еще при помещике сторожка была — крепкая такая. Я ее под зимовье приспособил, ночевал иногда, припас кой-какой держал. Место спокойное, кроме меня, кто туда доберется? Пути не сыскать. Сегодня, как шалаши для пионеров ладить закончил, дай, думаю, попроведаю. Вот и наткнулся, далеко не доходя. Совсем недалеко от дороги.

Болота Соловьиными назывались вовсе не потому, что сидел в них когда-то Соловей-Разбойник, хотя ему тут самое место было, а потому, что действительно свистели в них голосистые птицы свои щедрые песни. Соб-



ственно, соловьи звенели не в самом, конечно, болоте, а в овраге, который начинался сразу от дороги и шел в глубь леса, раздавался вширь, зарастал по-над водой зелеными травами, превращался в жидкую трясику.

Место это не любили, обходили стороной, считали нечистым. Неохотно говорили о нем, а уж бывать там только самым отважным доводилось.

Да и то сказать, каких только косточек — и черных и белых — не гнило здесь, в смрадной вечной глубине, какой только кровью — и голубой и алой — не разбавлялась черная болотная жижа.

Вот уж на нашей памяти, годов десять тому, леший Бугров, который один осмеливался заходить на болота и знал их тайные тропки, подцепил концом ствола плавающий среди зеленой ряски новенький картуз. Кто его потерял, вовек не узнать. Как он туда попал, что и говорить — яснее ясного.

И травы здесь растут яркие, коварные и обманчивые. И деревья — кривые да коряжистые, поросшие, как грязным клочкастым волосом, путаным и рваным мхом. И часто сидит на таком дереве черный ворон и каркает хрипло, скрипуче, до мороза по коже.

Все было в болоте том. И пузыри вырывались из черной глубины, и туманы ходили меж деревьев, будто утопленники в саванах, и огоньки плавали над бездонными пучинами. И стоны по ночам глухо доносились до путника, и вроде шепот шел над кочками, и говор слышался глухой, нелюдской, непонятный...

Даже луна здесь особая была — холодная, белая, безразличная. Смотрит сверху, как над болотами бродят туманы и огоньки, бесшумно, а то и с гулким хохотом, мелькают меж кустов страшные глазастые совы — и вроде все это ей очень нравится.

Многие верили, что в болотах нечисть водилась — то ли водяной, то ли еще какая темная сила, толком никто объяснить не мог, но ходили про эти места худые слухи. Старая Евменовна любила об этом поговорить, да и та мутно объясняла: «Поводит, поводит огоньками по кочкам, да и столкнет в бучило и тянет за ноги вглубь и щекочет». И человек вместо того, чтобы звать на помощь, хохочет дурным голосом на весь лес — отпугивает своих возможных спасителей...

Не любили на селе Соловьиные болота, боялись их и без крайней нужды сюда не заглядывали, далеко стороной обходили, хотя ягода тут водилась знатная и дичь

хорошая была. И соловей здесь отменный селился. Иногда, по весне, аж с дороги было слышать его песни, от которых у любого заходило и печально и радостно сердце...

Сейчас день был ясный, шли они твердой тропкой, а над болотом висела в жуткой тишине мятежная тревога. Издалека Вестин вой слышали. Еще немного прошли, и она, обрадованная, из-за кустов к ним выскочила. Андрей даже вздрогнул — так напряжен был.

Дружинники в сторонке остались, участковый с Бугровым ближе подошли. Подошли непросто — оба под ноги смотрели, чтобы след, какой будет, увидеть и не уничтожить: Бугров еще дорогой сказал, что, верно, не своей волей этот несчастный мужик в болоте оказался, похоже даже, дырка у него в спине есть, ружейная.

— Вон, гляди, у края, видишь?

Андрей уже и сам разглядел. Там, где твердое кончалось, торчало из воды что-то темное, пятнистое, видны были ноги в рубчатых походных ботинках, спина с каким-то рисунком на куртке, а голова была вся в воде, только волосы чуть виднелись и шевелились, как тонкая водяная травка.

Правду сказать — жутко было участковому. Но что делать — надо. Ближе Андрей подошел и точно — на спине две дырки разглядел на курточке. И курточка жалкая какая-то: вроде детской, заяц на ней нарисован и «Ну, погоди!» написано зелеными буквами.

Андрей вернулся к дружинникам.

— Вы, ребята, с Федором Михайлычем меня здесь подождите. С места не сходить и никого не подпускать. Я сейчас вернусь, позвоню только.

До приезда опергруппы Андрей с Бугровым место происшествия осмотрели. Кругами ходили, все больше и больше забирая. Андрей первым палатку нашел и Бугрова позвал.

Палатка была зашнурована, рядом на сучке мешок походный висел с продуктами, в пеньке топорик ржавел. Около кострища обувь на колышках висела — видно, сменная, на сушку.

Леший полог палатки откинул, голову внутрь сунул, посмотрел, понюхал, проворчал:

— Точно, неделя лапнику будет, — пошарил в изголовье и сумку вытащил — как полевая, прочная.

Андрей с волнением открыл ее, достал документы, бумаги, посмотрел внимательно. Бугров за его лицом вопросительно следил.

— Ученый, — сказал Андрей. — Орнитолог.

— Это по птицам, что ли?

— Ну да... Командировочное удостоверение и письмо из института.

Андрей снял с дерева рюкзак — внутри продукты были: сахар и соль отсыревшие, чай, консервы, в отдельном пакете проросшая картошка.

— Точно, — сказал Бугров. — Недельный срок, по всему виду: и топор говорит, и кострище, и все другое.

— Слушай, Федор Михалыч, — вдруг сказал Андрей, — надо шире искать. Он приехал птиц записывать на магнитофон, соловьев. Понимаешь? Если мы этот магнитофон найдем, он многое сказать может.

— Это верно. — Бугров поскреб бороду.

Первое напряжение немного улеглось, привыкать стали и теперь больше по-деловому настроены были. Правда, когда ветер налетел и деревья зашумели, опять тревожно стало, неудобно. Будто хотят они рассказать, что видели, да не могут, потому и стонут.

Андрей встряхнулся.

— Где здесь соловьи поголосистее? Пошли. Сейчас на куски разобьем и все обыщем.

— Дело. К оврагу надо идти, к дороге ближе. Сдается мне, покойник от своего магнитофона недалеко ушел.

Андрей объяснил дружинникам задачу и, когда на дороге машина милицейская зашумела (Андрей там Кочкина оставил, чтобы перехватил и к месту проводил), Богатырев закричал, чтобы к нему шли. Нашелся магнитофон. На пенке лежал, рядом провода были и микрофоны, и телогрейка лежала разостланная.

А метрах в сорока Андрею еще удача сверкнула — след сапога на мягкой черной земле, а в нем — раздавленный окурок, самокруточный.

Вскоре Кочкин группу привел. Андрей поздоровался, доложил как положено, и уже вместе продолжили работу.

Судмедэксперт осмотрел убитого — сомнений в том уже не осталось. Человек был немолодой, с бородкой, за ухо очки зацепились — и что удивительно и страшно: стекла в них целы были, только позеленели. Убит был в спину, двумя выстрелами. Предварительное мнение

эксперта — пуля тупая, пистолетного типа, миллиметров девять-одиннадцать.

Осмотрели место (предположительно), откуда стреляли. Но гильз, как ни искали (и приборы не помогли), не нашли — вернее всего, подобраны гильзы предусмотрительной рукой.

Следователя особенно магнитофон заинтересовал. Конечно, болото, сырость, какая тут пленка выдержит, но он на нее надеялся — может, что и скажет, да не простое, а главное. Но больше всего он на участкового надеялся, особенно когда про дерево на дороге услышал. «Ратников, — назидательно сказал он, — любое слово сейчас лови и к этому делу примеряй. Глядишь, что и к месту точь-в-точь придется».

Дружинников особо предупредили, чтобы ни слова в село не принесли. Чем дольше знать не будут, тем вернее и скорее след отыщется.

Вечером Андрей в клуб пошел, на товарищеский суд. Хотя и мрачно на сердце было, а надо — остальные дела бросать тоже нельзя. Все они главные.

Судили нерадивого механизатора Василия Блинкова. Суть дела была такова: Василий с детства мечтал о мотоцикле, можно сказать, бредил им и во сне каждую ночь видел, а возможности приобрести машину все не появлялось. Причин тому было достаточно, а главная, первая, — Клавдия, жена его, женщина со злым и скандальным характером, которая взяла манеру сама получать Васькину зарплату, мол, иначе пропьет. Васька жены боялся и активно, открыто не протестовал. Но уж в пику ей, если сваливался левый или сверхурочный заработок, не откладывал его, а действительно назло Клавдии пропивал с друзьями. Выпив же, начинал мечтать вслух о том, какой мотоцикл он купит и как и куда на нем станет ездить. Все это было довольно безобидно, но с горчинкой. Терпел, терпел Васька злобу и тиранию супруги, насмешки приятелей — и пошел на крайность: втихую, втайне от Клавдии, продал собственного кабаничка и инсценировал кражу.

Все было сделано по-детски, наивно. Андрей сразу же понял, что замок на сарае был распилен до того, как его навесили, что Васька лжет, уверяя, что два дня не был в сарае — остались на влажной земле следы его резиновых сапог поверх Клавдиных бот и кое-что другое.

Разгадав его нехитрую хитрость, получив Васькино покаянное признание и съездив с ним за кабанчиком в Оглядкино — благо его еще не успели заколоть, — Андрей и сам растерялся: как дальше быть? Какие меры принять? Кража ведь была, преступление совершено... Но кража-то у самого себя! Подумал — и решил передать дело товарищескому суду. В суде, правда, обернулось все иной стороной. Поначалу, однако, все шло как надо: осуждали и стыдили Василия за нерадивость и лень, за пьянство без размера, но когда вылезла на сцену Клавдия и стала чернить при народе своего мужика, настроение в зале изменилось.

Клавдия ради такого события, где она главной была, принарядилась — покрылась алым платком, надела желтую кофту и зеленую юбку — издалека, из зала, была она похожа на испорченный светофор, у которого все огни горят разом. А Васька пришел с работы в затрапезе, сидел, неловко повернувшись боком, чтобы односельчане не видели под глазом синяка, навешенного Василию запальчивой Клавдией.

Общее мнение выразил бригадир полеводов по фамилии Кружок, испортив всю назидательность важного мероприятия:

— Это же надо, граждане, довести собственного мужика, опору и надежду семьи, до такой позорной крайности. Васька тоже хорош, не спорю. Гордости в нем мужской ни на чих не осталось. Обидно для всей нашей половины человечества, что он такую мужскую несостоятельность проявляет...

В зале засмеялись.

— ...Я не об этом говорю, этого я не касаюсь. Я говорю об том, что на месте Василия за такое повседневное издевательство всю бы скотину со двора свел и пропил. Не Ваську надо судить, а главного в этом деле подстрекателя. Ты, Клавдия, самый близкий ему человек после отца и матери. Что же ты мужика родного понять не можешь? Ведь живете вы на одну твою зарплату, а Васькину ты на книжку ложишь, и он даже не знает, где ты ее держишь и сколько на ей денег. Унижаешь мужика. Ты сколько ему на обед даешь? То-то. А ведь он курить бросил через то, что ему стыдно стрелять папироски у товарищей.

Вот что, Васька, у меня в сарае старая «Ява» есть, испорченная, но хорошая еще, если руки приложить. За-

бирай ее себе, ремонтирувай и уезжай на ней от своей змен Клавдии на край света!

В зале опять засмеялись и захлопали, Клавдия заголосила, Васька встал и выпрямился, развернув плечи и задрал голову.

Суд с улыбками и шутками вынес частное определение в Клавдиин адрес и кассиру, Ваське порицание и, в общем, сработал как надо. Разобрался в причинах, постарался их устранить, выразил общее мнение коллектива.

Андрей видел, что Клавдия и Василий вышли с суда вместе. Клавдия цепко держала мужа под руку, семенила рядом, даже немножко опережала его и заглядывала ему в лицо. Василий шагал торжественно и величаво, на жену поглядывал снисходительно.

В другое время улыбнулся бы участковый, порадовался, а тут на душе сплошная чернота. Сидел он сейчас в зале, смотрел на своих односельчан, слушал, что они говорят, а мысль одна его мучила: неужели из них кто-нибудь к этому делу причастен? И ведь скорее всего это так, в той или иной мере.

*— ...Имеется одна или две незначительные детали, которые стали известны во время допроса. Они заслуживают внимания.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

## **26 мая, вторник**

Прошло несколько дней. Нехороших. Ничего за эти дни не произошло, но и ничего не прояснилось. В Синеречье и во всех других близлежащих местах давно уже знали, что случилось на болотах, все обсудили, все предположения высказали, нагородили такого, что сами по вечерам с опаской из дома выглядывали, за каждым кустом им злодеи мерещились.

Андрей с Бугровым уже несколько раз и в район, и в область ездили, соображения высказывали. Следствие шло, время — тоже; силы подключились к расследованию немалые, но результатов пока особых в деле не значилось. Как выразился следователь Платонов, здесь было еще много темных мест и «белых пятен». А точнее, все сплошь оставалось темным, и

хотя некоторые детали все-таки кое-что прояснили, но даже для начала зацепиться было не за что.

Нынешний день начался для участкового, можно сказать, как обычно: разбудил его неистовый стук в окно и хриплый от волнения голос: «Андрюша, отвори!»

Андрей распахнул окно и отшатнулся. Под окном, прямо в будущих цветах (Галка подлизывалась), стоял колхозный бухгалтер Коровушкин, обычно, точнее — всегда, суховатый в общении, опрятный в одежде и въедливый в делах, вовсе непьющий человек, а сейчас такой непохожий на себя, что Андрей ощутил в животе холодок недоброго предчувствия: либо у него баланс на три копейки не сходился, либо колхозную кассу ограбили, не иначе.

Коровушкин был небрит, взлохмачен, в грязной белой рубашке, из кармана пиджака висел мятый галстук — веревка веревкой, брюки держались на одной пуговице, и в прореху просунулся клочок рубахи. И разило от него так, что у Андрея закружилась голова.

— Спасай, Андрей Сергеевич! Погибаю!

— Погоди погибать, — сказал Андрей. — Дай одеться.

Андрей оделся, поставил на плитку чайник — он понимал: человеку надо успокоиться, чтобы все толком рассказать, — и сел напротив Коровушкина.

— Ну рассказывай теперь, Тихон Ильич. Что натворил?

Коровушкин вздохнул тяжело, со стоном, обхватил седую голову руками.

— Ох, и натворил, Андрюша, на старости лет. Всю жизнь при деньгах, при важных документах — и никогда ни пятнышка на моей биографии не было. Нынешний год на пенсию собрался, и вот тебе — опозорил свое честное имя навсегда. Папку я вчера потерял в районе.

— Так. — Андрей привстал. — А что в ней? Деньги?

— И деньги кое-какие были, по доверенности получил: девятьсот сорок два рубля тридцать шесть копеек — и прописью, как говорится, и цифрой. И документы, оформленные на премию колхозникам за посевную, и почетные грамоты победителям соревнования... Два письма гарантийных... Деньги — ладно. У меня почти тысяча на книжке есть — покрою; на премию новые бумаги сделать тоже можно, задержим маленько, ко-

нечно, но поймут люди, а вот что жалко — грамоты. Весну ведь как хорошо поработали, разве можно это не отметить, не порадовать людей!

— Ладно, давай-ка Расскажи все по порядку. И без утайки, погулял ты, по всему видно, здорово. Не из любопытства спрашиваю: чтобы искать успешно, весь твой вчерашний путь, как ни горько и стыдно, заново надо пройти.

Вот что рассказал бухгалтер.

...Отправился он в райцентр человек человеком — черный костюм, белая рубашка с галстуком, шляпу положил на голову как подобает и платочек в кармашек; под мышкой — красная папочка с тесемками.

Уехал на машине, а вернулся нехорошо: поздно ночью, никто не видал на чем (и хорошо, что не видал), а сам он не помнил. Собственную калитку нашел с трудом и открыл ее не в ту сторону — так и повисла на оставшейся петле. Верная Жучка, радостно бросившаяся было ему на грудь, вдруг сморщила морду, чихнула, заскулила и, отбежав к сараю, долго испуганно лаяла на хозяина, который упорно и шумно карабкался на крыльцо.

Уснул он прямо в сенях, до горницы не добравшись, положив голову на старые валенки, круглый год валявшиеся под лавкой, и проснулся с чувством, что ничего более ужасного в его жизни еще не случалось.

Да, так оно, собственно, и было. Жизнь он свою провел правильно, прямым курсом, не допуская резких поворотов, а вот тут такой неладный сбой допустил.

И ведь все шло хорошо: показал отчет, первым получил в банке деньги, потом — грамоты, в общем, все сделал в полдня — быстро и аккуратно — и собрался домой: одну ногу уже в дверцу машины занес, а тут кто-то ему руку на плечо положил.

Оглянулся Коровушкин — стоит пожилой и полный человек с портфелем, на руке дорогой плащ, и улыбается, ждет, когда бухгалтер в ответ рассмеется и на шею ему бросится. Коровушкин так и поступил — ногу обратно выдернул и повис на толстяке:

— Ванюшка, родной! Откуда ты здесь!

Словом, встретились старые друзья, у которых было общее детство, и боевая юность, и годы разлук, у которых есть что вспомнить, у которых жизнь была позади,



и потому они особо друг в друге нуждались и рады были нечаянной встрече.

Коровушкин шофера с машиной отпустил — не любил он зазря государственное время мотать (сам-то с делами управился и с чистой совестью мог несколько часов другу посвятить).

Ну куда деваться? Сели тут же в скверике на лавочку, да прохожие стали оглядываться: сидят трезвые старые мужики и то друг друга по плечам хлопают, то хохочут враз, не поймешь над чем, то вдруг замолкнут и слезу пустят, рукавом по щекам заскребут...

Короче, оказались они на вокзале, в ресторане. Справедливости ради надо заметить, что от первой Коровушкин пытался отказаться, но Ванюшка, друг его, с таким изумлением, даже обидой посмотрел на него, что бухгалтер махнул рукой и хлопнул стопку, а за ней и другую, хотя к вину был крайне непривычен. За разговорами, ахами да охами время пролетело быстро. Тут вспомнил Иван, что нынче видел в гостинице Настю Копейкину, старую любовь Коровушкина, с которой пути его еще в молодости почему-то разошлись и более не пересекались. Как было не навестить?

В гостинице Коровушкин, глядя на свою первую любовь, снова засмутился, потерялся и, чтобы взбодриться и развязать язык, снова хлопнул — уже коньячку. Ему и без того было довольно, да Настя всполошилась, что во втором этаже Кузьма с Никитой живут (все они на одно совещание прибыли). Поднялись на второй этаж. А уж как спускались, и вплоть до сего утра Коровушкин уже ничего не помнил. И где красную папку оставил или потерял — тем более...

— Ну поехали, — сказал участковый.

Заскочили они к председателю и рванули в райцентр. По всем точкам прошли, по всем пунктам проверку сделали, всех старых друзей Коровушкина навестили, но без результата. Про красную папку так никто и не вспомнил. Андрей справился на всякий случай в райотделе и сказал Коровушкину:

— Поехали домой. Не здесь мы ищем.

Коровушкин, на глазах уменьшавшийся в размерах по мере того, как таяли его надежды, удивленно посмотрел на милиционера и решил, что тот его просто утешает. А участковый так рассуждал: бухгалтер — чело-

век крайне добросовестный и строгий, и в каком бы виде он ни оказался, папку с колхозными деньгами и документами из рук не выпустил бы, да и не вспомнил ее никто — ни Иван, ни Настасья, ни Кузьма с Никитой. И официант, который их обслуживал, тоже про папку ничего не сказал. Хотя, конечно, причина тут и другая могла быть. Но вряд ли — парень был хороший, молодой, не испорченный еще.

Соображений своих Андрей высказывать не стал, чтобы человека зря не обнадеживать. Пусть уж на всякий случай свыкнется со своей бедой. А уж если найдет он папку — что ж, от радости хуже не станет.

Подъехали прямо к правлению, и благо председателя машина, на которой вчера бухгалтер в район ездил, на месте была и из-под нее Пашкины ноги торчали. Андрей прямо к ней подошел, заднюю дверцу открыл, осмотрел и о чем-то Пашку, голову высунувшего, тихо спросил. Потом они снова на мотоцикл сели.

— Куда теперь? — тихо и безразлично поинтересовался Коровушкин. — За вещичками?

— Домой. Папку возьмешь — и в правление, к председателю. Он, хоть и моложе тебя вдвое, а я думаю, не постесняется ногами потопать и кулаком по столу постучать для профилактики.

— Калитку поправь, — сказал Андрей, проходя во двор.

Коровушкин махнул рукой, какая уж тут калитка... и остолбенел: Андрей подошел к окну и взял с подоконника красную папку.

— Посмотри для порядка, Тихон Ильич, все ли у тебя тут на месте?

Бухгалтер взял папку, прижал ее к груди и сел прямо в куст крыжовника.

— Ты ее в машине оставил, — пояснил Андрей. — Зря мы только в район гоняли.

— Боже мой, — заплакал Коровушкин. — Как же ты догадался!

— Сообразил, — улыбнулся Андрей. — Я, правда, еще здесь хотел в машине посмотреть — не верил, что такой человек, как ты, может потерять казенные бумаги. Думаю, небось когда садился в машину, положил ее на сиденье, а тут — Ванечка... Верно? У Павла спросил, а он говорит: «Я ее утречком на окошко ему положил, будить не захотел». Вот так, гуляка.

— Андрюша! — торжественно сказал Коровушкин. — Что тебе сделать? Как тебя отблагодарить?

— Бутылку поставь, — усмехнулся Андрей.

— Привет, Ратников. Платонов говорит. Знаешь, прошли по его связям — никаких следов. Да и связи-то... Человек, как выяснилось, он был крайне необщительный, даже нелюдимый. Холост, ни друзей, ни врагов у него. В институте никто и не знал, куда именно он собирается: свои заветные места имел и держал их в тайне. То есть совершенно никаких концов. Здесь скорее всего элемент случайности был, как думаешь? Вот и я так же. Ведь явных мотивов, по существу, нет. Цель ограбления, наиболее вероятная, вообще исключается: все вещи целы, документы, деньги, главное, — тоже. На месте надо получше искать, согласен? У тебя ничего пока? Ну да, конечно... Я уж подумываю — не нашли Агарышев-Федорин руку приложил. Что, если он в ваших краях обитается? Ты собираешься к нам? Хорошо, жду. Да, ты просил меня место жительства гражданки Елкиной Зои Николаевны установить — записывай. Это вашего Дружка, что ли, беглая супруга? Ну-ну.

Елкин недавно устроил у себя чаепитие, на которое созвал тех мужиков, кто всерьез решил кончать с вином. Во дворе, у всех на глазах, поставили самовар и сели чаи распивать. Паршутин за калиткой топтался, радовался. «Знаем мы эти чаи. Сперва воды наглотаются, потом молодость вспомнят и рубашки на груди рвать начнут, а опосля все равно кого-нибудь в сельпо пошлют и до утра песняка орать будут», — говорил он всем любопытным прохожим.

Но в магазин не бегали, песен не пели, водки не пили. Разговаривали. Сначала Тимофею слово дали.

— Мне, мужики, первую рюмку папашка — пусть спит спокойно, если может, — поднес, и я ее до своего гроба не забуду. Сколько из-за нее добра мимо себя пропустил, сколько, братцы, хороших минут не дожил.

— Не так уж ты и выпивал-то до поры, — поправил кто-то.

— До поры... То-то и оно. Кабы раньше не выпивал, так, когда меня Зойка бросила, я бы с этой бедой справился, а тут — и запил по-настоящему, вглухую. И совсем под откос пошел. Ни ума, ни стыда не осталось.

Считал, вся жизнь кончилась. Был, правда, момент недолгий, одумался почти. Это Евменовна меня поучила. Дурак, говорит, ты, Тимка, я, как старость подходить стала, тоже думала — все, кончилась жизнь, чего уж хорошего ждать. Да нет — в любых годах своя радость и свой смысл есть и до самого конца будут. Мне, говорит, на солнышке погреться, внучонку нос выбить, чайком с хорошим человеком побаловаться, на молодых поворчать — счастье. И просто на белый свет глянуть — удовольствие, светло на душе и спокойно. А твои-то годы какие? Почитай, все еще самое доброе и разумное впереди. Верите — две недели после ее слов в рот не брал жидкого, кроме чая да супа, а потом Зойка письмо прислала, и я обратно срезался. Спасибо Андрюшке — подхватил вовремя и на ноги поставил. Хоть и стыдно было от пьянки лечиться, зато после как вновь родился, будто помыли все вокруг меня — такое чистое и ясное стало...

Это заметно было — Тимофей очень изменился. Исчез стыд в глазах, который он маскировал развязностью и дурачеством, суетливость пропала, степенность и уверенность появилась — и в словах, и в поступках.

Другим мужикам тоже нашлось что сказать, и беседовали долго, друг в друге поддержку нашли и еще больше укрепились. Вот так начал свою «антиалкогольную пропаганду» Тимофей Елкин — наивно, иногда смешно, но настойчиво и упрямо.

Самовар свой они под ветелку перенесли. На сучок знак повесили — круг, а в нем красной чертой водочная бутылка перечеркнута. Паршутин со своей гвардией попробовал было отбить ветелку, но чаевники — в прошлом достойные ветераны кулачных боев — хорошо их встретили, дружно проводили. Так что теперь на вечерние беседы вроде очереди установилось, расписание ввели. Правда, знак с бутылкой в удобный момент сбили и далеко забросили. Но это не беда, не в знаке ведь дело.

Тимофей же на достигнутом не задерживался. Теперь он по лесу шастал — какую-то народную травку собирал, будто бы очень помогающую от табака и алкоголя, в баньке ее сушил и в заварку добавлял. Сам-то он в ней не нуждался, заботился о том, кто послабее духом.

Андрей уже тревожиться начал — видел, что Тимофей сам себе для поддержки новые заботы ищет, — и

решил, не откладывая, Зойку навестить, поговорить с ней.

Как у нее жизнь сложилась, он точно не знал, но по слухам — не очень гладко, не так, как Зойка рассчитывала. Надеяться, что она сама первый шаг к Тимофею сделает, не приходилось — не тот характер, но вот подтолкнуть ее можно было бы.

Жила Зойка на окраине Дубровников, в совершенно деревенском домишке, где снимала комнату. Андрей удачно пришел — Зойку застал, а девчонок дома не было, так что можно было поговорить не спеша, серьезно.

Зойка ему сильно обрадовалась, с односельчанами она связей не держала, по дому, видно, соскучилась и за Тимофея от души переживала. Как Андрей вошел, она ему чуть на шею не кинулась и стала чай собирать.

Андрей огляделся и Зойку пожалел: трудно ей приходилось — в комнате пусто было, всего-то одна кровать на троих и чемодан с вещами.

— Знаешь, Андрюша, — говорила Зойка, — я много тут думала... Это ведь я во всем виноватая оказалась. Тимофей-то — добрый мужик, да и не так уж он шибко выпивал, чтобы нельзя было с ним совладать. Я-то решила, что новую любовь нашла, лучше прежней, думала, счастье мне с ним будет... Ну и заявила со всем, что нажила, — с дочками. Обрадовать хотела, сюрприз сделать. А он мне всего-то и сказал: «Ты б еще и мужа первого притащила». Вот... Ну куда мне было? Не назад же, с позором. Устроилась кое-как, в столовой работаю. Тимофей-то, верно, после этого как следует и запил.

— Он ждет вас, — сказал Андрей. — Совсем другой человек стал. Не узнать. Хозяйство все поправил, работает, книги читает. — Тут Андрей решил немного схитрить, очень естественно смутился, замялся.

— Ну? — насторожилась Зойка.

— Ухоженный такой стал, наглаженный. Бреется каждый день. Сонька — соседка ваша — ему и постирает и сготовит. Вроде шефство взяла. Ну, ей можно, разведенная, забот немного. Да и Тимофей, если надо, ей помощник, ты ж ведь знаешь его, никогда не откажет что по хозяйству, что в огороде...

— Ах вот как! — взвилась Зойка. — Я тут одна с двумя хвостами бьюсь, а он там на чужой дом работает!

Ну погоди, мне ведь собираться недолго. — Она кивнула на чемодан.

— Вот и собирайся, — встал Андрей. — Увольняйся, выписывайся и — домой. Ждут вас там.

Зойка сняла со спинки стула платок, уткнулась в него и заплакала.

— А то хочешь, — сказал Андрей уже у двери, — я вас сам привезу, если перед людьми неудобно.

— Сама натворила, сама и поправлю. — Зойка утерлась, улыбнулась. — А ты-то, Андрюша, не женился еще?

— Собираюсь, — ответил Андрей и вышел.

В селе участкового ждала новость: у Елкина банька сгорела. Андрей приехал как раз, чтобы на угольки посмотреть. В толпе больше всех суетился Паршутин и все кричал: «Это дело непростое! Эти алкоголики, которых милиция покрывает, зря свои бани не жгут! Они, граждане, следы свои скрывают». Увидав подъехавшего участкового, Паршутин не испугался, а, схватив Елкина за рукав, стал вытаскивать из толпы и еще громче орать: «Вот он — поджигальщик! Бери его, милиция! Не возмешь, я знаю! За такой милицией алкоголикам спокойно. Они нас скоро убивать захочут, а милиция куда смотрит? В ихние голубые глазки? Я все знаю!»

— Что это с ним? — спросил Андрей, слезая с мотоцикла. — Укусил кто?

Двое дружинников взяли Паршутину под руки. Он вырвался и показал на дорогу.

— Не торопись, богатыри. Сейчас вашего участкового самого под ручки возьмут.

Что он имел в виду, никто не понял, но все обернулись и смотрели, как ныряет за кустами милицейский «уазик».

Приехавшие прежде всего попросили народ разойтись, долго копались на пепелище, беседовали с Елкиным, с председателем, еще кое-кого опросили, а потом начальник сел в сторонке на лавочку и подозревал Ратникова.

— Теперь погляди, лейтенант, зачем я приехал. По сигналу. — И протянул Андрею бумажку.

«Сообщение, — было написано на ней. — Участковый милиции Ратников, который должен усилить борьбу, а сам покрывает неисправимых алкоголиков и защи-

щает их от честных граждан и вступает с ними в преступление ради мотоциклетных покрышек для своего мотоцикла, на котором он возит алкоголика Елкина. Он их украл из государства и запер в бане, слева от двери и прямо, где находятся и другие похищенные Елкиным дефективные узлы и агрегаты на водку. Надо срочно принять меры к справедливости и каждому дать, который что заслужил, — участковому по шапке, а Елкину по башке. Честный гражданин».

— Паршутин писал, — уверенно сказал Андрей. — Я его руку и выражения хорошо знаю.

— А что у тебя с ним?

Андрей рассказал.

Приехали наконец пожарные. Тоже походили во круг бывшей баньки и даже поливать ее не стали — незачем было.

Паршутина увезли объясняться. А за Андреем сразу прибежали от магазина — какие-то проезжие ломились, водки требовали. Участковый их живо остудил — номера машин записал, документы проверил и пообещал в их хозяйства сообщить. Евдокия, когда он атаку отбил, в виде спасибо сказала ему, что хорошие сигареты привезли и она ему оставила.

— Я ж не курю, — напомнил Андрей.

— Закуришь на своей работе, — уверенно пообещала продавщица. — Вон Зайченков, уж как здоровье свое бережет, и тот курить начал, за троих смолит. Ну для гостей возьми. — Очень ей хотелось Андрею приятное сделать.

А тут и легкий на помине Зайченков явился, посуду сдать принес. Увидал участкового и назад было повернул.

— Постой, постой, — сказал Андрей. — У меня к тебе разговор есть.

Зайченков нехотя вернулся, поставил авоську на пол, придерживая за ручки, чтобы не расползлась, снял кепку и провел ею по лицу.

— Упарился, — съехидничала Евдокия. — Как на работу, в магазин ходишь. Интересно, на какие ты миллионы столько пьешь?

— Да уж не на твои... Слушаю вас, гражданин участковый.

— Ну, — с нажимом сказал Андрей, — допрыгался, зайчик? Завтра собирайся с утра, в район поедem. Ты в СУ-16 работал месяц назад?..

Зайченков побелел, не ответил, бросил авоську и выскочил за дверь.

— Чего это он? — удивилась Евдокия. — Небось и там чего нашкодил!

— Вроде. Есть данные...

*— Ваши рассуждения прекрасны! — воскликнул я в непритворном восторге.*

*— Вы создали такую длинную цепь, и каждое звено в ней безупречно.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*31 мая, воскресенье*

Вот, кажется, и все, о чем вспоминал участковый Ратников, сидя на крылечке, листая свой блокнотик. И, признаться, было ему о чем вспомнить, над чем поразмыслить. Нельзя сказать, что все он понял, во всем разобрался, и можно было себя по лбу шлепнуть и сказать: «Как же я раньше-то не догадался!», а когда прибудет на место оперативная группа, предложить готовенькое, правильное, горячее решение.

Нет, хотя до этого уж и недалеко — цепочка-то выстроилась, но пока еще не хватает в ней минимум трех звеньев. Их предстояло найти, выправить, разогнуть и поставить на свое место, а уж тогда действовать, как говорится, под занавес и аплодисменты.

Что ясно? Ясно, что Агарышев, убийство орнитолога, ночная автоматная очередь — это одно целое, связанное.

Что неясно? Неясно: откуда автомат, кто взял его в руки, почему в него, участкового, стреляли?

Андрей посмотрел на часы, встал. Сейчас ему никто не нужен — только Марусин Вовка. Сомнений нет — Вовка ему два вопроса из трех закроет за просто.

Участковый подошел к калитке и ближайшего к ней пацана (они с рассвета так и не отходили от его дома) послал к Марусе. Вовка прибыл мгновенно, будто за углом терпеливо ждал, когда его позовут. Пожалуй, так оно и было.

— Дядя Андрей, ты на нас не думай — мы его не нашли. Дачник нам помешал.



— Давай-ка по порядку. Откуда ты узнал про автомат?

Вовка, естественно, пожал плечами: ну и вопрос, смехота!

— Мы об этом давно слыхали. Старший Овечкин его с войны принес, он ведь партизаном был и в доме под полом его спрятал. А потом и забыл про него. А мы вспомнили. И решили достать. Только ты не думай — постреляли бы и тебе принесли.

— В доме, говоришь, прятал?

— Да.

— А почему же вы в сарай полы вскрывать полезли?

— Так сарай-то с той поры еще стоит, а дом разбирали недавно и новый строили.

Ну вот, все и разъяснилось — и про автомат, и про руки на его затворе и спусковом крючке. Сам Овечкин из села давно уже уехал, где-то на Севере работал, там и скончался. У его дальних наследников Дачник и купил старый дом. Перебрал его. До фундамента. Сам перебрал? Нет, не сам. Кто это делал? Зайчиков!

Андрей на всякий случай домой к нему сбегал, не застал, конечно, дома никого, и вовремя к себе вернулся — у калитки уже «уазик» стоял, и дверцы его хлопали.

Первым к нему Платонов подошел, руку на плечо положил и сказал улыбаясь:

— Слух прошел, тебя бомбили ночью, а ты только тем и спасся, что, боясь хулиганов и пьяниц, в погребе взял моду ночевать?

Все дружески посмеялись, похлопали участкового по спине, как товарища, который счастливо из смертного боя вышел, и делом занялись.

Потом в дом вошли и совещание устроили. Андрей больше слушал, на вопросы отвечал, но свои соображения пока высказывать воздерживался.

Начал эксперт-баллист. Родители его так предусмотрели, или само собой получилось, но к своей необъятной, сокрушительной силе он имел фамилию Муромцев и звали его Ильей Ивановичем.

Он говорил, чуть похлопывая по столу ладонью, а в печи от этого скакали конфорки.

— Сообщаю кратко предварительные результаты экспертизы. Выстрелы произведены из пистолета-пуле-

мета образца 1940 года марки МР-40, состоявшего на вооружении германской армии до мая 1945 года. Особенностью его является низкий темп стрельбы, достигаемый... и т. д. По расположению пулевых отверстий в стене и крыше дома можно предположить, что стрельба велась неумелой, неопытной рукой... Патроны девятимиллиметровые пистолетные 08 (парабеллум). Тип пули — оболочечная, тупоконечная. Гильза — латунная, цилиндрическая. Автоматика оружия скорее всего имеет незначительную неисправность. Смею высказать и еще одно соображение — стрелявший по каким-то причинам не осуществил наводки на цель, поскольку первые пули из выпущенной очереди находятся слишком далеко от нее, чтобы предположить обыкновенный промах...

— На болоте стреляли из этого же оружия? — сразу спросил Платонов.

— О полной идентичности пуль, изъятых из трупа и бревен дома, можно будет сказать лишь после соответствующих исследований. Пока же можно отметить, что такая возможность не исключена.

— Следы сапога на болоте и здесь, в кустах, идентичны, — продолжил Платонов. — Ратников, найдешь сапоги?

— Чего проще, — усмехнулся Андрей. — Размер очень редкий — сорок третий. Таких на моем участке пар четыреста, не больше.

— Смотри-ка, он шутит. Я рад. Но продолжим. Я привез пленку из магнитофона орнитолога. Кое-что можно разобрать. Послушай, Андрей, может, узнаешь, хотя вряд ли, там одна фраза только разборчиво сказана.

Платонов включил магнитофон.

Зашипело, затрещало, загудело. Защелкало, похоже на птичий щебет. Опять шум. Тишина. Шум. Истеричный выкрик: «Бей, дурак!» Короткая — в три-четыре патрона — очередь, ясная, четкая. Тишина. Шум. Долгая тишина. И тот же незнакомый, брезгливый голос: «Допрыгался, зайчик!»

Все вопросительно смотрели на Андрея. Он молчал. Потом сказал:

— Голос не знаю. Да если бы и знакомый был, не узнал бы. А фраза про зайчика... Где-то слышал.

— Как это? — привстал Платонов.

Андрей сжал ладонью лоб, сильно потер лицо...

— Ну, ну, — торопил следователь.

— На днях. В магазине. А! Я сам ее сказал... Зайченкову Егору.

— Ах ты черт! — выразился Платонов, когда Андрей рассказал об этом случае, об автомате. — Ищи теперь его! Ты спугнул его, он решил, что ты все знаешь. Потому и стрелял в тебя. А теперь он, — Платонов подумал, — теперь он, самое лучшее, за полтыщи верст отсюда... Очень жаль, — добавил он таким тоном, будто уронил на мосту в воду коробку спичек.

Тут дверь приоткрылась, и Галка просунула голову.

— Чаю вам сделать? — нахально спросила она. — Или обедать будете?

Муромец сладко потянулся, Андрей нахмурился, Платонов кивнул. Галка вошла и посудой загремела.

— Хозяйка? — спросил Андрея Муромец.

— Напрашиваюсь, — ответила за него Галка, — а он все не берет. Совратил девушку, а сам в кусты.

— Зазнался ты, Андрей, — серьезно осудил Платонов. — Потому и ошибаться стал в работе.

— Кто ее совратил? — закричал Андрей. — Слушайте ее больше, она наплетет!

— А ты не оправдывайся. Признай свою вину, исправь ошибку и женись на бедной девушке.

— Ну как? — спросила Галка, расставляя посуду на столе. — Берешь? Или заявление в местком писать?

Тут в окно постучали, и Тимофей со двора закричал:

— Андрей Сергеич, имей в виду, я никаких покрывшек не крал и в бане не прятал! Об этом я тебе под дверь официальное заявление подсунул и ответственность с себя снимаю!

— Видала? — спросил Андрей Галку. — Хорошо еще, не в два часа ночи заявление принес. Поняла, что тебя ждет?

— А если я тебя люблю?

— Да ты не запугивай ее, — пригрозил Муромец. — Женись, и все.

Галка собрала чай и попрощалась.

Позже, когда все обсудили и предварительные меры наметили, Андрей вышел к машине товарищей проводить.

— Ты, вернее всего, первый на него выйдешь, — сказал Платонов, поставив ногу на подножку «уазика». Не спеши действовать. Помни, он уже не человек,

его остановить только пулей можно. Так что инициативу в разумных пределах проявляй.

— Соблюдай технику безопасности, — шутливо добавил Муромец. — Мне бы он попался...

Андрей вернулся в дом, походил из угла в угол, прилег, почувствовал, как сильно устал. Он стал задремывать, и ему представилась такая картина...

Заросший овраг. Птичьи голоса. Шум ветра в верхушках деревьев. Где-то высоко солнце. На траве шевелятся тени от листьев. В кустах лежит на животе пожилой человек в детской курточке с зайчиком на спине, возится с приборами, поправляет очки.

Вдали, где шоссе, слышится шум приближающейся машины. Человек недовольно морщится, и вдруг совсем рядом громко стучит топор и падает с треском и шелестом большое дерево. И голоса:

— Ты с «керосинкой» — на дорогу, к машине. Как станет, подходи и бей внутрь. Чтоб никаких следов и свидетелей. Ты — с другой стороны. Мешки возьмешь. Пошли!

Он видит три неясные фигуры, черный автомат в руке одной из них, все понимает, и его охватывает нестерпимый ужас, как в кошмарном сне, когда остается одно желание — проснуться, пока не разорвалось от страха сердце. Он кричит, вскакивает, бежит в лес. И слышит: «Бей, дурак!» И чувствует — сильно ударило в спину, невыносимой, мгновенной болью что-то горячее вырывается из груди. Видит, как быстро растет под ногами черный муравей, становится громадным и закрывает собой весь белый свет...

Андрей встает и включает лампу. Завтра понедельник, думает он. Завтра повезут в село зарплату и премию за посевную...

Кто-то барабанит в дверь. Андрей хватается за пистолет и впервые в жизни, прежде чем откинуть крючок, спрашивает: «Кто?»

— Я!

Андрей распахивает дверь.

На пороге стоит Галка, босая, под мышкой — подушка, в руке — чемодан.

— Ты что?

— Знаешь, Андрей, в тебя уже из пулеметов сажают — пропадешь ты без меня. Я к тебе совсем. Мне

уже восемнадцать сегодня исполнилось. Полчаса назад. Не веришь — у мамы спроси.

— А босиком почему?

— На всякий случай. Чтоб пожалел и сразу не выгнал.

— Тебя выгонишь, как же!

*— Имейте в виду, доктор, что  
дело будет опасное. Суньте себе в  
карман свой армейский револьвер.*

*А. Конан Дойл. Записки  
о Шерлоке Холмсе*

*Тот же день, ближе к вечеру*

— Нынче я до своей избушки, что на болоте, опять не дошел, — сказал леший Бугров. — Больно тропка туда заметная стала. За последние дни не раз по ей в обе стороны протопали. Я и остерегся, издалека посмотрел. Не сказать, чтоб чего заметил, но прячется в сторожке какая-то чужая личность. Я без тебя трогать не решился. По всему — твоя это забота. Тот человек. Пойдем, что ли?

Андрею недолго собираться было: сапоги на ноги, пистолет на бок, фуражку на голову. «Наши-то, — подумал он, — еще туда не доехали, а уж обратно надо».

Позвонил в район, обрисовал ситуацию, получил указания: организовать наблюдение, ждать помощи, до приезда группы самому никаких действий не предпринимать.

— Я тебя провожу, Андрюша, — попросилась Галка.

Андрей с Бугровым говорили тихо и так спокойно, буднично, что она всего не расслышала, а что слышала — не поняла и потому не встревожилась.

— Нет уж, — строго сказал Андрей. — Ты и так уж через все село с подушкой под мышкой маршировала. Дома сиди.

— Сперва ко мне зайдем, — сказал Бугров, когда они вышли на улицу. — А дружину свою после соберешь, успеешь.

Дома Бугров отпер старый скрипучий шкаф, достал из него винчестер, а с верхней полки — коробку с патронами.

— Не бойсь, он на меня записанный по закону. Посиди пока, я быстро управлюсь.

Он вытер винтовку тряпочкой, передернул скобу, поднял откатившийся патрон, обдул его и стал не торопясь набивать магазин. Потом глянул на Андрея, будто померил его глазами, и укоротил немного ремень.

— Знаешь, как с им управляться?

Андрей кивнул.

— Держи.

Участковый покачал головой и хлопнул ладонью по кобуре.

— Зря. Эта штука много верней.

Из села вышли по отдельности и собрались под ветелкой. Андрей каждому объяснил, как себя вести, что делать и чего делать ни в коем случае нельзя.

— Особенно это тебя, Богатырев, касается.

— Я не боюсь, — ответил brave командир дружины и поправил свою любимую милицескую фуражку. — Я маленький, в меня попасть трудно.

— Фуражку оставь здесь. Вон на сучок повесь.

— Почему? — огорчился Богатырев.

— Потому что, если он нас заметит, в тебя первого стрелять станет... Раз ты в фуражке.

— Я не пойду, — вдруг сказал один парень и отошел в сторону.

— Не ходи, — согласился Андрей. — Только передай от меня председателю, чтобы он к развилке через полчаса машину послал.

И они пошли. Андрей с Бугровым — впереди, рядышком, а дружинники — цепочкой, следом.

Вот и овраг. А за ним — Соловьиные болота.

— Здесь рассредоточиться, залечь и ждать меня, — распорядился Андрей. — Федор Михалыч, где тропа начинается?

Тихо было в лесу. С одной стороны — хорошо это, с другой — плохо. Но погоду не закажешь, участковый, бери что есть.

Андрей почти до края болота дошел. Оставалось полянку пересечь. Он постоял на ее краю, осмотрелся, прислушался. Тихо, страшно тихо. Тихо и страшно.

Андрей отпустил ветку, за которую будто держался, и шагнул на полянку. Несколько шагов сделал, и на ее противоположной стороне кусты разошлись, и вышел навстречу Агарышев.

— Что, мент, ты опять живой? Опять пулю про-  
сишь? — Он чуть приподнял автомат. — У меня много,  
выбирай любую.

Андрей не успел ни растеряться, ни удивиться — он  
только с интересом, даже как-то задумчиво смотрел на  
этого парня и видел обычное русское лицо, туго подпоя-  
санный ватник (Егоров, отметил Андрей машинально),  
кирзачи с подвернутыми голенищами (тоже Егоровы),  
а в руках — немецкий автомат прошлой войны. В кино  
такой парень был бы смелый партизан, а этот — нет,  
спокойно, размеренно думал участковый, этот больше  
похож на фашиста, которого забросили в партизанский  
лагерь. Андрей чуть улыбнулся и даже покраснел от  
своих детских и совершенно неуместных мыслей.

Так они и стояли друг против друга, будто столкнув-  
шись на узком бревнышке через пропасть, и ни один из  
них не хотел уступить дорогу — Агарышев в кустах,  
Андрей на открытом месте.

Лес совсем затих, напряженно молчал, словно замер  
в ожидании: чем эта встреча кончится, кто на своем  
твержестоит? И вдруг...

— Стой! — закричал, выламываясь из зарослей и  
размахивая корзинкой, Тимофей Елкин. — Ты что де-  
лаешь, гад? На кого ты оружие наставляешь?

И побежал к Агарышеву, подняв руку, будто хотел  
ударить его своей плетушкой.

Андрей ничего не успел: прогремел, прыгая в руках  
Агарышева, автомат, и сомкнулись кусты там, где он  
стоял.

Андрей бросился к Елкину, упал на колени, припод-  
нял его голову.

— Вот и посчитались мы с тобой, Сергеич, нашими  
жизнями, — тихо, с трудом сказал Тимофей и закрыл  
глаза. — Ты — мне, я — тебе.

Из уголка рта выползла алая струйка, быстрой змей-  
кой побежала по подбородку, по шее, скользнула за во-  
ротник.

— В машину! Быстро! — скомандовал Андрей под-  
бежавшим дружинникам. — Подгоняй ее сюда!

— Лучше на руках отнесем к дороге, — возразил  
дрожащий Богатырев. — Здесь, в машине, растрясет его  
сильно.

Дружинники приподняли Елкина. Он открыл глаза,  
нашел взглядом Андрея.

— Сергеич, помни, я покрывки не крал, баньку не жег... Зойку позови...

Андрей скрипнул зубами, сжал его руку и бросился в чашу — туда, где еще дрожала испуганно ветка и стоял едкий запах сгоревшего пороха.

— Взять его там нетрудно будет, — гулко шептал Бугров. — Сторожка заросла кругом, видишь, к ней вплотную с любой стороны подойти можно. А из нее далеко не уйдешь, трясина кругом без дна. Только надо ли его живым брать, я думаю...

Андрей не ответил. «Сколько у него патронов осталось? Если магазин был полный... В меня они восемь пуль выпустили. В орнитолога — четыре. Сейчас штук пять. Значит, пятнадцать еще есть. На весь мой отряд хватит...»

— Обходи, ребята, потихоньку. Не высовывайтесь. Федор Михалыч, ты рядом будь, позади меня. Если что — бей и не думай.

Андрей натянул потуже фуражку, вскочил, перебежал, пригнувшись, вперед и упал за деревце, стоящее прямо на тропе. Из черного окошка сторожки засверкало, загремело. В ствол березки ударила пуля и стряхнула с нее вечернюю росу. Несколько капель попало Андрею за воротник, он вздрогнул и чуть не вскочил.

Слева зашевелилась трава, и большим грибом поднялась над ней голова Богатырева. Из сторожки отчетливо донеслось яростно брошенное ругательное слово.

«Ага, или заело, или патроны все, — догадался Андрей. — Везет Богатырю».

Он вздохнул, наметил взглядом новый рубеж — высокую лохматую кочку, на которой чуть покачивался тоненький стебель кипрея, и снова бросился вперед...

Тишина. Выстрелов нет.

Еще рывок и падение. И опять тихо.

Андрей вынул пистолет, встал и во весь рост, не спеша пошел к сторожке.

Выстрелов не было.

Он подошел почти вплотную. Дверь, ржаво скрипнув, отворилась, и вышел Агарышев, держа автомат за ремень.

Андрей вскинул пистолет.

— Брось оружие! — сказал он. — И протяни руки!

— А это ты видел, мент! — истерично выкрикнул Агарышев и, перехватив автомат за ствол, отвел наот-



машь руку. — Мне один конец! Раньше, позже — едино! Стреляй!

А с Андрея уже все схлынуло, он теперь только усталость чувствовал и о Тимофее думал. И о том, что и он, участковый, теперь должен искать, за кого бы свою грудь подставить. Иначе ему теперь жить нельзя, надо людям свой долг отдавать. И уж не только по службе, но и по совести.

Смотрел он на этого Агарышева, который за свою короткую жизнь столько бед и горя уже другим успел сделать, и боролся с собой, с какой-то темной силой, которая в нем откуда-то из глубины поднималась, росла и пеленой глаза уже задергивала, чувствовал, как немет палец на спусковом крючке...

Агарышев тоже ему в глаза смотрел. Сначала со злобой и страхом, а потом уже по-другому, не понять как. Не выдержал — выругался осторожно, тихонько автомат в траву опустил и протянул, усмехаясь, руки.

Вздыхнул Андрей. И не сразу смог сделать то, что надо, — палец, ненавистью скрюченный, никак не разгибался.

Обратно другой дорогой добирались, покороче. Впереди, повесив винтовку на шею и положив на нее сверху тяжелые руки, шагал Бугров. За ним — в наручниках — Агарышев. Потом Андрей, а сзади тянулись дружинники за своим боевым командиром, который сосредоточенно топал маленькими ножками и придерживал прыгающую на голове фуражку. Вид со стороны получился интересный. Шли молча, бесшумно и словно на ниточку нанизанные: где один под ветку нырял, там и другие ей кланялись, как передний из-за пенька крюк делал, так и все за ним повторяли.

Тропа все выше забирала и наконец на краю леса, на верхушке горы Савельевки, кончилась. Тут они голоса услышали. И крики. Андрей отряд свой остановил и один из леса вышел — осмотреться.

Похоже, все село здесь было. Все столпились на краешке и, заслонясь ладонями от заходящего солнца, смотрели в небо. Там, раскинув крылья, летали синереченские мальчишки. Андрей только сейчас вспомнил, что его звали дельтапланеристы посмотреть их первые полеты.

— Гляди, гляди! — кричал Куманьков-старший, сту-

ча кому-то в спину кулаком. — Мой-то выше всех забирает! Вот тебе и потомственный хулиган.

— А Васька Кролик ногами болтает — трусится!

— Сам бы попробовал, боевитый! Ты небось только с печки летал.

— Ах, хорошо. Ах, хорошо-то! Ну и деревня у нас — крылатая. Давай, давай, Ленька, не бойсь, ближе к небу старайся. Ах, хорошо...

Андрей тихо отступил в лес и повел свой отряд кругом горы, чтобы не портить людям радость.

Спустились заросшим склоном, обойдя Савельевку стороной. Андрей приостановился, оглянулся. В тихом, бронзовом на закате небе бесшумно парили большие разноцветные птицы, мелькали на крутом зеленом склоне горы их быстрые тени.

Зайченков отыскался быстро и не за пятьсот верст: прятался недалеко, по соседству, у веселой разведки — она невольно выдала его, в открытую купив в магазине одеколон и бритвенный прибор, что и стало известно тамошнему участковому, предупрежденному Андреем.

На первом же допросе Егор дал исчерпывающие показания. Заявил, что в ученого стрелял по указке Агарышева Игоряшка Петелин, что сам он, гражданин Зайченков, стрелять в синереченского участкового не хотел, но больно боялся проклятого Агарышева и согласился, чтобы только самому остаться живым, задумав сразу же после стрельбы скрыться и от Агарышева, и от закона, что нарочно мимо целил, что он чистосердечно раскаивается в содеянном, окажет большую помощь следствию и будет просить у советского суда снисхождения.

Тимофей Елкин выжил. Зойка домой вернулась и в больницу к нему каждый день бегала. А Паршутину кто-то втихую набил морду, и он в милицию жаловаться не стал. «Так мне, дураку, и надо», — наконец сделал Паршутин правильный вывод.

Андрей женился, и на его свадьбе было очень много гостей, и очень многие из них были в милицейской форме и с орденами и медалями.

Следствие по делу Агарышева шло долго, и все это время Платонов, когда встречался или созванивался с Андреем, шутливо называл его Шерлоком Холмсом из Синеречья.

*«ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА — рассказы, повести, романы, изображающие процесс раскрытия преступления».*

*Советский энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1983.*

При исследовании произведений детективной литературы стало едва ли не традицией предварительное обращение к природе, специфике и законам жанра криминального романа. Во всяком случае, это уже никого не удивляет.

Происходит это, как кажется, не только вследствие относительной юности жанра — фактически он у нас все еще продолжает формироваться, но и потому, что у его истоков нет ни одного из тех привычных имен, на которые принято ссылаться в качестве авторитетов. Не писали детективы ни А. С. Пушкин, ни Н. В. Гоголь, нет их у Л. Н. Толстого. Поэтому и приходится обращаться не к живым образцам, а к «мертвой» теории, в которой тоже, к сожалению, не выработано пока единого взгляда на жанр.

Все чаще определенную часть детективных произведений, где раскрытие тайны отнесено в конец повествования, круг подозреваемых узок, а подлинный виновник преступления умело укрыт от «проницательного читателя», называют построенными по «законам классического детектива», в то время как произведения, рассказывающие о повседневной, трудной и героической деятельности сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел, отвечающих за личную и имущественную безопасность граждан, относят к «производственному роману», поскольку речь идет о милицейском или следственном «производстве».

С этим делением можно соглашаться и не соглашаться. Во всяком случае, теоретические дискуссии вокруг детективного жанра практически не прекращаются, и это обнадеживает.

В последнее время проблему детектива порой формулируют так: «Каким должен быть современный детектив? Литературной головоломкой или исследованием нравственного начала в человеке?» При этом упускается из виду то, что исследование нравственного начала в человеке на страницах детективного произведения происходит

иначе, чем в других жанрах, — через раскрытие тайны преступления, то есть опять-таки с помощью «литературной головоломки».

«По одну сторону стоял литературный роман и реальная жизнь, по другую — роман детективный, особый срез реальной жизни», — писал Бертольт Брехт в статье «О популярности детективного романа». И в другом месте: «Но интеллектуальное наслаждение доставляет *задача-головоломка*, которую детективный роман ставит перед сыщиком и читателем».

Следует отметить, что в советском детективе, героями которого являются не частные сыщики, а работники органов дознания и прокуратуры, руководствующиеся уголовно-процессуальным законодательством, криминальная интрига, как правило, всегда служит поводом для того, чтобы пристальнее взглянуть в лица и характеры людей, как тех, для кого раскрытие преступлений — их обычные трудовые будни, так и тех, кто волею обстоятельств вовлечен в русло стремительных и на первый взгляд загадочных событий, связанных с преступлением, и, наконец, также и тех, кто преступил закон.

Тому убедительное свидетельство — книга В. Гусева «Шпагу князю Оболенскому!», где увлекательная литературная головоломка соседствует с серьезным исследованием нравственного начала в человеке.

Легко заметить, что повести «Шпагу князю Оболенскому!» и «Конкур со шпагой» построены в строгом соответствии с «законами классического детектива». Первая из них отличается к тому же единством действующих лиц, времени и места, в «Конкуре со шпагой» единство это прослеживается в меньшей мере, сюжет более свободен от схематизма.

В обеих повестях круг подозреваемых в преступлениях лиц заранее строго ограничен, читатель и следователь располагают вроде бы одним и тем же запасом улик, тем не менее читатель до самого конца остается в неведении того, кто совершил преступление.

Три другие повести — «Первое дело», «До осенних дождей» и «Выстрелы в ночи», написанные в иной манере — «производственного романа», посвящены участковому уполномоченному Андрею Ратникову, недавно ставшему по роду службы грозой нарушителей общественного порядка в родном селе.

Чисто тематические эти повести заставляют вспомнить известный

«Деревенский детектив» Виля Липатова. Там тоже деревня, тоже неутомимый работяга — участковый уполномоченный, «начальник милиции в миниатюре», который ввиду отдаленности от райцентра зачастую лишен возможности прибегнуть к совету и научно-технической базе коллег, а потому вынужден чаще действовать самостоятельно, полагаясь больше на свой ум и смекалистость да на людей, что всегда приходят на помощь тому, кто честен, смел и готов постоянно и самоотверженно жертвовать личным во имя общественного, как это делает в повестях В. Гусева Андрей Ратников, а до него делал Анискин.

Герой В. Гусева наделен тонким природным чувством понимания человеческих характеров, «талантом общения», настойчив, наблюдателен, мужествен. Андрей Ратников предлагает свои нерушительные способы решения некоторых наболевших вопросов, в том числе и борьбы с пьянством в его селе, организации культурного досуга односельчан, воспитания подростков. Интересно и чисто показаны отношения Ратникова с его будущей женой. Надо отметить, что участковый уполномоченный типа Ратникова — недавно пришедший в милицию из народного хозяйства отличный производитель, делающий первые шаги на милицейской ниве, сегодня более типичен, чем опытный, но готовящийся оставить службу, чтобы уйти на пенсию, участковый уполномоченный Виля Липатова.

Чтение страниц, посвященных тому, как не очень опытный пока в милицейских делах, в сущности, молодой еще человек отважно борется с конкретным злом на порученном ему участке, вызывает теплые чувства по отношению к герою и правоохранительным органам, которые он представляет.

В повестях В. Гусева, посвященных борьбе с уголовной преступностью — ворами, грабителями, стяжателями, — мы тем не менее почти не встречаем образов классических злодеев, отпетых негодяев, так называемых паханов, кочующих по некоторым литературным произведениям. Надо признать, что, отказавшись от расхожих образов преступников, В. Гусев поступил совершенно правильно и по другой причине.

В балансе лиц, привлеченных к уголовной ответственности, как следует из печати, немалую долю составляют лица, совершившие преступления в условиях отсутствия у них четких нравственных

позиций, попавшие на скамью подсудимых в результате пьянства, бесхозяйственности, запущенности воспитательной работы в коллективе. Такие могли бы и не попасть на скамью подсудимых, окажись они своевременно в поле зрения общественности, комиссий по делам несовершеннолетних или таких деятельных, энергичных участковых уполномоченных, как Андрей Ратников.

В то же время герои повестей В. Гусева отнюдь не схематичны, они талантливо и тщательно выписаны на фоне окружающего — тонко подмеченных автором черт городской и деревенской жизни, природы. За напускной черствостью, кажущейся бесцеремонностью следователя Якова Щитцова угадываются душевная деятельность, одиночество, уязвимость как следствие личной неустроенности; безвольный, испорченный уродливым семейным воспитанием Павел Всеволожский в то же время по-детски открыт, беззащитен, по-своему честен. Взгляд автора удивительно прозорлив и доброжелателен.

А вот выхваченное наугад описание листопада из повести «Шпагу князю Оболенскому!». Оно говорит само за себя:

«Летом в Дубровниках листопад: могучие дубы по причине своей старости роняют тяжелые листья, не дождавшись осени. И они с тихим шорохом бегут по улицам, обгоняют друг друга, собираются на углах. А иногда вдруг хлопотливо, как птицы перед отлетом, сбиваются на перекрестке в стаю, поднимаются и, шурша, долго кружатся в воздухе. К вечеру они успокаиваются и тихонько шелестят под окнами в сонной тишине».

В заключение, положительно оценивая книгу В. Гусева в целом, хочется отметить, что произведения его обращены в первую очередь к молодежи, воспитанной на лучших образцах приключенческой литературы для юношества, и продолжают ее лучшие тенденции.

Это заметно в первооснове и бросается в глаза в мелочах. Поэтому в повестях В. Гусева чаще похищают шпаги, чем норковые шапки и шубы, а с мест происхождения работники милиции привозят в качестве вещественных доказательств не «фомки», «уистити» и другой воровской инструмент, а нечто иное — «маленький двустольный пистолет, такие носили когда-то в узких карманах, которые так и называли пистолетными», или перчатку с выдержан-

ной в духе романтической эпохи запиской — «Я буду иметь наслаждение мстить Вам». Преступник Сенька Ковбой стреляет в повести не потому, что хочет попасть в преследователя, а чтобы хоть раз в жизни оправдать в собственных глазах кличку Ковбой; а Андрей Ратников не обращает внимания на то, что его называют шерифом, чего, безусловно, не должен позволять ни один опытный участковый уполномоченный, но Андрей Ратников — молодой сотрудник милиции, он только учится своему нелегкому ремеслу, прозвище к нему не пристает.

Читатель легко догадывается, что опубликованные повести — романтический рассказ о молодых сотрудниках, которые пока еще больше играют в сыщиков, чем настоящие, всамделишные сыщики. Реалии милицейской жизни даны в книге Валерия Гусева условно, особенно это относится к первой повести — «Конкур со шпагой». Однако это не разочаровывает, поскольку написано обо всем увлекательно и талантливо.

*Леонид Словин*

## СОДЕРЖАНИЕ

Конкур со шпагой . . . . .	3
Шпагу князю Оболенскому! . . . . .	83
Первое дело . . . . .	159
До осенних дождей... . . . .	201
Выстрелы в ночи . . . . .	257
Вместо послесловия. <i>Леонид Словин</i> . . . . .	330



**Гусев В. Б.**

**Г 96** Шпагу князю Оболенскому!: Приключенческие повести /Послесл. Л. Словина. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 335 с., ил. — (Стрела).

1 р. 30 к. 100 000 экз.

Приключенческие повести В. Гусева рассказывают о молодых сотрудниках милиции, об их поиске, романтическом увлечении своей работой, об их несокрушимой вере, что самый справедливый закон — советский. «Шпагу князю Оболенскому!» — первая книга автора.

**Г** 4702010200—057  
078(02)—85 189—85

**ББК 84Р7**  
**Р2**

**ИБ № 4081**

**Валерий Борисович Гусев**

**ШПАГУ КНЯЗЮ ОБОЛЕНСКОМУ!**

**Редактор Т. Костина**

**Художник Б. Федотов**

**Художественный редактор Н. Фадин**

**Технический редактор Е. Брауде**

**Корректоры И. Тарасова, Т. Песнова, В. Авдеева**

Сдано в набор 30.08.84. Подписано в печать 14.01.85. А02120. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,06. Уч.-изд. л. 18,7. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 30 к. Заказ 1251.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская ул., 21.

Валерий Борисович Гусев родился в 1941 году в Рязани. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина, там же преподавал. Затем работал редактором «Международного сельскохозяйственного журнала».

Повести, рассказы, очерки Валерия Гусева публиковались в периодической печати и сборниках, он — дипломант Всесоюзного конкурса Союза писателей и МВД СССР, лауреат конкурса журнала «Социалистическая законность».

«Шпагу князю Оболенскому» — первая книга Валерия Гусева.